

20¹⁸⁺26
АВГУСТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

УРАЛ

Уважаемые подписчики!

Обращаем ваше внимание, что оформить подписку на наш журнал на 2026 год можно по единому индексу 73412:

- на сайтах: <https://www.pressa-rf.ru/> или <https://www.akc.ru/> (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

- в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ», направив заявку по электронной почте: Govorkova@arzi.ru или позвонив по тел. (495) 680-99-71 (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:

- в любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России». Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Август' 2026

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1958 года



Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Пётр ЧЕЙГИН. Месяц рвёт крыло. <i>Стихи</i>	3
Саша КРУГОСВЕТОВ. Страсти по Телушкину. <i>Повесть</i>	10
Константин КРАВЦОВ. И ангелов зришь. <i>Стихи</i>	47
Елена ЕФИМОВА. Отчий дом. <i>Рассказы</i>	54
Вионор МЕРЕТУКОВ. Золотая формула, или Приключения профессора Старосельского. <i>Роман (окончание)</i>	70
К 40-летию Свердловского РОК-Клуба. Анастасия БЕРСЕНЕВА. Целовать слова. <i>Стихи</i>	135
Юрий САНБЕРГ. Растворяясь в дожде и в ландшафте. <i>Рассказ</i>	138
Владимир САНДАЛОВ. День сегодня. <i>Стихи</i>	148
Андрей МАЛЬКОВ. Встречный взгляд. <i>История одного волка</i>	151
Кузьма КУРВУАЗЬЕ. Вдохновенно и стремительно. <i>Стихи</i>	160

ДРАМАТУРГИЯ

Алексей БУХАРОВСКИЙ. Огарки	163
-----------------------------	-----

Екатеринбург

ПЕРЕКЛИЧКИ

- Павел ГЛУШАКОВ.** От Гоголя до Шукшина:
Из историко-литературных контекстов 170

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

- Михаил ОРДЫНСКИЙ-ДАВИДОВ.** «Священная болезнь»
Достоевского 183

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

- Елена САФРОНОВА.** Умерли все, кроме демона.
Алексей Иванов. Невьянская башня. — М.: Альпина нон-фикшн, 2026 222
- Дмитрий АНИКИН.** «И — ни разлук уже, ни горя...»
Анна Гедымин. Московский дворик. Избранное. — Иерусалим, издательство Evgram, поэтическая серия «Лета А», 2026 225
- Артём КОМАРОВ.** Связывать времена.
Александр Нилин. Неокончателный диагноз: роман отложенной жизни. — М.: АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2026 227
- Константин КОМАРОВ.** Импульсная социология с человеческим лицом.
Алексей Радов. Реализм и действие: Избранные научные статьи. — М.: Пробел-2000, 2025 229

НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОСТУ

- Лидия ГОРТИНСКАЯ.** Медленно, по-питерски и немного грустно:
о книге Павла Крусанова «Совиная тропа». М.: АСТ, 2025 232

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

- Наталья РУБАНОВА.** Раздевание с португальского [эссе мимо
Бразилии, или Эвтерпа, смотрящая налево].
Аделия Праду. Здесь, так далеко. — СПб.: Алетейя, 2026 229

Пётр Чейгин

Месяц рвёт крыло

Кот у времени

...знаешь, такое ощущение
что написал, как вспомнил
уже написанное (за меня, от меня (?)
мой взгляд из будущего
на меня нынешнего

Отдаю тебя в Смерть, Кот.
На поля, чердаки,
скотный двор с молодым молоком.
Ради меня он умер,
нашёл начало успешной травы,
в ней на горе — укус
и ждёт.
Подожди, я вернусь.
Подожди мой след,
я вернусь, я к тебе подселюсь.
Посмотри и принеси мне
на лапах пустые следы всего.
Отдаю тебе Смерть, Кот.

Вот и усни до Смерти.
Не умирай до Смерти.
Время — подросток Смерти.
Кот мне укажет Путь.

Пётр Чейгин (1948) — родился в Ораниенбауме (Ломоносов). С 1955 г. жил, учился и работал в Ленинграде. Первая публикация — в самиздатовской антологии «Живое зеркало» (1974), официальная — в легендарном сборнике «Круг» (1985). Член «Клуба-81». Член «Пен-клуба» 2012. Автор восьми поэтических книг: «Пернатый снег» (2007), «Зона жизни» (2007), «Третья книга» (2012), «И по сей день» (2013), «То ты еси» (2014), «Ижорская скамья» (2017), «Предисловие к слову» (2021), «Зона жизни. Избранные стихи. 1967–2023 гг.» (2024). Шорт-лист премии Андрея Белого (2007), Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка (2013), лауреат премии «Русского Гулливера» «За вклад в развитие ремennого поэтического языка» (2014). Лауреат премии Андрея Белого (2024). Живет в Санкт-Петербурге.

Майская удочка Смерти
искрой зелёной метит.
Время — портной у Смерти.
Иглы согреют грудь.
Мы — пешеходы Смерти.

Что я себе позволяю?
О, что я себе позволяю...
Выгнув диктанты лугов
и диктаты прудов,
что-то небес растворяю.
Пригоршню сна усмиряю.

Что я себе позволяю.

Увитый землёй, обмираю,
корнями плутаю,
подземную свадьбу играю.
Гефестом на молоте таю.

Что я себе позволяю.

Я целую подростшую каплю дождя.
На кулисе весны
молчит несусветная птица.
Кто ко мне на исходе звезды возвратится?
Всех прикончит весна
занемогшею плетью вождя.

Это сон серебра
и рессоры лицейского рая
я в кавычках отнёс
мёртвой стае лихих голубей.
Кувырком по глаголам
к ворчливой земле припадая,
где безумная вставочка
кормит прахом ручей.

Он городит Неву,
волоокый и чопорный зверик.
Я его обручил
с чёрной клавишей ледника.
На ненастной скамье
он меня в нелюбови заверит
и сольёт белый свет
с моего парика.

Холоднее тины на пляже Стикса
горло арок на колени павших
дней распухших казны вчерашней
Вчерашние комья лунного кекса.

Теплее пчелы на загровке мая
твой Петешна в клетках тетради
Кринка молока весела на свободе
Темница луга, доярка злая.

Острее ласточек верстаю утро
полста свирелей горят в тетради
Блаженный камень словесность судит
трава ворчлива и небо скудно.

Ручей поминальный
ушедший из леса в народ
вымывает слова
из кабацких семян.
Где ты пьян дорогой
как ты пьян...
Жизнь вернёшь ты с лихвой
грех верстая тщетой.

И в седло ветер сел
ожидая тебя.
Над Невой занемог
у салюта зачах.
И глазами трамвая
за рассветом следя
он разносит слова
в прах и пух,
в пух и прах.

Рецепт февраля
на осколочной ране просох.
Больше — не меньше шагов
до природы ворчливой.
Сердце моё опрокинуло ветви в песок.
Мячик бормочет о море, любовнице, сливе.

Не до коленей ли марта
ступенями сна доползу?
Вишь — на окошке
зарежется месяц картавый.
Радость укола — направь на ладони осу.
Вот задрожала простуда
и левый висок мой и правый.

Учительской звезды запруда за окном.
Немая ветка тянется удавкой.
Медлителен Сочельник, белой кровкой
замучен вечер, месяц рвёт крыло.

Восход звезды, её змеиный взгляд
мой кот душил на побережьях мая,
соломенной курочкой играя,
влетал остряк в наш произвольный сад.

И небеса закрыл еловою винтовкой,
когда дыхание инеем свело.
Без памяти танцует «не своё»,
«но ловкое» на подлежащем «ловком».

Тучнел закат набросками наяд,
в тетрадь дышала пыточная стая.
Ночь выуди и, тень свою рифмуя,
молчи, дружок, пока колосья спят.

Согрею пальцы от звезды
на декабре окна
Тепло учительской звезды
на пролежне окна

перенеслось и гомон-лёд
утратил пыл и смех...
за слюдяною дверью сад
глаза открыл для всех

Варится лес
на коленях глубокие ели
и раздевая поляну
лучами прибрежного лета
опухоль мая
клубится в восточной кудели
знамо меня
надоумит узнать
очертанья портрета.

Я не люблю пешеходов
носки их и деньги
вот засверкает число
и сорока вонзится в сады
брат леденеет
заря засыпает в яранге
но не умрёт
а ты умираешь? А ты...

Ты обезлюдел
чернел карандаш и заноза
пылкой Луны
натянув постромки четверга
следом кровью прошла
сверив слёзы
матриц моря и медного из-верга

Пой младенчество текста
висячей воды переливы
выбрав птицу ствола
нацеди ей небес на крыло
Он проступает
перекатным Солнцем палимый
дверь отвори
или пальцы
от счастья свело?

Смерти полный рот набрал
и трудам травы поверил
В медных касках гложут звери
трезв межрёберный оскал

Сонная погаснет водка
я ли ей не наследил?
Всхлипы кованых светил
фонарями околотка

льются на мою тетрадь
швами осени дотошной
Лезет ветер заполошный
мне мазурку наиграть.

Поросло скрипками звёзд
время холма и лазейки холма
точит столбняк слёз
казнимое облако сна

Распушив веники снов
чиркни звездой о волну
я поверить готов —
я тебя не пойму.

Валится крест на груди
Направо и влево.
Ночь образует мой день
Аркой посева.

Прянет, лучом наследит,
смоется кляксой.
Птицею день говорит.
Бровью Аякса.

Перегони мне жвачное небо.
Колос звезды отломи.
Ухо звезды насмеши.
Здесь накрапывал текст.
Не сомневайся — пиши.
Он тебя съест.
На развилке патрульных Психей.
Не психуй.
Кровью Солнце мажь.
Косточку сердца верши.

Почему непросохшего неба трюмо
мелочится и ждёт от меня погребенья
полновесного леса сюртук и трепло
утлой чайки плашмя конопатит мгновенья
обтирает года а зачинщик чудес
обделённую твердь запирает корнем
двух галактик что на спор явились с колёс.

Сломлена пятница
солнечной прытью
поёт
липами в паузах
ветром задушенных пашен
Всхлипами пашен упавших
трудится утро
растёт
маточный список
солнечных скважин

Нагородила рука
нет на жару утюга
гладок июля забор
у огородниц в горохах

Скован билет на NYC
мне рассказала река
и выжигая страницу
правит на Сохо

Дом политкаторжан. Бесноватая твердь
набекрень, на панаму героя,
где на свадьбу осины отправлена снедь —
с грушей зяблик и... руки умою.

И сирени качели шипели в углу,
Петропавловкой рот затыкая.
Одеяло на вырост, и полночь-колун
лизжет окна, чертей затирая.

Впереди пустое лето
как колодец кирпича
перестрелкою раздето
и Луна висит ничья.

Пустота прямого лета.

Что кричит Луна как ёлка
упокоенной заре?
Тень от выюги мышшь с иголкой
в свежей кляузе Форе.

Не молчи Луна ты — пчёлка...

Саша Кругосветов

Страсти по Телушкину

Повесть

Еще Homo troglodytes, пещерному человеку, не терпелось выяснить, что «за горой», что «в темном лесу». Жгучий интерес к новому, желание заглянуть за край Ойкумены, познакомиться с иными языками, странами и народами и привели, видимо, к появлению вида с самоназванием Homo sapiens, человека разумного, а правильнее было бы — Homo insanus, человека безумного, дающего волю инстинктам, которые действуют подчас вразрез с разумом.

Почему нас притягивают вершины: Эльбрус, Казбек, Джомолунгма? Что это, желание вырваться из оков обыденного, взглянуть на скучную жизнь со стороны, сверху, из разреженных высот, куда добираются лишь птицы небесные? Как же счастливы мы, одолев крошечный кусок *вертикали*, вырвавшись на миг из проклятия двумерности, из дружеских объятий гравитации!

Но есть еще одно измерение — пятое, что ли, стоящее особняком, — просто любовь земная. Она поважнее будет пресловутой вертикали, сладкой и безумной компоненты трехмерного пространства.

Тихон Палыч

В конце восьмидесятых, когда сыну было лет шесть, мы с женой отвели его в детскую школу лыжного фристайла ДСО «Спартак», расположенную на так называемом Северном склоне токовских холмов.

Тихону Павловичу Олегову, возглавлявшему школу, было тогда чуть за шестьдесят — улыбчивый, общительный, он нередко появлялся на склонах, наблюдая за тренировками детей и взрослых спортсменов.

Я знал Тихона Павловича как довольно известного в прошлом спортсмена, заслуженного тренера и воспитателя молодежи: больше тридцати лет тренировал он сборную Ленинграда по горным лыжам, добился появления горнолыжных баз в Рощинском и Всеволожском районах, стал основателем фристайла как отдельного вида спорта в Ленинграде и т.д. и т.п.

В то время Олегов сам уже не тренировал. «Палыч, покажи класс, ну пожа-а-луйста!» — то и дело просили его родители воспитанников спортивной школы, но он неизменно отказывался. И лишь однажды все-таки мы уви-

Саша Кругосветов (Лев Лапкин) — член Союза писателей России и Международной ассоциации авторов и публицистов АРΙΑ (Лондон). Автор детских, публицистических книг, романов «Счастье Кандида», «Вечный эскорт», «Полет саранчи», сборников повестей и рассказов. Лауреат Международной премии имени В. Гиляровского (2016); еженедельника «Литературная Россия» (2016); финалист премии «Независимой газеты» «Нонконформизм» (2016, 2017, 2018); Гран-при международного конкурса Франца Кафки (2018) и др. В журнале «Урал» печатается впервые.

дели его на лыжах... Что сказать? Пусть на пологой «балетке»¹, но техника мастера сразу видна.

Больше десяти лет знакомства — мы с Тихон Палычем подружились, как без этого? Выяснилось, что помимо горнолыжного спорта он смолоду серьезно увлекался альпинизмом — в 1955-м стал первым чемпионом СССР по скалолазанию: и это оказалось не только главным спортивным развлечением и хобби, но на долгий период жизни и основой его профессиональной деятельности в качестве высотника-реставратора.

— К альпинизму я душой прилепился еще на спортфаке Герценовского, — рассказывал он мне. — Ездил на Кавказ, Памир, в спартаковские лагерь, прошел огонь и воду у самих братьев Абалаковых². Скажу честно: обучение там было не для слабаков. В их школе получил навыки, впоследствии пригодившиеся, когда пришлось заниматься высотными реставрационными работами. Был знаком с прославленными Олей Фирсовой и Мишей Бобровым, теми самыми, что во время войны маскировали шпили Адмиралтейства и Петропавловки. Это были настоящие герои: работы проводились зимой, нередко — под артиллерийскими обстрелами, в условиях голода, цинги, да еще и на экстремальных высотах... Ужасе!

Тихон Палыч поделился со мной воспоминаниями о том, что при реставрации самых сложных куполов и шпилей ему довелось трудиться плечом к плечу с прославленным ученым и архитектором Юрой Спегальским. Еще до их встречи Юрий Павлович имел опыт ремонта и восстановления нескольких сложных зданий в Пскове и Ленинграде. Интересно, что поначалу Спегальский вообще не знал о существовании специального альпинистского снаряжения. Не знал и не использовал...

«Рисковый был: веревку забросит — и вверх на руках», — объяснял мне Олег³. Похоже на то, как это в свое время делал Петр Телушкин, человек-легенда, о котором история впереди.

Пик совместной работы Тихон Палыча со Спегальским пришелся на подготовку к 250-летию Ленинграда. Наиболее сложным объектом оказался, конечно, шпиль собора Петропавловской крепости.

— К Петропавловке мы подступились в феврале 1957-го. Для выполнения реставрационных работ сделали висячие вантовые леса, закрепив на шпиле по восемь тросов с каждой из четырех сторон. На этих тросах с помощью зажимов монтировались ярусы и сетки, обтянутые пленкой.

Каркас шпиля на тот момент хорошо сохранился, а вот некоторые детали креста потребовалось заменить, пришлось снять с него облицовку. Конструкцию подшипника, на котором вращался Ангел, оставили прежней. Реставраторам приходилось спешить — их подгоняли, чтобы успеть к 250-летию города, работу не прекращали даже ночью. Каждый день приходил директор реставрационных мастерских и торопил: «Скорее, скорее!»

Когда разобрали Ангела, положили в его ногу бутылку из-под лимонада с шутилой запиской, в которой сообщили потомкам, что «работу выполнили плохо, потому что зарплату получали маленькую и торопились на Кавказ»⁴. А на самом деле, как потом выяснилось, работу сделали очень хорошо и профессионально, потому и простояла она сорок с лишним лет.

¹ Специальный склон для «лыжного балета», отдельной дисциплины фристайла.

² Известные советские альпинисты.

³ В рассказе о Тихон Палыче использованы материалы Ивана Денисенко о промышленных альпинистах Ленинграда, опубликованные в «РИСК онлайн» № 46.

⁴ Текст письма, обнаруженного в 1997 г. (хранится в Музее истории Ленинграда): «Июнь 1957-го. Мы, верхолазы-альпинисты... работали по реставрации шпиля Петропавловской крепости. Работа сделана плохо, так как начальство не заботилось о нас. Платили мало, сроки были сжатые, к 23 июня в честь 250-летия Ленинграда. Остается пять дней до сдачи объекта, а конца работы и не видать. Спешим на Кавказ. Нас ждут великие дела в горах, мы все альпинисты. Привет следующим восходителям».

За реставрацию шпиля Петропавловки Тихон Палыча наградили орденом «Знак Почета». А еще дали двадцатитрехметровую комнату в коммуналке, и это был рай по сравнению с девятиметровым «пяточком» на Малой Охте, где до этого он жил с женой и ребенком.

Рассматриваю фотографию молодого Олега, сидящего верхом на огромном Ангеле с размахом крыльев четыре метра. Спрашиваю: «Работали только в ясную погоду?».

— Какой там! Приходилось и в дождь трудиться. Рабочую площадку изолировали пленкой и сеткой, так что позолотчикам влажность не мешала. Но ветер! Ангел с крестом раскачивался туда-назад, ходил аж на два метра. Забрался на крест или на Ангела, а под тобой — все ходуном. Приходишь домой, садишься к столу и продолжаешь качаться, как на корабле во время шторма. Однажды гроза началась, засверкали молнии. Мы поначалу не обратили внимания, продолжали работать, потом смотрим — по куполу, по консолям уже всю искрят и прыгают разряды. Как мы оттуда припустили!..

— Разве можно сидеть на такой высоте на качающемся Ангеле и спокойно работать?! Голова не кружилась?

— Да нет, не кружилась. Но в такой привычке есть и своя опасная сторона. Когда делали рабочую площадку возле Ангела, для себя ее не огораживали, а перила поставили только потом для позолотчиков, потому что они ведь не альпинисты. И вот наклоняешься за инструментом, задеваешь спиной о шпиль, — и пожалуйста: раз, толчок под зад, пардон. Опасный момент, между прочим! Вот потому и старались все-таки работать со страховкой. Я однажды соскользнул со шпиля на соборе Симеона и повис на тросе. Вот так вот... А когда разбирали собор на Сенной, один наш товарищ оказался на карнизе вообще без страховки — так получилось, — и его сбilo тросом. Крутанул сальто в воздухе, уцепился за трос руками и кричит: «Майна!» Вот подход альпиниста, вот привычка к высоте: зачем страховаться на карнизе?

Тихон Палыч рассказывал об опасных инцидентах, случавшихся на разных объектах. Но ни слова о том, насколько сложны были восхождения на эти шпили.

А вот Юрий Спегальский как раз и написал об этом: «Самым трудным было первое восхождение. Взобраться на крест не так сложно, как на шпиль. Или на последний купол. При покорении Исаакиевского, например, мы встретились с непредвиденной трудностью — выступающий на метр карниз верхнего малого купола. Раздвижная лестница, поставленная на перила галереи, не доставала до него почти на человеческий рост. Нужно было откинуться назад, подпрыгнуть и, ухватившись за край карниза, подтянуться на него на вытянутых руках. Даже такой отличный спортсмен, как Тихон Олегов, смог сделать это лишь с четвертой попытки...»

— Тихон Палыч, а как впервые забирались на петропавловский шпиль, например? Чтобы потом леса поставить... Трудно было?

— Ясное дело, непросто... Но там ведь уже стояли скобы и ступени и отверстия в куполе для страховки. Плюс альпинистское снаряжение. Вот Боброву во время блокады трудно было, это да, по-настоящему... Про Телушкина вообще не стану. В одиночку, а еще и без страховки, и карабкался по-рабоче-крестьянски — закинул петлю... и вперед, в надежде на силу рук богатырскую!

В 1941-м альпинисты, маскировавшие петропавловский шпиль от налетов фашистской авиации, нашли сделанную краской подпись Петра Телушкина, за 110 лет до них чудом взобравшегося на такую высоту. Тихон Палыч в 1957-м тоже ее видел.

Я заинтересовался судьбой этой героической личности. Прочел о нем у Оленина⁵, Стоцкого⁶, Пикуля⁷, Бараней⁸, у других авторов. Что выяснил?

В 1829 году порывом ветра накренило крест на шпиле Петропавловского собора, повредив при этом еще и крылья Ангела. Установка лесов и оплата работы кровельщиков требовали немалых затрат, в казне же не изыскали соответствующих средств на ремонт. И тут объявился кровельщик, простой ярославский мужик Петр Телушкин, взявшийся починить крест с Ангелом без лесов с одним лишь условием: чтобы ему оплатили нужные для выполнения работ материалы. Денежного вознаграждения за труды свои он не назначал, предоставив «их благородиям» решить этот вопрос по собственному благоусмотрению. А в ноябре 1830-го в одиночку все работы произвел, как обещал: и крест поправил, и крылья Ангела-хранителя святого града Петербурга тоже починил.

Все бы хорошо, подвиг простого крестьянина многократно описан был, но уж больно по-разному все эти авторы объясняли историю жизни самого Телушкина. Мне захотелось узнать о нем побольше: я стал «работать по теме» и наткнулся на воспоминания художника Федора Солнцева, в том числе о работе и жизни кровельщика. И увидел подвиг Телушкина и его мотивы в ином свете.

Прежде чем начать свой рассказ, опирающийся в основном на свидетельства Солнцева, Оленина и некоторых других, увы, менее симпатичных персонажей, хотелось бы сказать пару слов о самом художнике.

Родился он в 1801-м в Верхне-Никульском селе, что неподалеку от Рыбинска, в семье крепостных крестьян, в имении небезызвестного графа А.И. Мусина-Пушкина. Граф же вскоре обнаружил особую одаренность юного Федора и посему освободил семью Солнцевых от крепостной зависимости, что позволило отцу мальчика, Григорию Кондратьевичу, в 1815-м отдать сына в Академию художеств.

В 1830-м по высочайшему повелению и поручению члена Госсовета Алексея Николаевича Оленина (президента Академии художеств и директора Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге) художника Федора Солнцева направили в Москву и другие места «для срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной и царской утвари, скарба, конской сбруи и прочих предметов». Федор Григорьевич упорно трудился во славу, а также в целях преумножения достижений русского искусства и впоследствии был удостоен звания академика.

Но тогда... В том самом 1830-м, когда Солнцеву довелось поближе узнать прославленного кровельщика, художнику было двадцать девять. По поручению Оленина он не раз виделся с Телушкиным, встречался и со знакомыми его, немало интересного рассказавшими об этом крестьянине. Из воспоминаний будущего академика у меня сложилось представление о знаменитом кровельщике, отличное от жизнеописаний, принадлежащих перу других авторов. Были ли заметки Солнцева более достоверными в сравнении с работами прочих биографов Телушкина — ведь художник говорил со слов различных людей, да и сам он мог искренне заблуждаться, — этого я не знаю. Тем не менее воспоминания Солнцева о подвиге отважного крестьянина и людях его окружения показались мне интересными: я свел их вместе, изложил немного по-своему и, не претендуя на историческую точность, решил поделиться ими с читателем.

⁵ О починке креста и Ангела (без лесов) на шпиле Петропавловского собора в Петербурге // Сын Отечества, 1831, ч. 140, т. 18, № 14.

⁶ Повесть о Петре Телушкине. 1953.

⁷ Автограф под облаками. 2008.

⁸ Как наш земляк спас Ангела для государя. 2009.

В поисках отважного кровельщика

В конце августа 1820 года Алексей Николаевич Оленин прислал Федору Солнцеву развернутое предписание с перечнем городов и мест, в кои тому следовало ехать, с перечислением, что и как должно там произвести, где, в том числе, было написано: «Будучи из Владимира в Юрьев-Польский, нужно вам там справиться, как попасть на село Лыково, близ которого, в урочище Жары, в Лесничьем овраге, найдены были остатки шишака великого князя Ярослава Всеволодовича. Я прошу вас побывать самим на этом месте, отыскав в селе Лыкове (буде можно) тех баб, которые сей шишак нашли. При чем прошу верно срисовать костюмы баб и девок села Лыкова...»⁹

Вскоре разнеслась весть о том, что в Нижнем Новгороде объявилась холера, что отдельные случаи заболевания замечены уже и во Владимире. Солнцев собирался было ехать в Юрьев-Польский, как получил от Алексея Николаевича письменное поручение оставить дальнейшие исследования и немедленно возвратиться в Москву, оттуда — в Петербург. Он отправился в дорогу, но ему удалось проехать лишь семьдесят пять верст: в одной деревеньке его остановили и продержали аж двадцать восемь суток. В Москву же вообще не пустили — столицу пришлось объезжать, в Твери продержали восемь дней, в Торжке трое суток, затем в Ижоре, и лишь после этого художник добрался наконец до Петербурга.

Алексей Николаевич принял его с распростертыми объятиями:

— Ах, мой друг, я боялся, что ты погиб. Выслал князю Голицыну тысячу рублей и просил передать их тебе. Получил ли ты деньги?

Услышав, что нет, не получил, Оленин тут же выдал Солнцеву обозначенную сумму. Впоследствии Федор узнал, что его знакомые в Москве тоже в какой-то момент посчитали его погибшим и даже успели отслужить по нему панихиду.

Октябрь 1830-го выдался непривычно сухим. От рек и каналов северной столицы тянуло тяжелым запахом городских отбросов.

По традиции о начале дня оповещала Санкт-Петербургская (ныне Петропавловская) крепость. Вначале куранты играли знакомую протяжную мелодию, и в голове горожан сами собой возникали слова: «Коль славен наш Господь в Сионе, / Не может изъяснить язык. / Велик он в небесах на Троне, / В былинках на Земле велик...» Жители столицы привычно повторяли строки о небесах и былинках, не задумываясь всерьез о небесах — где они, эти небеса, обретаются и какое отношение имеют к ним, простым людям, как, впрочем, и о былинках, несущих крошечные кусочки бытия божия...

Курантам крепости отвечали часы городской управы на Невском. За ними протяжно и тоскливо над стрелкой Васильевского острова, над водной гладью Большой и Малой Невы неслись удары октавного колокола¹⁰, разгонявшие голубей, угнездившихся среди стропил шпилья Петропавловского собора. После пятого удара пономарь привязывал веревку и, перекрестившись, уходил подремать на часок в сторожку.

Аристократический Петербург завершал свой затянувшийся день, незаметно перетекший в ночь и утро следующего дня; застоявшиеся за ночь тысячные рысаки¹¹ мчали в лакированных каретах полусонных молодых щеголей или сильно захмелевшего барина преклонного возраста. Дребезжали

⁹ Ф.Г. Солнцев. «Древности Российского государства, изданные по Высочайшему повелению Императора Николая I». Москва, тип. Августа Семена, 1849–1853 гг.

¹⁰ Тип колокола, в котором три из пяти частот имели между собой октавные интервалы. Идеальное их соотношение достигалось настройкой, подточкой разных поясов внутренней поверхности колокола.

¹¹ Стоившие тысячу и более рублей.

одноконные экипажи «ванек»¹², подбрасывая ездовых, не имевших собственных выездов. В особняках закрывались шторы, чтобы не нарушать покоя утомившихся за ночь господ. Отбивая шаг, удалялся куда-то в свои «полки»¹³ последний ночной дозор дежурной гвардейской части. Со скамеек у ворот поднимались заспанные ночные караульщики, кряхтели, разминая затекшие суставы, и поспешно расходились по домам.

Пробуждались работные люди, второпях ели подогретые вчерашние щи, закусывая зачерствевшими пирожками с требухой, готовили нехитрый инструмент для будущей работы.

Питер приходил в движение. У ворот нарисовались освещенные утренним солнцем грубоватые фигуры дворников — город захватывало мерное шарканье метел о тротуары и мостовые. Пастушьи рожки выводили на улицы столицы степенных коров — погоды стояли теплые, и выпас скота еще не закончился, — бредущих, чтобы три-четыре часа попасть за заставами города. Навстречу им в столицу катились возы со снедью и поделками кустарей, брели изможденные оброчные крестьяне, отпущенные на заработки, рядом с ними — крепостные, пригнанные помещиком на продажу. Поток растекался по рынкам и площадям. Заполотно орали лотошники: «Налетай, не зевай, кому пирожки да пышки, а кому — желваки да шишки! Были б пирожки, будут и дружки! А вот сбитень, вот горячий! Кому сбитню моего? Всякий кушает его: и воин, и подьячий, и лакей, и скороход, да и весь честной народ. Как хлеб да квас, так и все у нас — попей кваску, разгони тоску!» Кухарки и бедные мещанки с корзинками в руках спешили купить провизию посвежее, а еще — чтоб и дешевле: пока торговцы о цене не стоворились...

По ожившим улицам, как тени, потянулись вдоль стен фигуры — в рваных шинелях, штопанных ветхих салопках, вытертых шубах на голо тело, — не шли, а крались к папертям церквей те, кого обглодала и выплюнула столица... Жалобными голосами, осипшими от непроходящих простуд и пьянства, Христа ради вымаливали жалкую копейку, чтобы тут же спустить ее в ближайшем кабаке.

Из подвалов, с чердаков, из темноты душных ночлежек не торопясь выходил работный люд — с ломом и лопатами, с топорами и молотками, штукатурными терками, кистями и пилами, — шли каменщики, маляры, плотники, кровельщики и штукатуры, в эти недолгие минуты — подлинные хозяева улиц. Тяжелым звуком отдавались мостовые под крепким шагом ломовых битогов, везущих на стройки железо, кирпичи, бревна, песок, булыжник.

Первый час дня пролетел незаметно. Стрелки часов вытягивались в прямую линию, куранты повторяли «Коль славен». Пономарь глядел из-под руки на часы высокой колокольни, отвязывал веревку... И вот уже вновь раскатисто забасил церковный колокол, отвешивая свои шесть ударов! На флажной башне Нарышкина бастиона взвился белый флаг — сигнал начала работ на кораблях и стройках столицы.

Минуло сколько-то дней по возвращении из Владимира, и Федор спозаранку вновь направился навестить Алексея Николаевича — тот рано вставал и поздних посетителей не жаловал, — жившего тогда на Гагаринской набережной. Камердинер доложил: «Художник пришел...»

— Какой художник? — Оленин обернулся к двери. — А... Солнцев... Входи, входи, братец.

Федор был сердечно привязан к Алексею Николаевичу и все-таки, несмотря на разрешение приходить запросто, в присутствии самого члена Гос-

¹² Ваньками называли ямщиков, управлявших одноконными экипажами. Это были, как правило, самые нищие из извозчиков, выходцы из провинциальных деревень, ищущие заработка в столице.

¹³ Районы, в которых располагались казармы Преображенского, Семеновского и Измайловского полков.

совета обычно стеснялся и робел. Он нерешительно переступил порог и, улыбаясь, раскрыл перед Олениным папку с зарисовками, привезенными из последнего путешествия. Но Алексей Николаевич выглядел в то утро особенно озабоченным, даже обескураженным, и смотреть рисунки Солнцева, которыми обычно очень даже интересовался и которые считал выполненными куда как превосходно, на сей раз сразу отказался.

— Видишь ты шпиг¹⁴ Петропавловского собора? — спросил он художника. — Мужичок какой-то чинит на нем крест и Ангела, обрати внимание — без лесов и прочих построек для поддержания тела! Посмотри-ка, Федор, в подозрную трубу. Вишь, это он — прям по шпигу ползет, словно блоха какая... Ждал я ждал, чтобы кто-нибудь в газетах отписал, кто такой сей человек и каким таким необыкновенным способом сумел туда взобраться, но ничего путного от шелкоперов газетных так и не дождался. Съезди-ка, дружок, в крепость, узнай поподробнее о русском богатыре этом. Да постарайся притащить храбреца мастера ко мне сюда... Люблю таких. Нетрудно? Сделай, братец, для меня, очень тебя прошу...

— Не сочту за труд, Алексей Николаевич. Вы же знаете: мне завсегда приятно вам услужить. Сей минут и отправлюсь туда напрямиком, — ответил Федор, не зная еще, сколь сложно выполнимым окажется поручение.

В то утро, когда кровельщик впервые выбрался наружу из откидывающегося люка в верхней части шпиля и повис на привязанной к поясу веревке, держась лишь силой собственных рук за ребра-фальцы на стыках металлических листов, переполошилась вся Петербургская сторона.

Первыми, как обычно, человека на шпиле заприметили мальчишки:

— Санек, глянь-ка, мужик по шпигу ползет...

— Белены объелся? Это ж кикимора соборная!

— Дурак ты все-тки... Кикимора по ночам лазит, она света ужась как боится.

— Кикимора, коли старая, по ночам, а молодая — вообще ничего не боится...

Пожилая мещанка, сворачивая на Большую Дворянскую, машинально обернулась к собору, чтобы перекреститься, и, заметив странную фигуру, прилепившуюся животом к золотому шпилю, «свят-свят-свят...» — так и села на тротуар.

— Чего ты, родимая, аль занедужила? — спросила старушка богомолка.

Мещанка показала рукой на собор:

— Ползе-е-ет!

Старушка подняла глаза, прикрыв их ладонью от солнца, и резко засеменаила прочь:

— Батюшки-светы, пришел, окаянный... Господи, спаси и помилуй...

На Троицкую площадь сбегался народ, оповещенный вездесущей пацанвой, бегающей по городу и кричащей: «Кикимора на колокольне!»

— Кака кикимора-то? Антихрист, он и есть антихрист! Окстись, недоутокма, — кикимора, она самая, что под лестницей в соборе хоронилась до поры до времени... Ладан для них — первое дело. Не-не, святая водица — то, что надо, враз изойдет! Нешто кропилом достанешь, — спорили на ходу бегущие.

Из ворот крепости вышел караул охраны фортеции.

— Счас подстрелят... Пули надо б в святой водице...

— Как бы вместо кикиморы в нас бы не пуляли.

В абрисе ворот появилась внушительная фигура настоятеля собора в расшитой епитрахили. Держа крест в поднятой руке, медленно приближался он к толпе.

¹⁴ В те времена шпиль именовали шпигем.

— Как добрый пастырь и смиренный наставник прихожан своих, — уверенно начал он, — призываю вас, христиане православные, успокойтесь за-ради бога, проявите присущее вам от века благонравие и долготерпение.

В толпе зашикали: «Тс-с-с, батюшка говорить желает». Возбужденные голоса постепенно смолкли. Настоятель уже смелее возвысил голос.

— Явление сие, что зрите вы, православные, вполне естественной природы, можно сказать, и никак не богомерзкое какое-то. На златой поверхности шпица святого собора Петра и Павла лицезреем мы ныне живого человека, что из плоти и крови, а не нечисть какую, столь нам всем богопротивную...

— Чего он говорит-то, чего батюшка хочет? — спрашивали задние, пытаясь расслышать речи настоятеля.

— Какой-то Телушкин Петр, что ли, кровельщик, чинить Ангела вознамерилси. Желая порадовать Господу и святым апостолам его...

— Говорил вам, человек, а вы — кикимора, кикимора...

— Ррразойтись! — кричал квартальный, наезжая на толпу. — Оса-а-ди...

Толпа поддавалась и пятилась, но продолжала расти. Страх сменился восторгом: «Глянь, атт стерва — на одних руках держится. Наш мужик — звестно дело — хошь силой, хошь ловкостью возьмет. Мы с Ляксандром Васильевичем через Чертов мост карабкались... Ничего, прошли... Гляди-ка, Гришка, за шпицей скрылся, не сорвался бы. Не сорвется... Русский мужик — он такой, хваткой».

Прошло не меньше недели с тех пор, как кровельщик приступил к штурму гладкого позолоченного шпиля с целью ремонта флюгера в виде Ангела и креста.

Весть о небывалых делах отважного мастера разлетелась по городу, каждый день глазеть на него сбегались уже не только лишь с одной Петербургской стороны.

Федор отправился к крепости. Солнце поднялось над горизонтом пока совсем невысоко, а к фортеции со всех сторон уже начал стекаться народ: шли безработные ремесленники — подивиться на своего брата мастерового человека, подходили купцы и приказчики, бежали поглазеть разнообразные девицы и замужние мещанки.

Квартальный надзиратель — весь в беспокойстве, не всыпят ли ему по первое число за подобные внепраздничные столпотворения? — направил на площадь наряд будочников.

Комендант крепости генерал-адъютант Александр Сукин, припадая на деревянную ногу и поглядывая на табакерку, с которой строгий свой взор устремлял на него сам государь-император, нервно вышагивал взад-вперед по кордегарии: «Что делать, что делать? Починить Ангела Господня так и так надобно, а коль упадет мужик, не случится ли каких безобразий?» На всякий случай выставил у ворот дополнительный караул гарнизонной команды.

Над головами собравшихся гудели отрывки веселых пересудов и возгласы восхищения. Мастеровые объясняли непосвященным всю сложность затеянного отважным кровельщиком. Старушки доказывали маловерам, что «мужика на шпице божья благодать поддерживает». Какие-то женщины кричали о нечистой силе: «Бесы, бесы вознесли его по шпицу!» — потому что-де благодать на мужиков ну никак не распространяется.

— А промежду прочим, мать моя, бесы-то именно в женском естестве пребывают, там как раз и гнездятся!

— Мужик-то отчего злой — все чрез вашу сестру: зачнете зудить — не хочешь, а пойдешь — бегом побежишь в трактир.

— Божья благодать, этт точно. Мужик чинить Ангела лезет, да еще и крест святой.

- Сорвется, гришь? Не знаешь ты наш брата мастеравого!
- Знамо дело, сорвется. Чай не кузнечик какой, чтоб по шпичу ползать. Бьюсь об заклад — ведро водки ставлю.
- Митек, глянь, руки отпустил... Ах, язви его мухи!
- Свят, свят, свят, сгинь, анафема...
- Ангелы Господни, не оставьте русского человека!

Кровельщик уселся на плечи Ангела, посмотрел с высоты — туда, где далеко внизу раскинулся город Петра да игривыми блестками отсвечивали водяные дороги Большой и Малой Невы, прочих малых Невок, их рукавов и каналов. Суда, стоявшие вроде бы сплошь, вплотную друг к другу, при взгляде сверху оказались выстроенными рядами, образующими посреди светлый коридор. Дальше на запад водный коридор все расширялся, постепенно превращаясь в необъятную сверкающую гладь Маркизовой лужи, на серебристом фоне которой была заметна черная полоска дыма идущего в Кронштадт парохода «Елизавета» — да-да, именно так: первого парохода, построенного пятнадцать лет назад на заводе Берда в Санкт-Петербурге.

От длинного здания Адмиралтейства с горящим золотым шпилем лучами разбегались проспекты. Пестрели крыши домов — красные и зеленые, темные и светлые, старые, проржавевшие, и новые, блестящие; среди них выделялась высокая башня городской управы, кое-где поднимались белые колокольни и позолоченные купола храмов. Мастер пытался отыскать взглядом дом на Большой Подъяческой, где всю осень укладывал листы кровельного железа... Удивительно: трехэтажный особняк, огромный вблизи, затерялся и был почти незаметен среди всей этой разношерстной массы домов.

«Вот это мощь... какая все-таки сила у нашего брата работного, у народа нашенского! Сто лет назад, рассказывают, тут как есть ничегошеньки не было. А немцы гутарят — у русских, мол, в уме нехватка. Тьфу десять раз, нехристи картавые!» — подумал кровельщик, сплюнул злобно, а потом, отринув недобрые мысли, распрямился и поднялся во весь рост, опираясь на голову Ангела. Внимание его привлек доносившийся снизу шум: Троицкая площадь и сад, что рядом с Кронверком, пестрели платками, шальями, армяками, кафтанами, в воздух взлетали шапки, картузы, фуражки, малахай, треухи и гречники. Сквозь шум ветра кровельщик различил многоголосое «ура!»... Охваченный порывом восторга, по привычке сделал крестное знамение, помахал толпе и сам закричал что есть мочи:

— Ура!

Петр таким образом тоже поучаствовал в народном ликовании, ну а потом приступил к работам на шпиче — для чего вообще-то он сюда забрался? Художник же еще долго толкался на площади, расспрашивая чуть не каждого «о мужике на шпиче», но путного ничего не добился. Говорили, что кровельщик по фамилии то ли Телушкин, то ли Теплушкин залез туда как-то без лесов. А теперь лестницу веревочную повесил и каждый божий день туда лазает вот уж вторую неделю.

— Как же он туда забрался, силой рук одних, что ли? — спросил Солнцев.

— Не знаете вы мастеравого человека, — рассудительно отвечал ему кто-то из толпы. — Кабы довели его, к примеру, до самого последнего края, туда, где хрустальный свод небес на землю-матушку опирается, он, Телушкин эфто, и на небесный свод вскарабкался б, и где кровля или даже звезда какая отстала, там их заново и прикрепил бы, как следует тому быть. Кровельщик небесного свода — вот он кто!

— Несколько раз чуть не сорвался, — добавил проходящий мимо купец, — а счас вишь: сидит на кресте, листы железные прибавает, крыло Ангелово закрепляет. Кады слезет — сие нам неведомо, где живет — то же самое.

Убедившись в бесполезности расспросов, понимая также, что в саму-то крепость его точно не пустят, художник решил сыскать настоятеля собора.

Настоятель хоть и жил неподалеку, у Троицкой церкви, но дома его не оказалось — опять неудача! Наконец Федору вроде повезло: привратник у крепостных ворот указал на случайно проходившего мимо пономаря.

Тот недоверчиво рассматривал длинные волосы художника, пелерину его крылатки из хорошего сукна, размышляя про себя: «Что за хмырь такой, пошто на голову мою взялся, чего пристал ко мне аки банный лист?»

— А вы, собственно, из каких будете? Из каких таких соображений про кровельщика-то, нанятого для ответственных храмовых работ, столь подробно выпрашиваете?

Федор объяснил, кто он и чье поручение исполняет, разыскивая Телушкина.

Имя члена Государственного совета сразу изменило тон речей пономаря.

— Как же-с, как же-с... Кто ж не знает Лексей Николаича, господи, воля твоя... Да я ж Петра этого, Телушкина то бишь, если знать хотите, как своего... просфорами кормил не счесть раз число... Еще до того, как поставить на богоугодное дело сие... А кто, спросите меня, кто к отцу-настоятелю его водил, кто поручался за него перед самим генерал-адъютантом, рискуя головой собственной и даже шкурой, если хотите знать? О, господи, во славу твою порадеть хочу; чего только за-ради дела божеского не сделаешь... А вот када Пётра тот на землю грешную сойдет из поднебесий сих, того, сударь мой, не знаю я, не ведаю. Потому что уж больно он до работы упоротый — почитай, дотемна не слезет.

— А где ж он квартирует? — спросил Федор.

— Откуда ж мне, старому-сирому, знать, где каждый кровельщик обретается? Знаю дело, крыши кроет. Обычное дело... Сейчас Ангела Господня ремонтирует на храме святых апостолов Петра и Павла, до того, слышал, на Большой Подъяческой всю осень работным делом занимался. А где квартируется... У кого-то, стал быть, живет, как иначе? А-а-а, вспомнил наконец, дурыя башка! Будочник — он-то как раз нас и познакомил... Степашка Ерофеев, на деревянной ноге, кавалер трех Георгиевских... Военная косточка — пол-Европы прошел в рядах лейб-гвардии егерского полка в Отечественную, там и ногу потерял. Телушкин сам и пришел к нему как бы к человеку на «ответственном посту», зело опытному в городских делах всяческих, посоветоваться или вроде того. А тот меня пригласил, втроем чтоб обмозговать и все такое. Как я при соборе Петербургской крепости при должности состою. Распили бутылочку, закусили — сам знаешь, соответственно. Тут мне Пётра и сказал о поломке крыла... как справить можно. И чтоб недорого. А то у купцов-благотетелей денег нет, а главное — страха Божия не имеют, лишь о мирском помышляют. Вот я ему и говорю: прошение писать надобно настоятелю. Ах, да — где приют мает... Тот Степашка Ерофеев как раз, должно быть, и ведает, иде по ночам кровельщик тот обретается, где сыскать его в точности возможно бысть. Так что это к нему, он, поди, знает.

— А где ж, мил человек, сыскать мне Степана Ерофеева того? В будке его, что ль?

— Всяк дурак знает, что праздник — в воскресный день, — глубокомысленно произнес пономарь. — Знамо дело: любой будочник завсегда в будке как раз и обретается. Вопрос токмо, где будка та...

— Так скажи уж где — замучил совсем...

— Звестно дело, у Пяти Углов — там-то и поставлена будка ерофеевская, поди, знаешь место такое?

Обрадованный Федор буквально слетел с крутого мостика через Кронверкский пролив и, не скрывая счастливой улыбки, двинулся к площади, где без задержек окрикнул первого попавшегося «ваньку», чтобы поскорей добраться до Троицкой улицы, теперешней Рубинштейна. Выскочил, не доез-

жая до конца, чуть раньше — как-никак молодой человек, захотелось подвигаться-продышаться, — и двинулся в сторону Загородного, в который у Пяти Углов впадает с одной стороны улица Большие Пеньки, ныне Разъезжая, с другой — Чернышев переулок, теперь улица Ломоносова.

Пеньки с Чернышевым — по сути своей единая магистраль, соединяющая важнейшую Толкучку на Садовой со столь необходимым народу Глазовым кабаком на Лиговке, расположившимся среди поселений наипервейших первопроходцев, образующих вкуче так называемую Ямскую слободу, где селились по большей части староверы с раскольниками, так называемые «духовные христиане» (попросту «скопцы»), да почему-то еще и татары. Так вот, Пеньки с Чернышевым, а еще Загородный проспект можно считать самыми шумными и неутомимыми магистралями этого района города Святого Петра.

Потому-то и кишат они разномастными толпами, бесконечно снующими в обоих направлениях, да и поперек — тоже. Конечно, не избранной публикой Адмиралтейского бульвара (ныне Александровского сада) или Большой Морской: дорогой экипаж, солидный джентльмен или младая модница явились бы здесь весьма редким или случайным событием. Все более народонаселение, заботящееся о простом: где бы добыть работишку да пропитание на каждый божий день. Картина публики Чернышева и Пеньков, окрашенная низко нависшим небом в блеклые, не отличающиеся особым разнообразием тона, была б неполной без добавления к ней зело важных обстоятельств в виде забористого словца и запахов пирожков, торгуемых вездесущими лотошниками.

Прогулявшись от Садовой до Лиговки, мы повстречаем немало престранных холуйских персонажей в засаленных чуйках, потертых пальтишках, старых шинельках — все с ворохом через руку перекинутого старья, все — с особенным бойким и вечно ищущим взглядом, безошибочно выдающим в них барыгу-маклака или воришку-мазурика. Эта особая напористость их взгляда не сама собой появилась — вырабатывалась долгой хлопотной жизнью и непростым ремеслом, ежеминутно подверженным многочисленным превратностям судьбы и ветреного случая.

Место действия их не только Чернышев переулок и Пеньки — Садовая, Щербаков, кабаки и прочие заведения не самого высшего пошиба, театры — тоже, между прочим... На лестницах театров, где барыги пытаются перехватить товар, столкновение их «законных интересов» может доходить до ссор и потасовок; вырывая товар, — разрывают на части платки и накидки, ломают цепочки часов, шкатулки, отрывают воротники у шуб... а внакладе остается мазурик, сохранив себе вконец испорченную вещь.

Если прохожий несет что-то, маклак тотчас же осматривает это «что-то» опытным взглядом на предмет — нет ли чего полезного, и вкрадчиво поинтересуется: «Продаете, али как?» К Федору тоже подкатил такой, заинтересовавшись большой папкой в его руках. «Пешком идет, один, а в папке наверняка существенное что-то: деньги, гребешок, фабра, воск-помада, трубочка с табачком...»

Художник поднялся из низов, много чего повидал: его на мякине не проведешь. На лстивые слова, на предложение зайти в рестарацию, угостить выпивкой и поменять «вещь на вещь с вашим же антиресом» не повелся и благополучно продолжил свой путь.

Добравшись до перекрестка пяти пересекающихся улиц, замедлил стремительный бег, дабы осмотреться, но, по счастью, вскоре заметил неподалеку лениво позевывавшего городского стража преклонного возраста, стоявшего, опершись на алебарду, спиной к будке, выкрашенной черными и белыми косыми полосками. «Похоже, этот будочник мне сейчас и нужен», — с надеждой подумал Федор. Приблизился к «фараону» и осведомился, не Степаном ли Ерофеевым тот будет. Городской страж недоверчиво взглянул на художника, еще раз зевнул и спросил, будто не поняв:

— Степан Ерофеев-то кто такой?

— Люди добрые сказывали, уважаемый, что будочником у Пяти Углов тот самый Степан Ерофеев и имеет место обретаться, не вы ли это, уважаемый?

— Послушай меня, мил человек, не впутывал бы ты старика в свои дурные истории. Дело мое на посту стоять, службу исполнять справно, вот что я тебе скажу! А ежели пентюх какой напьется — пусть даже с пудовыми кулачищами, — извольте в кутузку бысть доставленным. И тебя отведу, коль безобразничать почнешь! — нехотя ответил сей доблестный страж, взглядываясь в лицо Солнцева заспанными глазками и лениво размышляя, кем может оказаться сия персона в дорогушей крылатке?» — Степан Ерофеев? Нет тут такого!

— Уж так и нет совсем? — озабоченно переспросил художник, которого уже покидала надежда благополучно исполнить поручение Алексея Николаевича. — Как так, служивый, когда меня за точное уверяли, что именно здесь ему и бысть?

— Мало ли что уверяли... Смотреть надобно, кто что говорит... да и за чем, главное, — с сомнением в голосе отвечивал будочник.

— Знакомец есть у меня... Пономарь собора святых Петра и Павла.

Страж недобро усмехнулся, но сменил-таки сердито-официальную манеру разговора на свойскую, вроде даже нахально-насмешливую:

— Ну и чо те Ерофеев тот?

— Дельце есть... Человечка одного сыскать надобно...

— Поди ж ты!.. Челове-е-чка... — передразнил Федора будочник, хамовато ухмыляясь, хотя уже и без тени прежних неверия и подозрительности. — Ух ты, скорострел... Что за человечка-то сыскать хочешь? Небось мазурика али убивца какого... Мазурики энти как раз в дружбах и состоят с тем самым теплым народом... А-а-а, дошло наконец, — осклабился «фаран», — как же раньше в башку дурную не приходило: маруха те нужна!

— Никакого не убивца, никакую не маруху! Телушкина Петра, кровельщика... Что сейчас шпиц в крепости ремонтирует.

— Телу-у-ушкина — ух ты какой! Многие хотели бы выяснить, где сама вкусна рыбешка обретается, вот и не жмись, подкинь на ушницу!

Солнцев запустил руку в карман, чтобы отыскать мелочь.

— Свисти¹⁵, свисти, да покрасивей! — поддразнивал его страж.

К счастью, Федор быстро отыскал в жилете медный гривенник и незаметно вложил его в заранее подставленную ладонь будочника, торопливо опустившего монетку в какую-то складку своей одежды и как ни в чем не бывало сообщившего художнику, что он-то и есть бывший солдат Степан Ерофеев. А Телушкина знает распрекрасенько — тот навевается в его будку по праздничным дням: послушать байки о боевых походах, о том, как он, Ерофеев, на хранцуза ходил, как ногу потерял; иной раз и в трактирчик вместе заскакивали.

— Вот и скажи, мил человек, разобъясни мне, бестолковому, что тебе хотелось бы узнать о кровельщике?

Будочник зашел в будку вместе с посетителем, заправил в нос понюшку и громко высморкался. Спрятав платок в карман, оглядел собеседника, как бы взвешивая, стоит ли продолжать... и вот что рассказал о кровельщике.

Телушкин не родная его фамилия. Кровный отец знаменитого теперь кровельщика — Михаил Стахеев, крестьянин деревни Мягра Ярославской губернии. Его барыня, — кажись, Трусова, что ли, за помещицей было душ двадцать крестьян, — решила продать Петра, сына, значит, Михаила Стахеева, — все за-ради погашения долгов казне.

¹⁵ Свистеть — обманывать (блат.).

А приобрел парнишку некто Телушкин, состоятельный крестьянин села Вятское Даниловского уезда, промышлявший кровельным делом, купил и дал свою фамилию. Поначалу намеревался отправить его на службу в армию вместо сыновей, стоявших на очереди по рекрутской повинности. Но названные братья вскоре оба заболели, оба-два, и отдали богу душу. Потерявший детей хозяин относился к приемышу как к родному и видел в нем помощника в деле. Петр оказался не только смышленным парнишкой, но обладал к тому же недюжинной силой — запросто поднимал до тринадцати пудов, не страшился высоты и вскоре стал искусным кровельщиком. Приемный отец брал его на промысел в Питер, дабы ремонтировать там купола церквей и колоколен.

— А что он решился забраться без лесов к Ангелу, об этом не единожды мне лично Петр говорил, не раз разобъяснял... — продолжал будочник. — Потому что Ангел этот, словно аист какой, крылом подбитым вертит — прости, господи, мои прегрешения! Оно, того гляди, хрясть... и сорвется! Подходишь к собору, молитву творишь, чтоб пронесло. Так что богоугодное дело затеял Петр Телушкин. Потому, видать, и пошел на подвиг сей, — закончил он почти шепотом, и, внезапно загораясь гневом, повысил голос, будто пред ним самолично стоял виновник всех соборных бедствий.

— А где, ответь мне, сам Петр Великий в приснопамятном семьсот третьем новому граду камень заложил? Может, под этим храмом камень тот как раз и покоится ныне! От крепости с собором — град Петра жисть свою получил. Да и название само, если хошь знать, от фортеции той пошло. Вот он, каков есть наш собор, — будочник поднял руку с вытянутым указательным пальцем. — А божьему Ангелу, который над сим храмом парит, такое неуважение выказывается — срамота одна! — Страж городской испугался собственных слов, взглянул наружу, не услышал ли его кто, вернулся и перешел на шепот: — Кабы Петруша не взялся, что б было? На все воля господня! — смиренно закончил будочник свой горячий спич и наспех перекрестился.

Упала неловкая пауза.

— Так где ж мне все-таки сыскать-то его? — в который раз за день спрашивал Федор.

— Где, где... На шпиге небось... С Ангелом в обнимку и есть. А квартирует... Кто ж его, мужика, знает! Город большой, где-нибудь да найдет приткнуть голову на ночь. Может, у зазнобы какой... Вдов-то хватает. Обязательно найдет.

Будочник потерял седые вихры на затылке.

— Знаю, кто тебе поможет. Фрол Романыч. Я ведь как раз и посылал Телушкина к Романычу, чтоб с прошением подсказал, потому как настоятель отказать ремонт произвести. Вместе и ходили — он да я... Фрол-то Романыч точно знает. Он вообще, почитай, обо всем осведомлен, та сазать, — обо всем, что бы в городе ни производилось.

Будочник пошуршал пальцами, что означало «надо бы добавить на уху». Федор вздохнул, достал еще гривенник. Степан тут же, улыбаясь, сообщил:

— Дык свезло тебе, мил человек. В «Ершах» апосля обеда он и обретается, наш Фрол Романыч... Туточки рядом, глянь-ка наперекоски... Деревянный домишко-то, ветхий такой, второй от угла... Как раз и есть «Ерши». В «Ершах» энтих разыщешь Фрол Романыча, тамошнего завсегдатая. Ежли половой али буфетчик какой в отказ пойдет, не слышал, мол, имени такого, или еще шо, — наставительно добавил будочник, — скажи просто: «секрет» направил, тут же и сведет вас.

Мутные наставления городского стража в эту весьма затруднительную для художника минуту почему-то показались ему очень даже ясными и понятными. Федор воспарил душой: предчувствие благополучного завершения дела, порученного ему самим Алексеем Николаевичем, наконец-то заиграло разноцветными лучами.

Бытописатель первой трети девятнадцатого века так рисует национальный состав и житейский срез народонаселения северной столицы тех лет: на Мещанских улицах, на Вознесенском, на Гороховой расселялся в основном рабочий люд — преимущественно выходцы из Пруссии. Неподалеку от Обуховского моста, в местах у Вознесенской церкви, на Екатерининском канале и в районе Подъяческих кучковались предприимчивые дети Израиля — здесь нередко можно было встретить их деловитые, с хитринкой лица, длинные пальто из камлота и длинные шинели. Переберемся на Васильевский остров — там собственное то ли графство, то ли герцогство с непривычной, казалось бы, внешностью внезапно обезлюдевшего города английского типа со специфическим коммерческо-банковским уклоном. А вот набережные: Английская, Гагаринская, Дворцовая, плюс Сергиева улица (ныне Чайковского) — это вроде отдельного княжества дворцов-особняков с остатками рафинированно-аристократического и паразитного откупного¹⁶, как бы тоже весьма утонченного духа, иногда с душком военной, а конкретнее — артиллерийской вальжной расхлябанности. А вот то, что сохраняло внутри себя черты подлинной великороссийской почвенности, оседало восточнее Сенной, невольно тянулось в сторону первопрестольной и по преимуществу группировалось вокруг Обуховского (нынче Московского) проспекта, и в особенности той его части, что между Сенной и Фонтанкой.

«Ерши» расположились в бойкой сердцевине между Толкучкой и Глазовым. Рядом — Загородный, до Обуховского рукой подать — кондовой и почвенней местечка в Питере не сыскать.

Подкатит маклак к приезжему мужичонку, всучит ему «совсем новые порты», убедив: «самы лучшие, не сумлевайся, да и за бесценок к тому ж», а потом — от души, самого чиста сердца, конечное дело, — предложит:

— Разопьем четвертинку, мил человек, мерзавчик-то в такую погоду, — а, как ты? Али парочку пивка — почему не придавить? Чо деньги энти? Не в деньгах счастье... Вмestях магарыч-то и разопьем. Ну как, согласен, поди?

— Ладно уж, уговорил, — добродушно кивает мужичок (кто ж от четвертинки-то откажется), смекая про себя: «Что за доброго да отзывчивого человечка ангелы небесны мне ниспослали!»

И направляются кунтюзник сей с мужичонком прямехонько в энти приснопамятные «Ерши». А с местными у него давно тра-ля-ля — есть понимание, одним словом, — буфетчик только мигнул половому, у того уж колесики закрутились: пузырек запотевший враз на столе, к гостю обращается «уважаемый» и только лишь на вы, да «по приличиям петербургским, а также согласно правилам хорошего тона» держится с ним с особым почтением. После двух-трех стопочек питерский гость, наблюдая неизменное уважение столичных к собственной сиволапой особе, раскочевряжится дальше некуда. Накачают его кунтюзник со товарищи до потери разума, пройдут с ним в квартиру¹⁷, облупят вчистую, порты тоже заберут для порядку, а самого-то мужичка — под белы руки да на холодок, чтобы проветрился; вот тогда и почнут «слам растырбанивать», раздавать по долям, кому что положено.

Теперь понятно, к какому милейшему местечку вышагивал в сей благословенный момент художник божьей милостью Федор Солнцев.

Улыбаясь собственным мыслям, он перешел улицу и оказался перед дверью невзрачного бревенчатого строения. Над входом — полинявшее от солнца и дождей название «Растерация» с изображениями чайника, бильяр-

¹⁶ Откуп — система сбора с населения налогов, при которой государство за определенную плату передает право их сбора частным лицам (откупщикам).

¹⁷ Тайное помещение в кабаке для игры в карты и обтяпывания воровских дел, воровской притон.

да и некоей невзрачной рыбешки. Ожидаемой же вывески «Ерши» Федор не обнаружил. В те поры бытовало мнение, что неофициальное название заведения связано было с тем немаловажным обстоятельством, что «растерация» когда-то известна была прекрасной и недорогой ущицей, сваренной из одних лишь ершей, поджаренных якобы особым, только ей известным способом, — многие пытались перенять тот способ, да не получилось! Иные полагали, что народное «Ерши» имеет смысл фигуральный и образный, берущий начало от того естественно-научного факта, согласно которому заведениаи заведения отличались особой ершистостью: что на язык — особенно с теми, кого в тайной комнате обчищали в карты (лушили), что на кулаки — если кто-то протестовал против очевидных лущений и обчищений. Но Федор ничего такого об этом заведении, конечно же, не знал.

«Ерши» — удлиненная бревенчатая постройка, изрядно осевшая со временем в болотистую петербургскую почву; ее окна поднимались теперь над уровнем тротуара немногим более полуаршина¹⁸. С наступлением темноты они закрывались кумачовыми занавесочками. Крыша того строения благосклонно позволяла бурьянам и репейникам разного рода-племени беспрепятственно укореняться и подниматься в щелях черного гнилого теса. Со стороны Пеньков в фасад была врезана входная — как бы «парадная» по замыслу своему — дверь с низкой притолокой, которая теперь оказалась почти вровень с тротуаром, разве чуть выше, и неосмотрительный визитер, желающий попасть внутрь «растерации», почти обречен был клонуть в дверь носом, всенепременно уже, коли вечерело, и посетитель не заметил трех высоких ступенек, сбегавших гораздо ниже уровня улицы.

Неловко клонув — как, впрочем, тому и положено быть, — всем лицом в пресловутую дверь, Солнцев оказался в помещении, гордо именуемом буфетом. Спокойно-добродушный человек лет сорока, стоявший за стойкой буфета, держался кротко и степенно, но для порядка окинул-таки посетителя жестким, пронзительным взглядом. «Ярославский типаж!» — подумал Федор, немало поездивший по центру России. Весь в белом — рубашка из грубого полотна, ярко-снежный передник плюс башмаки на босу ногу со светлым тканевым верхом — харчевенная чистоплотность и трактирный изыск посреди привычной неопрятности визитеров и налета многолетней грязи прочего антуража, совместно с внушительностью бородатого, с легкой проседью лица буфетчика, понятно и без обиняков говорили: тут расположена не ординарная персона, а именно «старший буфетчик», в подчинении которого половые и прочие мальчишки на побегушках, ну а он в особе своей воплощает «непреклонную силу» администрации сего достойного учреждения. Что власть его неким фантазмагорическим образом может протестировать и на посетителей, кабы они вдруг удумали учинить нечто непотребное навряд ли шумного скандала или, скажем, дебоша.

Встретив Солнцева кивком, ярославец поднял и направил в сторону указующую правую руку:

— Пожалте в залу.

Художник игнорировал предложение и почел за лучшее приблизиться к буфетчику, чтобы осведомиться о Фроле Романыче.

— Кого желаете испрашивать? Фрола Романыча-с? — услужливо осведомился буфетчик, опираясь на стойку и заметно наклонившись вперед, что являло собой некую буфетческую галантность и особую трактирную учтивость. — Фрола Романыча?.. Нет-с, о таком не слышали-с...

— Как же нет, когда он завсегдатаем у вас! — возразил ярославцу ошарашенный ответом Солнцева, для которого новое препятствие в затянувшихся розысках Телушкина показалось ножом, окончательно срезавшим нить последнего шанса на благоприятный исход его миссии.

¹⁸ Аршин — 0,71 м (длина руки от кончиков пальцев до плеча).

— Не слышали-с... Но не исключено, что заходит когда... сами посудите, сколько посетителей-то проходит с утра аж и до конца ночи! Разве можно всех упомнить-то! — медленно отнекивался «старшой».

— Не сам я пришел, «секрет» к вам направил! — неожиданно для себя произнес, забыв о столь необходимой в таких местах осторожности, Солнцев.

Реакцией на его «разоблачение» стал взгляд, окрашенный удивлением и опасливым сомнением, — взгляд, мгновенно обжевавший углы буфетной: «не затесался ли кто нежелательный?» и рассеянно остановившийся ровно хонько посреди лба подозрительного посетителя в крылатке.

— Простите, как вы соблаговолили выразиться-то? — криво улыбнувшись, переспросил «старшой».

— «Секрет» направил, — настаивал художник.

— И что такое это могло бы означать-с? Не понимаю вас...

Художник, оказавшись неготовым к подобной реакции буфетчика, смутился, покраснел и, похоже, даже чуть сдрейфил.

— Так уж и не понимаете? — робко ответил он, а сам подумал: «Какой секрет? Боже, что я несу».

— Не извольте гневаться!.. Откуда нам, простым людям, ведать такое... Об эфтих делах никаких сведений у нас никак не имеется... Не по нашему разумению-с тайны ваши открывать... Что касемо работы, мы у буфета, значит-с, состоим, что же до чего другого, о чем вы намекнули, так, звиняйте, эфто, кажись, совсем даже не по нашей должности будет.

Солнцев, не понимая, что тут можно сделать — очень уж не хотелось рассказывать о поручении Алексея Николаевича, — с досады сжал зубы и принялся неуверенно расхаживать по буфету.

Ярославец продолжал зорко наблюдать за ним, но виду не подавал. После непродолжительного наблюдения за посетителем спросил:

— Вам, стал быть, знакомый ваш именно у нас встречу-то и назначил?

— Да нет, — ответил Федор, уже немного затосковавший от дурацких игр в секреты и ощущения надвигающейся неудачи выполнения его миссии. — Вообще-то меня будочник Степан Ерофеев направил к вам, слышали о таком? Степан-то Ерофеев с Телушкиным-кровельщиком к тому Фрол Романычу как раз и приходили.

— Ерофеев? С Телушкиным? Ерофеев, к примеру, вполне мог и договориться о встрече с Фрол Романычем тем, так, что ль? На чистой половине... Вполне мог, почему нет? Так вы пройдите в залу, — произнес буфетчик, указывая на стеклянную разноцветную дверь справа, — пожалуйста, посидите там; может, они — Фрол Романыч, правильно ли я вас понял? — как раз и придут, а может, там уж и расположились ровно так, как вам тот самый Степан Ерофеев подсказал.

Солнцев перешел в залу, а буфетчик тут же шмыгнул в низенькую дверцу сразу за полками буфета, сплошь заставленными стаканами, кружками и расписными чайниками.

Просторная зала в пять окон с традиционными, должно быть, когда-то красными занавесками, в коей оказался теперь Солнцев, отличалась, скажем прямо, весьма неухоженным и даже грязноватым обликом. Дощатые, покрытые застаревшей копотью стены, во времена оны окрашенные меловой краской с наслоением изображений ядовито-зеленых тропических деревьев, разноцветных павлинов и лиловых охотников с ружьями и луками, с годами заметно покривились под напором вездесущей и неудержимой петербургской промозглости и сырости. Дощатый потолок был украшен огромным грязным пятном, образовавшимся вследствие чада подвешенных на крючках ламп, заправляемых конопляным маслом. Десятилетия жизни популярного трактира покрыли всю эту трущобную роскошь своей серовато-бурой дымкой. Под окнами пристроились крошечные квадратные столики, застеленные грубыми скатерками — все в грязных застарелых пятнах, — и заставленные перевернутыми полоскательными чашками с синими

неровными ободочками. Рассохшийся пол с остатками желтой окраски был покрыт влажными следами гостей, пеплом сигарок и остатками чая: беспардонные визитеры предпочитали использовать для плесков чая именно пол «растерации», а не приготовленные специально для этого полоскательные чашки. Воздух сего чудесного заведения, несмотря открытые форточки, был пропитан неискоренимыми миазмами махорки, «Жукова»¹⁹ и сигарок.

Солнцеву, вообще-то не приученному к благам роскоши и комфорта, тем не менее не доводилось еще оказываться в столь милых заведениях, предназначенных для чудесного времяпрепровождения лучших представителей петербургских трущоб, и художник прочувствовал это особенно остро, когда, устроившись с краю замызанного столика, решил осмотреть так называемых гостей.

У дальнего окна разместились компания рабочего люда с желтовато-серыми лицами, в пестрядинных халатах²⁰. Эту компанию бородатых, нестриженных наглых физиономий, будто вещавших всем и каждому: «я — не я, и лошадь не моя!» — потчевал парнишка лет шестнадцати, тоже в пестрядинном халате. Ему хотелось «взрослость» свою показать, потому как денежными средствами располагает и даже старших угостить вполне в состоянии. Парнишка был самым громким, ругался, махал ручонками и кривлялся, чтобы на уровне держать фасон. Работный народец подбадривал его объятиями, одобрительной руганью и невпопад выкрикивал частушки:

Ах, ерши, ерши, ерши, ерши, ерши — да,
Все по четверти ерши, ерши — да!

Другой угол занимали серьезные и обстоятельные люди извоза, любившие в середине дня посетить «Ерши», чтобы оттянуться в чаепитиях. Кляч своих они кормили и поили из специальных колод, установленных неподалеку со стороны двора, себя же, любимых — «по-чуть-чуть кипяточком баловали». Здесь верх держали всеобщая «трезвенность», «чаёк» и краснобагровые от жара, весьма довольные собой мордатые рожи.

Неподалеку от Солнцева обсуждали, что Фому-младшего «фараоны» заграбастали, а старшему Игнату прапор колесо отбил, сам же в ландо укатил — и поминай как звали. У знакомого «ваньки» увели кобылу вместе с дрожками — отошел по нужде за угол, а мазурики — тут как тут, увели, проклятые; теперь деньги отдавать придется, хозяин так просто не отпустит, а семья в деревне — сидят там без дров, да и еды на всех не хватает...

А рядом:

— Хозяину-то, небось, все несешь? Или что удерживаешь из выручки? — выспрашивал хитрован из самых тертых у неоперившегося пока мальчишки-извозчика лет двенадцати.

— Выручку нес, это да, — до последнего медяка, а как иначе? — отвечал тот детским голоском, тяжело переводя дух и шумно всасывая с блюдечка новую порцию обжигающего чайного напитка.

— Михрютка ты и есть михрютка!.. до последнего медяка! — насмешливо передразнивал его первый. — Кто так поступает... чтобы все отдавать? А для себя что — не надо оставить?!

— Поди ж ты — для себя!.. а Господь на небесах? — не соглашался парнишка. — А хозяин — что, по головке погладит?

— Язычок-то придержи... За-ради чего выбалтывать, скольк за день выручил? Ежль, к примеру, рублик навыватывал, вот и неси гривен семь аль восемь — коли совесть так уж мучит. Вертеться надобно, чтобы выживать.

¹⁹ Василий Жуков — один из наиболее известных табачных фабрикантов России первой трети XIX века. Его мануфактура находилась на Набережной Фонтанки, 74.

²⁰ Пестрядина — грубая ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая.

— Нет у меня таковских разумений...

— Нет разумений? А почто учение человекам дано? Два чая на стол — в минуту вразумлю, без промедлений!

Парнишка выставляет два чая тертому хитровану в надежде получить первые уроки столь удивительных прикладных университетов для будущих академиков питерского извоза.

Что до остальной публики... Федор заприметил несколько отдельно сидящих дворников, солдат, проникших в залу, видимо, с черного хода, потому как входить таким со стороны Пеньков категорически запрещалось, да пару серых персон, из коих одна наиболее подозрительная личность в потертом лапсердаке все время старательно изображала глубокое погружение в изучение полицейской газеты.

Инстинкт самосохранения Солнцева, не особо искушенного в посещениях питерского дна, вкупе с ощущением его личной гармонии-дисгармонии с атмосферой северной столицы, слишком уж угнетали художника. Кто они, эти люди? Бандиты, авантюристы, обманщики... А если еще и душегубы? Фантазия помогала добавить к общей картине немало самых мрачных тонов и деталей, несмотря на то, что обстановка залы на самом деле ничем не отличалась от обычной обстановки любой петербургской харчевни. Зачем он упомянул о «секрете», сам не понимая смысла этого слова? Кто этот Фрол Романыч, что за хмырь такой? Чудилось, с минуту на минуту появятся «фараоны»²¹, чтобы непременно арестовать, или, к примеру, все эти несимпатичные персоны вскочат со стульев, кинутся на него, отнимут рисунки, деньги или вообще убьют, пожалуй...

А из-за буфета появился меж тем буфетчик в сопровождении незнакомой Солнцеву мордатой персоны с сонной и явно чем-то встревоженной физиономией.

— Хватит уж дрыхнуть-то! Темь на дворе, черед твой уже за стойкой ныне... Аль не оклемался еще? Ногами-то шевели, что ль, пошибче, бес лохматый! — сердито выговаривал он этому темному субъекту, нехотя бредущему за ним следом.

— Да разобъясни мне хоть, что за тип такой выспрашивал и зачем твою? — отбрехивался тот сиплым, полусонным голосом.

— Откель мне знать — тебя спросал!.. Глаза-то пошто даны те? Зырь вона наскрозь цветные стеклышки! Зеть получше, твою, не фигарис²² ли! — недовольно гавкнул буфетчик, добравшись до родной стойки и став там в самой независимой позе — словно все происходящее к его добродетельной особе никакого отношения не имеет.

Сонная персона прижалась физиономией к стеклянной двери и принялась рассматривать происходящее в зале.

— Кто из них? Который в шельме²³ али... в крылатке камлотной²⁴ — тот, что ли?

— Тот самый... Да глянь внимательней, а вдруг фигарис каплюжный²⁵ собственной персоной пожаловал к нам, — хмыкнул буфетчик.

— Не видел прежде. «Секрет», гришь, прислал? Дурак будочник — зачем болтать: от Ерофеева, мол?²⁶ Какой он «секрет»? Казал бы — от фараона, мол, с Пяти Углов. Сам-то хорош! Чому чужого пустил, чому рожки свои казать? Не для каждой морды калиточки отворёны! Исчо и про кровельщика

²¹ Будочники (блат.).

²² Полицейский, лазутчик, сыщик (блат.).

²³ Шинель (блат.).

²⁴ Камлот — шерстяная ткань.

²⁵ Полицейский (блат.).

²⁶ В среде маклаков и мазуриков — не только с посторонними, но и в разговоре между собой — не принято было называть кого-то по имени, говорили неопределенно: тот, этот, наш, знакомый, нужный человек, секрет.

того говорилось... И тоже по имени — тьфу, зла не хватит на всяких таких! Помню, приходили энти... вдвоем. Бумага требовалась. Я справки навел обоих, посоветовал им, дальше-то коим образом поступать надобно. Дело-то достойное, богоугодное... Посему разумею, не фигарис — своя гамля²⁷. Станется, что и барчук али мухорт²⁸ какой... — успокоил буфетчика смотривший через стекло персонаж и смело шагнул в залу.

Вечерние «Ерши» вовсе не те, что дневные. Вечером это совсем иное заведение. Как только побегушники-половые зажгут в заведении светильники, а те бросят мутный свой свет на неприглядные трактирные интерьеры, в тот же момент чьи-то проворные руки быстро задернут грязновато-красные занавесочки, обозначая, что «Ерши» приступили к своему, можно сказать, самому важному этапу суточного цикла, вечерне-ночному функционированию. Доминантным центром того действия становился, конечно же, солидный и благопристойный вечерний буфетчик Фрол Романыч, и тогда его многочисленные и весьма разнообразные таланты оказывались воистину востребованными.

Было время, раб божий Фролка начинал с непростого труда вольного маклака, устремляя стопы с переулка на проспект, с проспекта на площадь, с площади — на улицу, переулок, проспект, в кабаки, трактиры, из питейного заведения на Толкучку, забегал и в Александринку к сотоварищам, что не столь театральным искусством пленялись, а больше добыче рыболовной всюю душой отдавались — во всю «камбал» удили, «двуглазым»²⁹ тоже спуску не давали. Для пущей неприметности проходами невоскресными³⁰ пользовался, заскакивал со скрытых узких лестниц, где вверх-вниз передвигался побольше все «секрет», свой темный, так сказать, народец, кой сам-то не пашет, не растит, а пожинаемое другими добывает всеми возможными способами и пронырливым барыгам сплавляет. Более всего по сердцу ему пришелся некий приют, именуемый в народе «Ершами»; здесь и местопребывание свое обозначил в качестве вечернего буфетчика, здесь же постепенно, шаг за шагом, присоединился к ершовскому хороводнику³¹.

На Петербург опускаются сумерки — Толкучка затихает. По Чернышеву наперегонки бегут к Пяти Углам продавцы с рынка, промеж них так и носятся маклаки. Не успевшие до вечера продать свой продукт — ни перекупщикам, ни серьезным купцам — желанными гостями идут с ним со стороны двора в «Ерши»; там им завсегда рад будет Фрол Романыч, мил человек, с которым уютно и выгодно всякие скрытные проблемы вроде сами собой разрешаются.

Что за чудный человек этот вечерний буфетчик — отзывчивый и здравый, никакую вещицу с порога не отвергает, за любую готов предложить справедливую оплату! Несут ли ему мягкий товар (мех), красный товар (золото, драгоценности), табакерку, платок карманный — никому отказу не будет. Этим и добился Романыч неизменного респекта разного рода перекупщиков и воров, объединяемых в народной речи как бы в один клан мешков. Иные маклаки — что буфетчики, что половые — ни в жизнь не допустят мешка внутрь трактира или растерации, Фрол же Романыч — завсегда пожалуйте! Ну и — скажите, люди добрые, — почему бы после всего этого племени «секретов» не зауважать столь достойного вечернего буфетчика?

²⁷ Собака (*блат.*).

²⁸ Партикулярный человек (*блат.*).

²⁹ Камбала — лорнет (*блат.*). Двуглазая — бинокль (*блат.*).

³⁰ Каждое заведение, трактир ли, питейный дом, имеет непременно два входа: один — с улицы, над которым вывеска красуется; другой — черный, со двора, именуемый «невоскресным».

³¹ Шайка, образовавшаяся вокруг ершовского трактира (*блат.*).

В те благословенные вечерние часы он — один в ста лицах. У буфета любезно приветствует гостей разного рода; поварам дает указания касательно необходимых продуктов и напитков; из погреба не поленится корзину с пивом самолично принести; в залу заскочит проверить, нет ли где беспорядка какого; шуганет нерадивого полового, с посетителем шуточным словом перекинется и в правильный момент шмыгнет через потайную дверь в «квартиру», где вдали от чужих глаз все самое важное и обтяпывается.

Неизменно осмотрительный и расчетливый, вечерний буфетчик убежден в своем имени честного христианина, верит, что всегда выйдет сухим из воды: от души оскорбился б, если б кто назвал его мошенником. Постоянно — к месту и не к месту — повторяет: «Возлюби ближия своя», а посему всю помогает мошенникам, а нищим раздает милостыню. Жоржи (мошенники) чтят его как истинного своего благодетеля и называют патриархом мазов (опытных воров).

Долгожданная встреча Федора с почти легендарным Фрол Романычем сопровождалась, полагаю, самыми радостными эмоциями, а возможно, и громкими возгласами — в особенности со стороны художника. За тарелкой селянки в сопровождении графинчика померанцевой, даренными им «уважаемому», Федор объяснил буфетчику, что привело его сюда. Сидевший неподалеку человек невзрачной внешности неприметно следил за собеседниками, вслушиваясь в каждое слово.

Фрол Романыч по окончании рассказа Федора изобразил особо задумчивое выражение на благообразном лице, сосредоточенно прикасаясь то к вискам, то ко лбу, чтобы получше обдумать столь непростое дело.

— Да-да, припоминаю... Приходил будочник-то. Еще по весням. И мастеровой тот с ним опять же. Ну каков, скажу тебе, мужик — здоров, куда как здоров! А еще и при ремесле неплохом... Приходили пару раз. Песни любит слушать, а сам почти не пьет... застенчивый, что ли. И скандалов не терпит. Помню случай, как кровельщик тот принялся разнимать дерущихся — схватил обоих за шиворот, стукнул лбами да и отбросил в разны стороны... Вона как. Так он что, получил-таки подряд на ремонт креста и Ангела? И взобрался туда сам — без лесов? Ай, молодца! Ну да, он для того и приходил ко мне. А я ему: «Все чудишь, паря. Ежели б бог блошинные ноги те дал, ну тада запросто, подпрыгнул, за крест уцепился и чини его. Поставь пудовую свечку — може, чудо и свершится!» Он свое талдычил: доберусь, мол, без лесов — и до креста, и до Ангела. «Че ты вцепился в того Ангела? Коли б еще работы не было, а то ведь работаешь? Думаешь, сразу озолотят тебя, богачом сделаешься?» А он опять за свое: о деньгах, мол, мысли не держит, а грехи замолит великим постом, пожертвует полтину на неугасимую лампаду. Я тогда ему и сказал, как есть: «Бреешь ты, мужик. Во — собака у входа крутится, ей Расскажи, а меня вокруг пальца не обведешь». Что может заставить мастерового пуститься на столь рискованное дело, как не погоня за длинным рублем? Кровельщик тогда мне и сказал: «Нешто я лыком шит? Немец леса поставит, думает: механику выдумал. Нехитрая штука по лесам влезать. А ты без лесов придумай залезть, глядишь, пороху-то и не хватит! Без лесов влезу под самое Ангелово крыло». А теперь, гришь, добрался до облаков? Словом, как сказал, так и сделал. Ну и дела! Чего только не сотворишь ради больших финалов³²...

Солнцев терпеливо выслушивал долгие рассказы вечернего распорядителя «Ершей», настойчиво повторяя свой вопрос: не знает ли уважаемый Фрол Романыч, где все-таки квартируется кровельщик Телушкин?

Темные людишки, что маклаки, что мазурики, любят по-детски напускать на себя важность и затуманивать разговор своей выдуманной значительно-

³² Финалы, финаги — бумажные деньги, ассигнации, другие ценные бумаги (блат.).

стью. Неторопливо доев селянку и выпив последнюю рюмку померанцевой, буфетчик в очередной раз выслушал вопрос художника и ненадолго задумался.

— Пожалуй, мне такое по силам, — произнес он, пытаясь вложить в свои слова особые авторитетность и видимость важных смыслов. — Да-да-да-да... это в пределах, та сазать, наших скромных возможностей... С кой-каким антресным человеком поговорить требовалось бы... Нелегко, но вполне возможно — но тогда уж гони бакшиш, как говорят татары.

Солнцев согласился на его условия, и буфетчик пошел шептаться с подозрительной персоной в лапсердаке, что сидел, уткнувшись носом якобы в строки полицейской газеты. Через минуту оба куда-то удалились — какие проблемы, связанные с Телушкиным, они там обсуждали? Через четверть часа вечерний буфетчик вернулся к Солнцеву и объяснил, что адреса он, конечно дело, не запомнил — разве всех упомнишь: посетителей немерено, а Фрол Романыч один. А его человек категорически отказался заниматься этим: клея³³ нет, слама³⁴ не предвидится — разве что гроник да каника³⁵, — а трат куда как много: «на “ваньку” скатать к Полторацкому переулку, там Сухаревский дом и виленцы³⁶, что в тридцать первом нумере обретаются, — им завсегда ведомо все доподлинно». Категорически отказался... Так что пусть художник сам как бы пытается удачу... Зато вечерний хозяин «Ершов» точно знает, где адрес сыскать. Надо идти к составителю того прошения для кровельщика. Он, Фрол Романыч, сам и насоветовал мастеру. А в письме завсегда требуется точно указать, где проситель квартируется. Иначе прошение в строительный комитет, к примеру, не возьмут для рассмотрения. Так что писарчук наверняка ему указивку даст... Али на словах расскажет.

— Умняющий старик, между прочим, барин — настоящий барин. В чиновниках лямку тянул — годков сорок, не меньше. В отставку вышел, а пансьона, слышь, ему царь-то и не положил. Видно, проштафился где али кому-то не угодил, слышь. Помирать бы ему, ан смерть все мимо ходит. Ну и перебивается раб божий — то подайнием, то кому бумагу правильную составит... К нему иди, — добавил вечерний буфетчик.

Торговый день на Сенной завершился. Если двигаться от Невского по направлению к Покрову, то слева от площади можно обнаружить дремлющие уродливые матерчатые козырьки птичьих, мясо-молочных, овощных и скобяных рядов, укрытых на ночь безобразными, нематыми рогожами. По правую руку выстроились розвальни с рыбой и сеном, над коими наподобие корабельных мачт возвышались вздернутые к небесам жерди оглобеля.

Из грязных многоэтажных зданий, расположившихся по границам спящей Сенной, прохожим подмигивали светящиеся витрины и лампы над дверьми, их манили неровные цепочки питейных заведений, погребков, закусовых забегаловок, трактиров и прочих жалких приютов, в которых, кажется, есть возможность на время укрыться, спрятаться от превратностей злодейки-судьбы, в которых чахнет и вконец затухает всеми изгнанный нищий и развратный люд, откуда нет возврата, где лишь два исхода: в казенный дом либо на погост.

По краям площади вовсю кипит жизнь. Шарманка хрипло тянет «Лучинушку», которой, видимо, нет конца, другой ящик — развеселую «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке», в неудержимых рыданиях флейты третьей шарманки угадывается известная мелодия итальянской арии «Смейся,

³³ Воровское дело (*блат.*).

³⁴ Доля добычи (*блат.*).

³⁵ Гроник — грош; каника — копейка (*блат.*).

³⁶ Виленцы — поддельщики документов (*блат.*).

паяц, над разбитой любовью». Дикий диссонанс, вопли отчаяния, кричащая тоска, ощущение убийственных голода и холода... Из низенького подвала Таировского переуллка доносится голос беззубой певички: «Моя рушая коша да вшиму городу краша!»

Федор подошел к Спасу на Сенной, дождался окончания обедни. Когда молящиеся стали расходиться, вышел на паперть.

Вдоль каменной дорожки — от церковных дверей до выхода из ограды — нищие да убогие. Скрюченные недугом дряхлые старики, инвалиды с Георгиевскими крестами — одни лежали, другие сидели, выставя напоказ увечья, третьи чинно стояли, опустив голову и смиренно протянув руку. Некоторые гнусавили священные псалмы, иные громко жаловались на немощи...

Солнцев выбрал убогую старушку, подал ей грош и спросил о его благородии Маскальском.

— Спасибо тебе, кормилец. А барин Маскальский — вона у входа стоит. В бобре, — ответила нищенка, торопливо пряча монетку.

Художник направился к высокому, потрепанному жизнью очень худому старику в вытертой до предела николаевской шинели с пелериной, тоже нищему, сохранившему тем не менее величественную осанку. Когда-то богатый бобровый воротник блестел множеством проплешин; шинель его, видимо, надевалась на голое тело — облик старика кричал об ужасающей бедности, но это не мешало ему держаться гордо и даже самоуверенно.

— Ко мне, почтенный?

Федор неожиданно стушевался, не зная, с чего начать. Да и как к нему обращаться? Если дворянин, то «ваше благородие», а вдруг князь обнищавший? Тогда «ваше сиятельство». Чего только в жизни не повстречаешь...

— Мне бы о прощении с вами поговорить, — смущенно произнес он.

Старик молча двинулся прочь от ограды. Солнцев, не поняв, что ему надо теперь делать, неуверенно заковылял вслед.

— Я знаю, вы прошения пишете... Слышал, что по этой части.

Нищий, не оборачиваясь, показал на вывеску чайной:

— Там расскажешь свою проблему, — сказал, как отрезал.

За столиком в чайной Солнцев хотел угостить старика стопкой водки.

— Не пью, — буркнул нищий и отрывисто бросил половому: — Чайник, баранки и бумаги на копейку.

Нищий почему-то сразу вызывал доверие, и Федор подумал: неплохо бы расспросить его о Телушкине, кому кровельщик подавал прошения, что вообще собой представляет, да и выяснить наконец, где же он все-таки обретаться может, «когда не на шпиге на веревках болтается».

Федор откашлялся и только было раскрыл рот, как к ним подскочил половой и, взметнув черным лакированным подносом с ярко-красными цветами перед самым лицом сидящих, лихо поставил его на стол. Теперь перед гостями красовались большой белый чайник, две железные кружки и связка теплых баранок на тарелке.

— Откушайте чайку, уважаемый, согрейтесь, — произнес Солнцев, пододвигая поднос к старику. — Потом и о деле поговорим.

Старик сдвинул в сторону пузырек с чернилами и перья, снял очки и налил себе кружку. За чаем незаметно завязался разговор, и старик понял, что писать ничего не требуется, а молодой художник хотел бы побольше выяснить о знаменитом кровельщике. И вот что он рассказал:

— Так тебе об Телушкине, стал быть. Страхолюдный с виду: росточком-то совсем даже не вышел, но силач — сразу видно, ладони — что две лопаты, бородачи огромная, рыжая, но плохого не скажу — мужик добрый, аккуратный, да и непьющий вроде. Приходил ко мне — не раз даже. Вначале — прошение в строительный комитет ему потребовалось. Мне что, если деньги платит? Я составил, разобъяснил, куда и как подавать. Что-то он хотел починить на шпиге храма Петра и Павла, на самой верхотуре. Да-да, крыло Ангела... Отказали ему — решили, не в своем уме: кто ж,

не сбрендивши, по голому шпицу без лесов ползет — там аршин двести, поди, будет... Обозвали монстром. Спросили, не пробовал ли летать? Его высокопревосходительство изволили резюмировать: «Сие есть глупость. Мужик — сумасшедший». Потом прошение было военному министру, его сиятельству графу Чернышеву, поскольку храм тот как раз в крепости и расположен. Какой-то писарь, что взялся подsunуть прошение графу, передал потом Телушкину: «Их сиятельство изволили сказать, что ты не муха, чтобы ползать по гладкому шпицу, и что ты — просто болван, коли простых вещей не понимаешь: по шпицу вверх — не по крыше ходить». Писарь клялся, что именно так и сказал министр. Но я, как человек сведущий в таких делах, вот что ответил кровельщику: «Это у них первое дело. Министр куска хлеба не проглотит, коли не обругает кого». А он, Телушкин тот, упрямый: я, мол, все равно влезу. Утру нос супостатам (немецким мастерам, то бишь). Потом кто-то надоумил Телушкина этого написать на имя министра двора, его величества фельдмаршала князя Волконского. С тем прошением у него совсем дрянь дело приключилось. Будочники схватили его, три дня держали на куске черного хлеба и кружке воды. Квартальный сказал: «Ну не дубина ли? По шпицу как ползешь, в обнимку али как? Пустобрех... Коли замечу на Дворцовой, хоть раз исчо будешь близ министерства околачиваться, пятьдесят палок — и в село свиней пасти. Дошло?» Почто не дойти? Решил было Петр забросить энто дело. Вот и заглохла б вся затея.

Но потом случилось вот что. Прибежал Телушкин поделиться: так, мол, и так, ваш бродие, в общем, начальство разрешило ему заняться-таки починкой шпица совместно, значит, с крестом и Ангелом на нем. А почему так произошло, так об этом я от него самого да еще от кой-кого из прежних сослуживцев своих выяснил опосля уже.

В начале апреля сего года ветром оторвало лист от надломленного уже крыла Ангела, что на колокольне фортеции флюгерит. Напуганный грохотом комендант генерал Сукин укрылся в кордегардии, полагая покушение на свою драгоценную особу. Почему так боялся мести? А кто превратил крепость в тюрьму, кто в казематах расправлялся с юнцами-страдальцами из «Союза спасения»? Дежурный офицер объяснил причину шума, генерал-адъютант впал в ярость, вызвал настоятеля, «допустившего форменное безобразие на вверенном ему соборе». Хотя о повреждении крыла Ангела комендант знал давно — ему не раз докладывали, — но, выслушав, тотчас забывал; теперь же всполошился не на шутку: лист упал на полшага сзади! Это ли не перст божий — а коли следующий раз свалится крыло целиком?

Настоятель не стал напоминать генералу, что не раз обращался к нему за помощью.

— Его величество государь-император не благоволит к крепости, ибо денно и ночью та напоминает ему о великих прегрешениях его подданных, — произнес он, намекая на крепость как на тюрьму для врагов самодержавия, а также на то, что для ремонта ему денег не выделяют.

Настоятель подсказал генералу обратиться к мягкосердечию августейшего в день доклада об открытии навигации — как раз на торжественном приеме по случаю освобождения Невы ото льда. Так комендант и сделал, но самодержец выделил немного — только на леса вдвое больше потребовалось бы. Вот и вызвали Телушкина к его высокопревосходительству генералу Сукину, встретившему кровельщика грозным ударом кулаком по столу.

— Пошто не являлся до сих пор? Шпицрутенцов захотел?

— Подрядчик не отпуская, — ответил Телушкин, стараясь сохранять спокойствие. — Коли б наша воля...

— Я те покажу волю, — побагровел комендант. — Вышплю сотню горячих... Забудешь и слово такое «воля». Болван!

Стоявший рядом молодой адъютант — тот самый, на кого в апреле упал кусок золоченой обшивки крыла, — деликатно звякнул шпорами, напоминая, кто все-таки в услугах кровельщика заинтересован. По своему обык-

новению, Сукин посмотрел на табакерку, жалованную когда-то самим императором. Эмалевый портрет царствующего самодержца на ее крышке подействовал на генерала успокаивающе. Заправив табак в ноздри, он взглянул на кровельщика куда милостивей.

— Так это ты предлагал крыло у Ангела починить? — спросил он и, получив подтверждение, развел руками. — Протоиерей докладывал, что без лесов берешься.

Телушкин рассказал, как думает забраться на шар колокольни, а с него до креста и Ангела.

— Ты или действительно смелый мужик... или полный идиот, — сказал генерал. — Знаешь ли ты, хоть сколько сажень до Ангела? Пятьдесят семь, если от земли. Пятьдесят семь... А что хочешь за работу?

Телушкин просил оплатить материал — веревки, железо, золото, — а цену за работу не назначил: «Сколь вашей милости угодно будет, столь и положите».

— Мы тебе поверим, ты начнешь работать, а потом заленишься да и брошишь, — сказал адъютант. — Что за залог в обеспечение положишь? Без залога никак нельзя.

— Да какие у меня деньги? — рассмеялся кровельщик. — А уж коли возьмусь, работу не брошу. Ежели оступлюсь да сорвусь — вовсе жизни лишусь, что тогда возьмешь с мастерового человека?

Телушкин встряхнул головой, бросил шапкой оземь:

— Жизнь свою в залог, берите ее.

— Что с тобой поделать! — вздохнул генерал. — Поверю на слово. Не починишь — выпорю, чтоб знал: не морочь голову. Ступай.

Комендант повернулся к адъютанту:

— Допустить Петра Телушкина до работ...

— Вы, я вижу, неплохо знаете Телушкина, — задумчиво произнес Солнцев. — Все говорят, взялся за работу в погоне за большими деньгами. А вы про то, что денег-то как раз и не запросил. В чем тут закавыка?

— Не могу сказать, мил человек. Может, и за-ради денег, а может, и для другого. Но я точно знаю, чего ему больше всего хотелось бы. Он сам мне и рассказал об этом. Еще живя в своей Ярославской губернии, влюбился он в крепостную девицу Ираиду Федорову... и влюбился так, что решил во что бы то ни стало выкупить ее и жениться. Для того и поехал на заработки в столицу. Потому, наверное, и на шпиц полез — чего не сделаешь по любви? Влюбился в крестьянскую девицу — казалось бы, что тут худого? А вот взял и на смертельный риск пошел — кто б знал, чем дело-то закончится? — вздохнул Маскальский.

«Вот оно что! Известное дело — в основе лучших наших порывов нередко как раз любовь и лежит. Хорошее начало для сказки! Царь вызвал к себе кровельщика Петрушу, повелел ему свершить три подвига великих, покорить три столичных шпица: собора Петра и Павла, Адмиралтейства и Михайловского замка. Так, наверное, и случится. Этот Телушкин, видать, со всем совладеет, что ни поручи. А вот достанется ли русскому Иванушке-дурачку его Ираида в награду, пусть и не царская дочь, простая крестьянка? — большой вопрос», — подумал Федор и спросил старика, не знает ли тот, где проживает сей кровельщик.

— Как не знать? Трижды прошение для него составлял, три разу адрес прописывал. В своем уме, чай, — запомнил. Петербургская сторона, Малая Посадская. В доме купца первой гильдии Ивана Пантелеева квартирует. Купец почтенный, Троицкого приходу. Скобяной товар у него. У его дворника-то как раз и проживает.

Несмотря на поздний час, Солнцев тут же отправился на Петербургскую сторону, разыскал в подвальной дворника, у коего квартировал Телушкин. Тот встретил художника холодно — болели ноги и поясница.

— Нету здесь Телушкина, не вертался ищо — знамо работает пока! Какие такие у вас могут быть дела до Телушкина? На подрядчика-то никак не тянете, личность у вас — так себе, слабосильная, что ли!

Узнав, что Петром интересуется член Госсвета и хочет повидать кровельщика, дабы выяснить, «как он без лесов вскарабкался на шпиц», дворник искренне изумился и недоуменно произнес:

— Важный барин, к государю-императору, поди, приближен, ан до тако простецка мужика свой антерес держит... Чудны дела твои, господи!

Солнцев записал на клочке бумажки адрес Оленина, чтобы Петр, закончив работу, непременно пришел к нему. А поскольку дворник был неграмотным, Федор на словах пояснил, где найти дом Алексея Николаевича.

Кровельщик небесного свода

Прошло четыре недели с того момента, как кровельщик впервые вылез из люка на поверхность шпиля. Ночные заморозки и частые дожди затрудняли работу. Зато в ясные дни он с восходом солнца оказывался на шаре шпиля или на плечах Ангела и бросал работу только с наступлением темноты.

Петр стал популярной личностью столицы. На Троицкую площадь и в парк на кронверк люди шли, словно на гулянье, с женами и детьми. Говорили, будто кровельщика в детстве бабка-знахарка кормила толчеными костями птичьих крылышек — вот теперь он ощущает себя в воздухе как в родной среде, а высоты и вовсе не боится. Другие объясняли по-другому: забил до смерти свою жену, а теперь — дабы избежать Сибири — обещался исполнить богоугодную работу: «А иначе — разве человек пойдет на такой страх?» Мастеровые не воспринимали всерьез подобную чепуху, а если рассуждали о каких-то особо сложных строительных проблемах, обязательно добавляли: «Вот Телушкина бы навести на это самое дело, он бы всем показал, почем сотня гребешков!» Кровельщик стал признанным героем, но в досужих разговорах толпы версий о мечте мастера иметь простое человеческое счастье почему-то не возникало.

На исходе шестой недели он закончил закрепление основания креста и монтаж золоченых листов облицовки. Флюгер в виде Ангела, обновившего свой золотистый божественный образ, вновь надежно удерживался на кресте; крылья его никому больше не угрожали падением.

На следующий день Телушкин предстал перед комендантом и был встречен более чем милостиво.

— Закончил? Все получилось? Не ожидал — молодец! Теперь листы не упадут на моего адъютанта? Сколько ж тебе за работу?

Петр перечислял стоимость материалов. Адъютант, записав его траты, быстро подсчитал: девятьсот пятьдесят рублей ассигнациями, пятьдесят семь копеек медью. «Это за материал. А сколько за работу хочешь?» — спросил Сукин.

— Я не рядился. Как сказал, так посему и быть, — улыбнулся Петр. — Дадите за материал — и на том спасибо.

Голос генерала зазвенел сталью, во взгляде сверкнул металлический отблеск:

— Что же заставляло тебя рисковать ужасной гибелью, коли не хочешь денег за свой труд?

— Порадеть господу захотелось... А коли вашей милости угодно будет положить что-то за труд мой, отказываться не стану...

Комендант, успокоенный желанием кровельщика послужить богу, смягчился и предложил Телушкину назавтра в это же время прийти для расчета. Но тут встрепенулся адъютант:

— Как же так, ваше высокопревосходительство? А строительный комитет? А комиссия? А действительно ли ремонт выполнен качественно и в полном объеме?

— Дельно говорите, — в глазах кровельщика замерцали озорные огоньки. — Полезайте, как я лазил. Оставлю пока веревочную лестницу. Сами и посмотрите, хорошо ли все сделано!

Художник несколько раз заходил в подвальчик на Малой Посадской, напоминая, что Оленин ждет кровельщика. На сей раз дворника не было, Федора встретила его жена: радушно принимала гостя, угощала квасом.

— Муж, видать, забыл передать... У каждого свои дела. Так вы уж не гневайтесь, расскажите сызнова, а я уж все точненько передам. Телушкин-то Петр закончил свою работу, освободился теперь...

Солнцев повторил адрес и сообщил, что Оленин пожелал видеть смельчака кровельщика у себя во дворце. Художник ушел, попросив, чтоб Телушкин был завтра к девяти у Оленина. «Пусть обязательно будет, — добавил он. — Тем более что столь трудная и полная опасности работа уже завершена».

Алексей Николаевич встретил Телушкина куда как радушно: от души обнял и расцеловал, не знал, куда усадить, обхаживал простого мужика, словно дорогого гостя. Тайный советник государя, член Государственного совета долго расспрашивал кровельщика — кто такой он ест да откуда в столицу пришел («Ах, из Холмогор! Точно как Михал Василич!»), чем занимается, пошто решился без специальных конструкций да в одиночку на ремонт флюгера с Ангелом и крестом на Петропавловском соборе, как исполнил он сию столь непростую и зело опасную затею и прочее?

— Вот, к примеру, Федя Солнцев, — добавил он, — милый сердцу моему помощник, тоже ведь из крестьян, как и ты, а ныне художник, рисовать твой подвиг станет — с твоих слов же, братец. Ты не поверишь: я ведь все дни глаз не сводил, за тобой через трубу наблюдая неусыпно, а теперь вот желаю брошюру писать о героизме «кровельщика небесного свода», как теперь тебя в народе величают, дабы ведали потомки православных, что и допреж них люди русские чудеса чудные собственными руками творили...

Телушкин не робел, бойко отвечал на вопросы Оленина и рассказывал в подробностях все, как было.

Идея добраться до Ангела без лесов возникла у него тогда, когда в верхней части шпиля он обнаружил окно-люк, чрез которое можно изнутри проникнуть на внешнюю часть облицовки шпиля, а выше окна — крюки-скобы; по ним можно было бы подняться до золотистого «яблока», на котором укреплен флюгер в виде креста с Ангелом. Но ведь до скоб этих от люка было никак не меньше десятка аршин! Силы хватит залезть по веревке. Удастся ли накинуть веревку на скобу? И тогда ему в голову пришла дерзкая мысль: добраться до скоб по шпилью... Но как? Желание во что бы то ни стало подняться до скоб лишило Телушкина покоя: он думал об этом, направляясь на работу, по дороге домой, по ночам — устремив упрямый взгляд в темный потолок...

На ум пришла сказка, услышанная в детстве от бабушки.

В той сказке Кощей Бессмертный запер людское счастье в ларце, а ключи поместил на вершине гладкой сосны, сосна же та была аж семиверстной. Многие молодцы взбирались по сосне — кто на версту, а кто и боле — и падали вниз, обессилев. Разбивались насмерть, а Кощей хохотал: «Не видать вам, людишки жалкие, земного счастья как ушей своих».

Пришла очередь Иванушки. Влез он до облака ходячего, спрятался за ним, снял с себя кушак и привязал им себя к стволу. Как влезет повыше Иванушка, руки-ноги отпустит — его кушак держит, — отдохнет и дальше полезет.

Неделю лез Иванушка, добрался до ключей. Спустился пониже и кричит народу: «Вот они, ключи!» Люди обезумели от радости, шапками машут, обнимаются. А Кощей подлетел к Иванушке, вырвал из рук его ключи, сбросил добра молодца на землю да и улетел за тридевять земель, в Кощеево царство. Так и не стало Иванушки — не помогли ему ни сила молодецкая, ни смекалка. А счастье людское осталось под замком у вечного врага рода человеческого, видать — на веки вечные...

Вспомнил Петр сказку, подскочил, словно его ударили, и сел в изумлении на кровати — а что, если привязать себя веревкой к шпилью? Пролез немного выше, передохнул и дальше...

Сказка надоумила, счастливую мысль подсказала... Не забудем и конец сказки — что сулит добру молодцу Петру Телушкину его деяние героическое: славу людскую да счастье земное или погибель в темной неизвестности?

— Ну ладно, сударь, — сказал после долгой беседы Оленин. — Ты изрядно все нам объяснил. Одного понять не могу. Зачем ты на столь страшный риск пошел? Сказывают, кровельщики неплохо зарабатывают. Мог, не приведи господь, сорваться — дошло до меня, что и срывался-таки, да удержался в последний момент, не убился... А раз уж пошел на такое, почему денег-то не запросил? Федя секрет твой открыл: жениться мечтаешь... И невеста, мол, есть: так, что ли?

— Правда ваша, Алексей Николаевич, есть невестушка... Ираида Федорова, крепостная девица. Из нашенских. Ради нее и в столицу подался — денег накопить, да и выкупить чтоб лебедушку мою. Не отпускает ее помещик: «Кто ты такой, мужик лапотный, чтобы крестьянку мою выкупать? Да еще такую красавицу!» Даже говорить не хочет. Если важный барин какой придет самолично — тогда, грит, возможно такое... Правда, и тогда торговаться станет. А у меня и нет денег-то таких, Алексей Николаевич. К примеру, сейчас сделал весь ремонт — никто не брался, а я сделал! — комендант сверх затрат на материалы пятьсот рубликов положил. Болтать не стану впустую: деньги-то немалые. А мироед тот аж пятьдесят тыщ ассигнациями за Иринушку мою требует. Вот и лезу на самую верхотуру... От отчаянья, что ли, от безнадёги. Словом, будь что будет. Да и во славу государству Российскому — тоже, думаю, чтоб кукиш супостату показать... Знай, мол, нашенских!

— Такие люди, что о славе отечества нашего радеют, не должны оставаться в неизвестности. Уж поверь мне, сударь, я этого так не оставлю. Всяко к судьбе твоей руку приложу. А там, глядишь, может, и лебедушку твою выкупим.

В своих воспоминаниях Федор Солнцев впоследствии писал: «После нашей встречи с Телушкиным Алексей Николаевич попросил меня изготовить рисунки, дабы видно было, как влезал Телушкин по шпилью собора, а сам подготовил и издал объяснительную к тому маленькую записку».

Подробный отчет «О починке креста и Ангела (без лесов) на шпилье Петропавловского Собора, в С. Петербурге» был опубликован президентом Академии художеств А.Н. Олениным в «Сыне отечества», 1831, ч. 140, т. 18, № 14, стр. 406–414, а впоследствии был выпущен отдельной брошюрой, составляющей теперь библиографическую редкость. Подобное же описание было помещено в «Панораме С.-Петербурга», 1834.

Как бы то ни было, но об удивительной находчивости, силе и ловкости простого русского кровельщика узнали не только в России, но и в Европе — там тоже писали о нем с неизменным восхищением, — и так-то вот в результате этих событий ярославский крестьянин обрел большую славу.

Думается, читателю будет интересно ознакомиться с вводной частью брошюры дословно.

«В октябре и ноябре прошлого 1830 года, смотря из моих окон, на С. Петербургскую крепость и на шпиль Петропавловского Собора, как я, как и мои домашние и некоторые из наших знакомых, всякой почти день любовались (но с крайним опасением и страхом) неимоверною смелостию русского кровельщика. Ожидая до сих пор, чтоб кто либо из гг. журналистов упомянул о сем чрезвычайном происшествии и не находя ни слова о том в С. Петербургских повременных сочинениях, я решился, как очевидный свидетель, воздать с моей стороны должное, по всей справедливости, смелому и до-

сужему ремесленнику. На сей конец и приказал отыскать нашего богатыря-кровельщика, и отобрав от него род вопроса, долгом почитаю сообщить оный почтенной публике.

Ярославской губернии казенный крестьянин, кровельного цеха мастер Петр Телушкин, узнав, что предпринимается необходимая починка в кресте и в Ангеле на колокольном шпиге Петропавловского собора, и сообразив, сколько тысяч рублей и времени должно будет употребить на устройство лесов, для безопасного и спокойного производства сего дела, явился с письменною просьбою, в которой объяснял, что он все исправления в кресте и в Ангеле берется произвести без всяких лесов, с тем только условием, чтоб ему заплачены были материалы, нужные для сих починок; за труды же свои он ничего не назначал, предоставляя высшему начальству наградить его по благоусмотрению. Выгодные сии предложения были приняты — и Телушкин, как бедный мастеровой, не имея залогов, заложил, так сказать, жизнь свою в обеспечение принятого им на себя дела. Вся его надежда была на свое бесстрашие, ловкость и большую телесную силу. Несколько лет кряду перед сим предприятием он искал лучших способов к исполнению дерзновенного своего намерения, и в результате успешно произвел его и претворил в успешный результат».

Дальше идет описание этого знаменитого восхождения, многократно рассказанное несколькими авторами. Повторять его вряд ли имело бы смысл, но если читатель ранее не был знаком с подвигом «кровельщика небесного свода», то я все-таки кратко повторю особенности и трудности подъема первого промышленного альпиниста на шпиг Петропавловского собора.

Известно, что Телушкин начал штурм объекта 8 октября 1830 года. По балкам колокольни достиг изнутри самого высоко расположенного люка. Кровля собора состояла из медных золоченых листов, соединенных ребрами, выступавшими на девять сантиметров по всей высоте шпигля. Прикрепившись веревкой к балкам, смельчак вышел через окно на поверхность шпигля, опустился к нижней части кровли и начал перебираться от выступа к выступу — как вокруг шпигля, так и вверх. Из-за небольшого размера ребер кровельщик мог держаться за них только двумя пальцами каждой руки. Босые ноги, опираясь на листы обшивки, помогали ему сохранять равновесие. Недюжинная сила мастерового позволяла ему обходить шпигль и даже подниматься вверх, опираясь на четыре пальца рук. У отважного кровельщика от огромных усилий из-под ногтей выступала кровь. Телушкину удалось обойти кровлю колокольни и затем вновь забраться, держась за ребра, до люка, откуда начиналось его движение. Образовавшаяся таким образом веревочная петля вокруг шпигля была уже в состоянии удерживать его на весу — как кушак в сказке о добре молодце, — а подтягиванием одного конца можно было укорачивать петлю, поскольку шпигль кверху становился все тоньше и тоньше. Для движения от окна до «яблока», служившего опорой для креста с Ангелом, Телушкин решил использовать железные крюки, установленные когда-то строителями через три метра один над другим. Петр придумал специальные веревочные стремена, которые он забрасывал на ближайший к нему крюк, и, используя различные хитрости и приспособления, от опоры к опоре в конце концов поднялся все-таки до заветного «яблока».

Наиболее проблемным оказалось взобраться под нависающим «яблоком» диаметром почти три метра к подножию креста, подлежащего ремонту, в то время как толщина самого шпигля у «яблока» был всего 0,7 метра. Телушкин сделал специальные петли, чтобы удерживать ноги на шпигле под самым «яблоком», а конец веревки, соединявшей петлю на шпигле с поясом кровельщика, отпустил и, оказавшись в почти горизонтальном положении, повис, обращенный лицом вверх. Потом он собрал кольцами веревку и резким броском направил ее вверх и по дуге вокруг основания креста. С третьей попытки это получилось. Веревка обернулась вокруг нижней части флюгера, а ее свобод-

ный конец вернулся к кровельщику. По этой-то веревке с предварительно подготовленными узлами он и поднялся к вершине «яблока».

Весь свой героический подъем Телушкин совершил за три дня. Три дня длилось его восхождение к высотам славы. Связать удобную веревочную лестницу для частых рабочих восхождений и спусков от окошка колокольни до вершины «яблока» и обратно было уже совсем не трудно. После этого мастер с тяжелой сумой через плечо — каждый ясный день в течение шести недель — поднимался к кресту с Ангелом и тащил необходимый для работы инструмент и материалы. Закрепил оторванную кровлю купола, отремонтировал обшивку креста, заново и надежно установил крест и крыло Ангела.

Через сто с лишним лет знакомый уже нам Тихон Павлович со товарищи ремонтировали кровлю и Ангела с крестом Петропавловского собора; на дубовом переплете рамы, сохранившейся при позднейших переделках, вслед за Бобровым и другими блокадными альпинистами тоже отыскивали роспись Телушкина.

Еще до издания брошюры о подвиге Телушкина Оленин поехал к государю и доложил ему все дело о ремонте креста и Ангела, осеняющих главный храм северной столицы, — в точности так, как услышал об этом от Телушкина. Государь пожелал лично видеть отважного кровельщика. Алексей Николаевич дал знать об этом Телушкину и назначил день, в который тот будет представлен государю.

В январе 1831-го в подвальчике на Малой Посадской появился немало взволнованный Солнцев, поздоровался со всеми за руку и торжественно объявил Петру:

— Его высокопревосходительство Алексей Николаевич Оленин доложил о тебе его величеству, и государь приказал завтра привести тебя к нему...

— Кого привести-то? — переспросил Телушкин.

— Кого-кого, тебя и следует...

— Шутки шутишь, барин. Как же это? Простой мужик — да чтоб к царю, — продолжал удивляться кровельщик.

— Этим не шутят. Император хочет увидеть смелого мастера, всю Россию удивившего хитроумной выдумкой и отвагой.

Присутствовавшая при сем жена дворника всплеснула руками:

— Что вы, что вы, господин хороший, разве можно такое? К царю... А ежели Петр скажет не по-ученому что, его потом — в кандалы да и в Сибирь?

Художник горячо доказывал, что Петру никто плохого не сделает, наоборот — государь желает по-царски наградить мастерового человека за героические дела.

— Да ему и пойти-то не в чем. Срам-то какой! В кафтане во дворец не пустят, — не унималась дворничиха, искренне переживавшая за квартиранта.

— Уймись, женщина! Его и не ждут в раззолоченном мундире. Наденет, что есть.

— Пойду у соседа попрошу, он днесь новую чуйку справил. Жадюга купец, но отказать не посмеет по такому случаю. Узковата будет для эдакого битюга, — с сомнением добавила она, разглядывая широченные плечи и могучую грудь квартиранта.

— Не битюг, милая! Илья Муромец собственной персоной... Только сапоги дегтем не мажь, весь дворец провоняешь, — со смехом добавил Солнцев и скрылся за дверью.

Следующий день Телушкина прошел как во сне.

Оленин в карете заехал за Петром, разодетым, как, пожалуй, никогда в жизни: густо накрахмаленная рубаша стояла коробом, натертая кирпичом пряжка играла, словно солдатская бляха, сапоги получили двойную порцию ваксы, волосы, остриженные «под горшок», смазаны лампадным маслом,

взятую напрокат чуйку с трудом удалось натянуть на могучую фигуру. Усадил рядом с собой.

По дороге Алексей Николаевич инструктировал кровельщика:

— Коль его величество к руке допустит, нагнись и облобызай, но руками своими не вздумай касаться, держи при себе вдоль туловища — и чтоб ровненько было.

Входили в подъезд со стороны Адмиралтейства.

Петр заробел. Оленин решительно бросил: «Идем!»

Телушкин не шел — осторожно крался на цыпочках, стараясь не наступать на бархатные дорожки. Алексей Николаевич ввел Петра в небольшую комнату.

— Стой здесь и жди, — прошептал он и прошел в кабинет императора.

Звеня шпорами, прошествовал генерал. Из кабинета вышли два старика, переговариваясь на непонятном языке и с любопытством поглядывая на Телушкина. Наконец высокие двери кабинета распахнулись, и в проеме высветилась фигура его величества императора всея Руси.

Николай вообще никак не трогал этот якобы героический подвиг мастерового. Какое геройство — это что, военные действия? Фортеция в центре мирной столицы — ни пуль, ни картечи! Просто появился повод расположить к себе общественное мнение. Не только лишь в казематах бунтовщиков морить, но милостиво наградить простого кровельщика. О щедрости монарха, о его доброй предрасположенности к простому люду раструбят газеты, попы станут славословить царя... Совсем просто! Эту нехитрую мысль ему подсказал тайный советник Оленин, искренне вознамерившийся поддержать и отметить бесстрашного и искусного мастерового.

Холодный взгляд самодержца равнодушно скользнул по Телушкину.

Петр услышал звенящий голос Оленина:

— Вашего императорского величества казенный крестьянин, мастер кровельного цеха Петр Телушкин, показавший пример отваги и истинно русской смекалки при производстве ремонта фигуры Ангела на шпиге Петропавловского собора без помощи лесов.

Выпуклые стальные глаза Николая I вновь остановились на неуместной здесь фигуре кровельщика.

— Молодец! — натужно бодро выдавил из себя император. — Жаль, ростом не вышел, грудь-то — ого! Прекрасный кавалергард мог бы получиться!

На сем аудиенция была завершена. Николай резко развернулся и удалился, двери за ним закрылись.

К Петру подошел придворный.

— За проявленную тобой смелость, находчивость и бескорыстие его императорское величие жалует тебя серебряной медалью «За усердие» на Анненской шейной ленте и денежным вознаграждением в размере пяти тысяч рублей из собственных средств его величества.

Придворный вручил Телушкину медаль и пачку ассигнаций, перевязанную лентой.

Несколько часов спустя Петр пришел в себя — лишь когда покинул дворец Оленина после сытного обеда, коим его потчевали в людской, куда господу, естественно, не заходили.

С того дня все пошло по-другому.

Получив деньги от его величества, Петр становился куда более обеспеченным человеком.

— Таперича тебе пряма дорога в мещанско сословие, — завистливо говорил ему дворник. — А там, знам дело, до гильдии — рукой подать. Дом купишь аль лавку какую откроешь. Еще бы тебе в мужиках ходить — самолично у царя был, медаль на груди!

— Поработаю еще, деньжат накоплю, тогда и в мещане припишусь, — соглашался с ним Петр, сам же с тоской думал о том, наберет ли он когда

пятьдесят тыщ, чтоб Ираидушку свою выкупить у помещика-миroeда, — не похоже пока. Приходят к нему люди-земляки, передают весточку от лебедушки его — ждет не дождется, мол, когда заберет ее к себе Петруша. А что он ответить может? Каждая тварь земная свою пару имеет, каждая гнездо вьет. А они ведь люди — разве виноваты, что холопами родились? «Эх, Ираидушка, зазноба моя, кабы не судьба-злодейка, зажили бы мы с тобой душа в душу».

Так нередко думал влюбленный кровельщик, вспоминая о невесте. Невеселые дела...

Но жизнь брала свое. К нему, известному теперь человеку, обласканному аж императором всея Руси, рекой потекли заказы. Теперь он сам принимал подрядчиков, сам набирал и артель кровельщиков. Вскоре пришел подряд столь же сложный, как покорение шпиля Петропавловского собора. Телушкин взялся подняться по Адмиралтейской игле, чтобы исправить кораблик — тоже без возведения лесов. Выиграл торги и даже решился залог внести — из полученных царских денег.

Восхождение, однако, оказалось посложнее, чем на шпиль храма фортеции. Выяснилось, что поверхность Адмиралтейской иглы была совсем гладкой, листы вплотную пригнаны друг к другу — ни выступающих шлицев, ни окон, ни металлических крюков, ничего такого, за что зацепиться... Петр поднялся по стропилам внутри иглы, насколько позволяло сужающееся вверху пространство, прорубил окно, вынул лист, высунулся в образовавшееся отверстие, посмотрел вверх и выругался с досады: до кораблика оставалось не меньше двенадцати аршин. Это препятствие никак не входило в его планы.

Вернувшись домой и переспав с этой проблемой тревожную ночь, он все-таки отыскал выход. Мастер вытащил из окна Адмиралтейства доску, закрепил ее наподобие балкона, стоя на котором и приступил к исполнению нового плана. Способ был почти тот же, что и на шпиле фортеции: набросил на иглу петлю-удавку, а потом поднимал ее вверх, но уже стоя на месте, одной рукой подталкивая петлю заранее приготовленным шестом, другой — затягивая петлю, чтобы она вниз не съезжала. Для подъема же самому сделал так: обвил шпиль другой веревкой по спирали и, упираясь босыми ногами в кровлю и натягивая руками веревку, поднялся по ней наискосок, обойдя вокруг шпиля. Добравшись до яблока, Телушкин захлестнул веревкой ось, на которой держался кораблик, и подтянул к оси веревочную лестницу, спускающуюся до самого окна.

Дальнейшее не представляло особых проблем. Влезая по лестнице на кораблик, мастер в течение нескольких дней сумел исправить повреждение.

Влюбленный богатырь

Ремонт Ангела и креста на колокольне Петропавловского собора принес простому ярославскому парню славу бесстрашного кровельщика небесного свода и мастера с особой смекалкой; успешное завершение работ по ремонту кораблика на Адмиралтейской игле закрепило за ним эту славу, теперь-то уж мы можем точно сказать, почти навечно. Ничего подобного до него не совершал никто, никогда и нигде. Не только в Петербурге — далеко за его пределами признавали Телушкина выдающимся мастером.

Кровельщик попал в число избранных знаменитостей столицы. До нас дошел его портрет. Все знают фрагмент огромного полотна братьев Чернецовых — «Парад на Марсовом поле в 1831 году», где среди почти сотни фигур расположилась группа поэтов: Пушкин, Жуковский, Крылов и Гнедич. На обширном полотне нашлось место и для Петра Телушкина, несомненной знаменитости северной столицы. Отдельный же этюд к портрету его и ныне хранится в запасниках Третьяковской галереи.

Мастер покори́л, похо́же, все недостижимые шпи́ли и купола гра́да на Не́ве. Или почти́ все. Отно́сительно Миха́йловского за́мка — не знаем, нет у нас таких сведе́ний.

Мне вспомни́лся отрыво́к из воспомина́ний худо́жника Фе́дора Солнце́ва, где он бу́дто за́ранее все предви́дел: «Со всем совла́дает э́тот Телу́шкин, что́ ни пору́чи. А вот доста́нется ли ему́ его́ Ираи́да в на́граду, пусть и не ца́рская до́чь, про́стая крестья́нка? — большо́й вопро́с». Как он предска́зал, та́к, похо́же, все и случи́лось.

Насту́пил ма́й. Строи́тельный сезо́н в сто́лице наби́рал оборо́ты. Е́ще не свы́кшийся с ро́лью подро́дчика, Пе́тр само́лично ла́зал по кры́шам, где рабо́тали его́ арте́ли, — про́верял, а ино́гда и са́м бра́лся за де́ло, пора́жая масте́ровых лю́дей не то́лько ловко́стью, но и недо́ужинной, исто́нно бога́тырской си́лой.

Телу́шкин приходи́л на то́рги как ра́вный. Подро́дчики кла́нялись при встре́че. Нередко́ подро́дчики отда́вали предпоче́ние имен́но ему́, умень́шая при э́том сум́му за́лога. Де́ньги, полу́ченные от А́дмиралте́йства, в́двое уве́личили его́ капи́тал.

Иску́сный масте́р просла́вился; его́ просто за́валили за́казами: вы́сотные коло́колни́и, стари́нные купо́ла, шпи́ли хра́мов... К то́му вре́мени Пе́тр бы́л уже подро́дчиком на не́скольких стро́йках. Су́мма подро́дов у него́ дохо́дила уже до три́дцати ты́сяч — ра́ньше о та́ком он да́же мечта́ть не мо́г. А к се́редине ле́та полу́чил он от ра́зных лиц рабо́ты на сум́му уже о́коло тре́хсот ты́сяч ру́блей. Та́к, во вся́ком случа́е, пи́сал в сво́их воспомина́ниях Фе́дор Солнце́в. И че́м большо́е за́казов полу́чал Пе́тр, те́м гру́стнее стано́вилось на ду́ше у масте́ра. За́чем ему́ э́то, коли́ нет сча́стья зе́много? Почти́ все де́ньги, полу́ченные по подро́дам, в за́логи но́вых рабо́т по́шли. Пра́вда, е́сли от́казаться от не́которых за́казов, за́ветные пя́тьдеся́т ты́сяч, мо́жет, и уда́стся вы́крои́ть.

Наконе́ц Телу́шкин реши́лся — посла́л зе́мляка в ро́дные ме́ста к по́мещику сво́ей Ираи́душки с весточко́й — позво́льте, мо́л, ба́рин, вы́купить кра́сну де́вицу. Бы́ла бы ба́рышней... А то́ крепостна́я ве́дь! А ба́рин то́т, что́б зырка́лы его́ воро́ны по́выкле́вали, уж на́слышан бы́л о не́малом бога́тстве кро́вельщи́ка. Ста́л вы́могать от́купные за де́вицу и про́сить у по́сылного де́ньги не́малые. Телу́шкин-то́ согла́сен бы́л бы пла́тить, та́к он и пере́давал че́рез по́сылного, но по́мещик ста́л це́ну зала́мывать за сво́боду не́весты: пы́тался да́же присты́дить кро́вельщи́ка, во́т ве́дь та́кой на́глец!

— Возве́ртайся-ка, дру́жок, в сто́лицу, — нака́зал он посла́ннику, — да пере́дай тво́ему Телу́шкину, что́, ви́дате́, не лю́бит он сво́ю Ираи́душку. Ка́к лю́бил бы́, та́к не пожа́лел бы́ и ру́баху по́следнюю́ сня́ть с се́бя. Пусть да́ет ты́сяч по́лтора́ста за де́вку — и... разве́ я про́тив? Де́вица-то́ лебе́душкой плыве́т, а он де́ньги сво́и гре́шные отда́ть за лю́бовь сво́ю не хо́чет...

Где кро́вельщи́ку та́кие де́ньги в́зять? За́казы вы́полнять на́до, ма́териала́ по́купать, арте́льным лю́дям пла́тить.

Полу́чив отве́т от по́мещика, Пе́тр на сле́дующий де́нь с у́тра порань́ше по́шел на Гага́ринскую на́бережную́ к Оле́нину. Е́два пере́ступи́в поро́г ка́бинета́, по́валился в но́ги.

— Ба́рин, ро́дной, не про́гони́ меня́, несча́стного, сде́лай ми́лость. Ве́чно бу́ду бо́гу мо́литься...

Оле́нин при́казал вста́ть:

— Не́гоже бога́тырю́ зе́мли ру́сской на ко́ленях сто́ять. Пусть и пе́ред та́йным со́ветником, — со сме́хом до́бавил он. — И не ча́сти... Расска́жи, что́ случи́лось, — с чув́ством, с то́лком.

Пе́тр напо́мнил пре́жний разгово́р, расска́зал об отве́те по́мещика. Оле́нин за́писал все в па́мятную кни́жку.

— Де́нег та́ких не по́требует́ся — ни ста́ пяти́деся́ти, ни да́же пяти́деся́ти ты́сяч: не бу́вает та́ких це́н. Да и воо́обще де́нег тво́их не по́требует́ся. Ча́й, не обе́днее. А же́ну тебе́, ей-ей, вы́куплю́, да́м во́льную — се́годня́ же при-

кажу написать ее барину. Пусть придумывает что хочет, но от меня ему не отвертеться, помещику этому. Все получится. И на твою свадьбу обязательно приду.

Петр вернулся домой окрыленный. Ему казалось — до счастья теперь рукой подать.

Первый месяц осени пролетел словно короткий сон; после Покрова ударили ночные заморозки.

Как-то вечером на пороге подвальчика на Малой Посадской появилась по-деревенски закутанная фигура. Вошедший стащил с головы вытертый лисий малахай, перекрестился на угол и поклонился всем присутствующим: дворнику, его жене и Телушкину:

— Бог в помощь, Пётра Михалыч!

Петр всмотрелся и вздрогнул, узнав Сиволапова, старосту деревни его Ираиды.

— Не признал, что ли?

— Признал, отчего не признать? — чуя беду, отвечал кровельщик. Вспомнилось обещание Оленина, сердце забилося: помещик, знать, прислал, чтобы продать его невесту члену Государственного совета.

— Просим милости, Аркадий Савельич, гостем будете желанным. Какую радость нам бог послал?

Староста не спеша размотал на шее длинный шарф, бросил армяк на лавку, стряхнул сосульки с усов и бороды и подошел к печи.

— Замерз в дороге, третий день в пути. Твоя Ираидушка и послала меня, немного денег дала. Сходи, грит, Савелич, передай привет Петруше, соколу ясному.

Петр вопросительно посмотрел на старосту, тот объяснил цель своего прихода.

— Старый барин отдал богу душу — преставился, стал быть, еще до Покрова. Молодой гусарит где-то под Москвой. Деньги, вишь, нужны — кому не нужны-то? Папашкино родовое — усадьбу и две деревеньки — продал срочно князю Зимородкову. Выходит, зимородковские мы. Князь второй год в заграницах пребывает, а управляющий без него... как бы это сказать по-ловчее?.. Блох-то совсем не ловит. В общем, написал князь энтотому управляющему, пристроить надобно Ираиду Федорову, ему и поручил это дело. А она меня попросила, чтобы тебя обязательно известить, значит. Что до моего возвращения управляющий ничего делать не станет.

— Как бы с князем-то поговорить, чтобы выкупить девицу? — робко спросил кровельщик.

— Ты что, оглох совсем, по крышам лазая? Я же сказал — в заграницах пребывает, как с ним поговоришь?

У Петра опустились руки. Схватил было шапку — бежать к Оленину, — вспомнил: вечер уже, остановился.

Староста удивился волнению кровельщика: переход от одного барина к другому — какое это может иметь значение?

— С чего ты, добрый молодец, переполошился так? Выкупить все одно не получится — ты, поди, не барин какой, не мещанин даже. А напишешь — князь тебе и отвечать не станет. Девике твоей — что под одним помещиком состоять, что под другим — одного сена труха. А насчет жизни зазнобы твоей — не сумлевайся. На оброк ее управляющий не отпустит: с бабы оброк, что с таракана молоко доить. Но и одну не оставит. Девка молодая, яркая — такого вдовца ей подберем, всяко не хуже тебя будет.

Петра сковал ужас.

Старик достал из мешочка еду, поел, выкурил трубку, полез на печь. Долго кряхтел, кашлял, прошептал молитву и затих.

Петр не спал. Утром побежал к Оленину, но до Алексея Николаевича его не допустили — барин лежал тяжело больным.

Телушкин достал бутылку водки, уговорил старосту задержаться дня на три: надеялся, что еще как-то удастся решить вопрос. Но и через три дня его к Оленину опять не допустили. Уговорить старосту еще задержаться не получилось.

— Из-за тебя, голубь, мне управляющий всю шкуру исполосует, оно мне надо?

Поутру староста ушел.

Почти не пьющий Телушкин пошел по кабакам — несколько дней пил. Но вино лишь сильнее разжигало душевную боль. Тогда Петр перестал пить и с головой ушел в работу.

Получал новые подряды, заработки его быстро росли. Царская награда, брошюра статс-секретаря Оленина — все служило материалом новых статей о нем в газетах и журналах. Его узнавали на улицах. Но Петра не радовали ни деньги, ни слава. Тоскуя о своей Ираидушке, он не переставал надеяться, что как-нибудь еще все обойдется. Без усталы работал, хлопотал о приписке в мещанское сословие. Раз в неделю бегал на Гагаринскую набережную, надеясь на встречу с Олениным. В ноябре ему сообщили, что Алексей Николаевич по-прежнему болеет, но приходить к нему больше не следует, потому как барин уехал на лечение в Европы и вернется не ранее чем через год-два.

Петр понял, что не видать ему больше своей лебедушки... И всякие важные вещи, к которым он стремился, — подряды, деньги, собственный дом, переход в другое сословие, — потеряли для него всякий смысл. Телушкин запил.

Есть легенда, что Петру при посещении Зимнего — помимо всего прочего — была вручена специальная царская грамота, обязывающая буфетчиков и половых каждого заведения столицы наливать сколь угодно горячительного «подателю сего» без оплаты, но кровельщик ее вскоре потерял. Петр осмелился и попросил повторить бумагу: его выслушали и вместо грамоты поставили то ли царскую печать, то ли особое клеймо на шее; теперь Телушкин, заходя в кабак, многозначительно щелкал по шее пальцами — отсюда и пошел распространенный до наших дней жест, обозначающий предложение к распитию алкоголя.

Влюбленный богатырь, получивший за бесстрашие, силу и смекалку прозвище «кровельщик небесного свода», быстро прославился и разбогател, но, так и не сумев выкупить свою нареченную, вскоре спился и исчез из поля зрения современников. Говорят, в 1833-м его не стало. Так зачастую и пропадают русские самородки-talанты...

Не всем, правда, по нутру пришелся подвиг влюбленного богатыря. Иван Сергеевич Тургенев, например, устами своего героя Потугина в романе «Дым» возражает: «Не следует кричать, какой он (Телушкин. — *Авт.*) нос наклеил немцам архитекторам! Пришлось же потом леса вокруг шпиль поставить да чинить его обыкновенным порядком. Не поощряйте, ради бога, у нас на Руси мысли, что можно чего-нибудь добиться без учения!» Учиться надобно и всенепременно — кто ж спорит? И леса приходилось иногда ставить. А в блокаду, к слову, так и забирались, без лесов, — потому что у альпинистов не было тогда других решений: ни времени, ни технических средств. Тихон Палыч со товарищи в 1957-м — тоже вначале так штурмовали шпиль, как Телушкин, а потом уж монтировали специальные висячие вантовые леса для работы реставраторов и подсобников. Но у них хотя бы современное альпинистское снаряжение было: страховочные системы, карабины, оттяжки, жумары, репшнуры, спецобувь, лебедки и многое другое.

Совсем недавно мы с Тихон Палычем вновь заговорили о Телушкине.
— Похоже, сладкое безумие высоты дает верхолазам такой запас восторга и нечеловеческого счастья, что обычной любви им уже и не требуется? — спросил я у заслуженного слаломиста и альпиниста. — Или сердечных сил на все не хватает? Что более отняло у Телушкина разум — охватившее его безумие высоты или тоска от расставания с любимой?

— Сердечных сил на все? Не знаю, как у Телушкина. У теперешних альпинистов нет, наверное, таких проблем. У всех семьи, жены, дети. У меня, у Миши Боброва, у Юры Спегальского...

Потом добавил:

— Жены наши, невесты... вряд ли когда-нибудь поймут нас. Откуда им знать, как душа поет, когда взобрался — своими силами, без крыльев, не божьей волей, через кровь, боль, страх и опасность, — достиг высшей точки... И вот — ты уже на высоте птичьего полета. Как-то жена, разглядывая мое фото на плечах у Ангела, заявила вдруг: «Чем тут гордиться? Ну, залез... Я тоже могу». — «Давай, милая, — отвечаю. — Вот тебе репшнуры, карабин, самолично тебя страховать буду... Вперед». — «Ну не сейчас же, — возражает она. — Это ты свободен словно птичка небесная... У меня дел полно — на мне все: дом, дети, старики наши с тобой. В другой раз как-нибудь».

— Так и не собралась штурмовать Петропавловский шпиль?

— Кто, хохлатка моя? Саша, дорогой, не смей мои тапки, — ответил собеседник.

Да-а, мой немолодой друг — очень даже симпатичный человек, но откуда у него эти презрительно-барские нотки? Тем более по отношению к близкому человеку... Тем более его жена, говорят, в молодости сама неплохим скалолазом была и многим спортсменам мужского пола могла фору дать.

— А вы, Тихон Павлович, смогли бы сейчас — ну... не на Петропавловку, а, скажем, на купол Исаакиевского?

— Ну, ты загнул, куда ж мне после семидесяти?

Скалолаз и горнолыжник в отставке не похож теперь на человека безумного — каким, несомненно, был когда-то! Да вправду ли был? Записка, оставленная в ноге Ангела, не такой уж шутливой была — вся эта история более походит на привычный для хитромудрого Тихон Палыча затертый кукиш в кармане. Не получился, видимо, из Олегова двойник богатыря Телушкина! По факту — тоже «небесный кровельщик», только душевными параметрами помельче вышел, да еще и с привкусом гнильцы респектабельного и по-барски снисходительного Оленина-старшего; вроде как — наследник обоих...

А с другой стороны, стоит ли осуждать человека за семьдесят, сделавшего немало для любимого города и для спорта, кстати, тоже? Время берет свое. Правда, не всех и не всегда... Я не в укор, но Михал Михалыч Бобров, например, до восьмидесяти еще вполне горным орлом ощущал себя!³⁷

Ираида Федорова

Ну а что же крестьянка та, Ираида Федорова, пленившая юной красой геройского кровельщика, что с ней-то стало? История о том не дает точных сведений.

Википедия, например, ничтоже сумняшеся сообщает: «В мае 1831 года он был обвенчан с крепостной девицей Ираидой Федоровой». Ссылка на

³⁷ В 1999 году М. Бобров был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной (75 лет) покоритель Северного полюса. В 2000-м побывал на Южном полюсе, в 2001-м поднялся на Эльбрус, в 2002-м на Килиманджаро.

Светлану Бараней. Обвенчан... и все-таки спился. Хотя до того в пристрастии к спиртному замечен не был. Сомнительно: богат стал, женился по любви — и спился, с чего бы это? Другие биографы знаменитого кровельщика столь же уверенно сообщают, что помещик отказал Телушкину в выкупе крепостной Ираиды, отчего тот потерял интерес к жизни и пустился во все тяжкие, потому раньше времени и ушел в мир иной. Н. Стоцкий в своей замечательной «Повести о Петре Телушкине» рассказывает, что мастер влюблен был вовсе не в Ираиду Федорову, а в Анисью, жену дворника, где он квартировался, тоже крепостную крестьянку. И тоже спился от несчастной любви. Можно предположить и еще один вариант — что Оленин все-таки выполнил обещание Телушкину выкупить и дать вольную его невесте, но это случилось слишком поздно. Много мнений, предположений... Кто знает, что из этого произошло в действительности?

Но рассказ о влюбленном Телушкине был бы неполным, если не сообщить читателю еще об одном эпизоде, ставшем нам известным из воспоминаний Федора Солнцева.

Поздней осенью 1833-го Алексей Николаевич Оленин, изрядно поправив за рубежом пошатнувшееся было здоровье, возвратился в родные пенаты — не знаю точно, на Гагаринскую ли набережную, в доходные дома на Фонтанке, родовую ли усадьбу в Приютино, — и сразу вспомнил о своем замечательном протеже — геройском кровельщике. Возможно, и о своих обещаниях.

Сразу или не сразу... Почему раньше не вспомнил — сие нам неведомо. Член Госсовета, президент Академии художеств, действительный тайный советник, археолог, рисовальщик, ученый, коллекционер, «тысячеискусник» (по выражению Александра I) Алексей Оленин-старший не отличался, видимо, особым интересом к практическому отстаиванию чьих-то гражданских свобод (вольнодумством и вольтерьянством — возможно, тоже не отличался) — вельможе, обласканному двумя императорами, явно не до «свобод народных» было, — хотя и считался в свете одним из самых ярких представителей просвещенных российских кругов. В его усадьбе Приютино нередко бывали такие знаменитости, как Крылов, Грибоедов, Жуковский, Боровиковский, Кипренский, Глинка, Брюллов, Пушкин... «Чего же боле? Свет решил, что он умен и очень мил». В литературно-художественном салоне того же Оленина на Фонтанке, 101 появлялась небезызвестная Анна Петровна Керн (урожденная Полторацкая), племянница Алексея Николаевича. В его младшую дочь, красавицу Анну, уроки пения которой давал сам М.И. Глинка, был влюблен Пушкин, после неудачного сватовства посвятивший ей стихотворения «Я вас любил» и «Не пой, красавица, при мне».

Настолько ли хорош был сей добрый барин, так ли уж радел о счастии людей иных сословий, читай — второго и третьего сорта? Почему они — совместно с женой Елизаветой Полторацкой, «милейшей Эльзой его гостеприимного дома», — дружно отказали влюбленному Александру Сергеевичу, просившему руки их дочери? Резоны сих уважаемых людей очевидны: поэт — не профессия, дающая заработок семье, Пушкин — легковесный человек, ловелас, а еще и автор «Гаврииады»... Да и Анна, похоже, совсем не была влюблена в некрасивого темнолицего поэта. Столь ли уж просвещенными были нравы, царившие в семье Оленина? Мать жены тайного советника Агафоклея Полторацкая, например, «прославилась» тем, что куда как сурово наказывала и нещадно порола крепостных, за что и получила прозвище Полторачиха. Один из сыновей Оленина, Алексей Алексеевич, явно в бабку пошел — отличался постоянным рукоприкладством, мучил крепостных непомерными оброками и за жестокое обращение был в конце концов зарублен топорами двух крепостных. Так что о любви к русскому мужику Алексей Николаевич любил поговорить, возможно, более для красного словца, чем из реального сострадания к доле простого человека, — простите меня, грешного, если ошибся и сторяча оговорил достойного государствен-

ного мужа: ведь он всяко не в ответе за сына, тем более — за мать жены... Но ведь обещал выкупить Ираиду Федорову, но не сделал, забыл, уехал и т.д. Как бы сказали сейчас: «Снял сливки с пиара и выбросил из головы».

Так вот, производил ли «тысячеискусник» Оленин какие-то специальные телодвижения относительно крепостной невесты мастера — тогда, а может, и до возвращения в Петербург, — об этом можно лишь строить домыслы и предположения. Но в конце ноября того самого 1833-го в известном нам подвальчике на Малой Посадской по поручению члена госсвета появился-таки Федор Солнцев.

Петра он не застал. Дворник с женой узнали художника, встретили приветливо. Усадили за стол, напоили чаем. На вопрос, живет ли еще здесь мастер и когда вернется, оба перекрестились и сообщили: «Преставился раб божий Петр». Рассказали, что известным стал, заказов наполучал... «на сотни тысяч, поди». Подарки им приносил: дворничихе платок расписной, ее мужу — водку с телячьим студнем... И не раз. Только пить стал сильно. Чего раньше не водилось за ним. Как подвыпьет, горланит песни солдатские: «...и граф Башкевич Ирианский под Аршавой состоял». Но безобразий не учинял — ни ссор, ни драк, ничего такого... Вскоре уже никакой работы не мог делать, все силы на водку ушли, а деньги, стал быть, — на ветер. «В февральи сего году» из дома ушел, под вечер уж, — решили, что в кабак. Так и не возвратился, болезный. Заявили околоточному: пропал, мол, человек. Искали, искали... не нашли. Весной, как снег сошел, обнаружили на огородах. Их вызвали... Они подтвердили — похож вроде на Телушкина. И одет так же... Похоронили на Карповском. За счет управы... Они же и крестик деревянный поставили. А с месяц назад молодуха приезжала незнакомая. Красивая, только грустная очень... На извозчике. На барыню-то не особо похожа, на крестьянку — пожалуй, тоже; одета небогато, но по-городскому. Петра спрашивала. Дворничиха на кладбище проводила. Молодуха сказала: «Оставь меня на полчаса. Пстой, подождь у оградки». Вернулась — лица на ней нет, бледная, словно мелом намазана. Дала дворничихе два четвертака. «Один себе возьми, второй — на сорокоуст в часовне. Пусть помянут раба божия Петрушу». Ушла, себя не назвала, ничего толком так и не сказала.

Обычно куда как обстоятельный академик Солнцев все это впоследствии описал и тоже почему-то не стал объяснять эпизод — неслучайно, надеюсь, попавший в его многотомные воспоминания. Но убогую могилку бывшего покорителя небесного свода — заброшенную, с покосившимся крестом, — судя по всему, посетил. А нам с вами пройти по стопам художника тропкой той никак теперь не удастся, потому что кладбища Карповского на Петербургской, ныне Петроградской стороне северной столицы давно уже нет, упразднено после 1880-го³⁸. А в 1837-м, например, по кладбищу этому еще Александр Сергеевич прогуливался, написавший тогда же «Когда за городом, задумчив, я брожу...»³⁹, но о небесном кровельщике, увы, почему-то не вспомнил.

³⁸ Вадим Бурлак в книге «Петербург таинственный. История. Легенды. Предания» рассказывает легенду о клюке из анчарного дерева и старухе, которая, посетив кладбище, не нашла могилу сына, скрытую огородниками и садоводами. За что и прокляла огородников и садоводов Санкт-Петербурга, пообещав вырастить ядовитое древо и вырезать из него клюку, которая будет по городу ходить «да смерть настукивать, пока не объявится в Питере странник, что уйдет с этой губительницей в дальние земли...».

³⁹ Поэт описывает Карповское кладбище как «загородное», расположенное неподалеку от дачи Доливо-Добровольского, где поэт с семьей проводил летние месяцы 1834 и 1836 годов. Там же располагались и дачи других знакомых Пушкина, у которых он также мог бывать.

Константин Кравцов

И ангелов зришь

Шеол

Н.Р.

Чем был плох галилейский твой нищенский кров,
возлюбившая много и вечно ничья,
что ты ищешь, жена, наломавшая дров?
Всё — пустая тщета, маета, толчея
пошляков и всезнаек, святош, дурачья,
и лишь ты перед гробом стоишь и стоишь,
и ревёшь безутешно, и Ангелов зришь.

Проклят, сказано, всяк, кто на древе висит;
в полной падали яме, поди, он, как те,
и не курам ли на смех твой ранний визит?
Значит, жить, стало быть, в суете, в срамоте
или вовсе не жить. Никому не жена —
так, ночной мотылёк — что ты, дура, стоишь
в предрассветных потёмках от века одна?

Мельтешит над дорожкой летучая мышь,
звёздных воинств полки над уступами крыши
в синеве потонули; пуста, холодна,
истощается тьма, ароматов полна —
нарда, мокрых волос ли, прозябших ветвей,
но кому это нужно, блудница? Домой,
возвращайся домой, к прялке, что ли, своей,
как они к своим лодкам, — что выть-то вдовой?

Константин Кравцов — учился в художественном училище в Нижнем Тагиле, работал художником-оформителем, журналистом, сторожем, дворником, реставратором, преподавал гомиетику в Ярославском епархиальном училище и основы религиоведения в Ярославском государственном университете. Окончил Литературный институт. В 1999 г. принял священнический сан (РПЦ МП). Автор нескольких книг стихотворений. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Урал», «Интерпоэзия» и др., в различных антологиях. Лауреат премий им. С. Есенина (1997), «Antologia» (2013) и Волошинской премии «За сохранение традиций русской поэзии» (2014). Живет в Москве.

Полыхают жаровни у храмовых врат,
снова Пасха Господня, но что теперь в ней?
С нечистотами так полыхает овраг.
Не сойти бы с ума от проточных огней,
злополучных, игривых, бегущих во мрак
мимо челяди и солдатни у костров,
где потеха пошла: «кто, пророк, прореки,
дал тебе оплеуху?!», и ширится ров,
и становишься высохшим руслом реки,
и рассыплется каперс, и вспыхнет миндаля,
замелькают во тьме гробовой светляки,
и сверчки застрекочат, а впрочем, едва ль...

Каждый сад маскирует погибельный ров
неуёмных пиров и порочных услад
в круговерти смертей, череде катастроф,
и не в Рим все дороги приводят, а в ад
в этом лучшем, как кто-то сострил, из миров,
и лишь тишь после казни, лишь праздная тишь
между жизнью и смертью и наоборот,
звёздных воинств полки над уступами крыш,
их безмолвный дозор, их немой хоровод...

Рассыпается каперс — какой в том урон
мирозданию? Орбит не меняют своих,
сколько бы ни было здесь, на земле, похорон,
эти звёзды. Какое нам дело до них?
А вот есть отчего-то. Сидят, запершись,
мужики, и лишь гроб в полутьме, только сад,
запах нарда, плывущий впотьмах наугад...

Не крушись, развяжи все узлы, отрешись.
Не расскажут те двое, куда унесли
твоего Господина, и что тут гадать?
Принимать за ниспосланную благодать
дети звёздного неба и грешной земли
склонны вкрадчивое приглашение в ад,
ждать, пресытись плотскими, духовных услад,
знать не зная, как их развели, и распад
неминуем, как правило, необратим.

Уверяют, что всё здесь — лишь падаль и смрад.
Если так, то не всё ли равно, чем носим
лепесток между пальм и смоковниц, оград?
Проклинать ли тебя нам, Иерусалим,
вспоминать ли, как дождь миновал, перестал?
Как насадка, под крылья свои не собрал
этот город Учитель, и что тут ловить?

Время нам по углам разбредаться своим.
Не понять, что случилось, — теряется нить;
переждём, как уляжется, пересидим,
переможем, но дальше-то, дальше-то что?
Можно воду годами носить в решете,
но прорвётся однажды твоё решето,
и висишь нагишом на кресте.

Каждый угол на праздник здесь кровью пропах;
 повязала она так же прочно, как страх,
 воевод и жрецов, торгашей и воров,
 разрываемых с треском посконных рубах,
 старых басен и прочих священных коров,
 и по всем желобам день и ночь без конца
 вперемешку с помоями катится в ров
 кровь бесчисленных агнцев из дома Отца.

Ладно просто бы крик петушиный, но взгляд!
 И зачем не апостол уже, не Скала,
 сплю и вижу: бредём от села до села
 и срываем колосья. На кой такой ляд?

Обуявшую соль выметает метла,
 и уже ты ничто, и — лишь мёрзлая мгла,
 космы старых маслин, факела, факела...

«Бесноватый, не знаю, колдун ли какой,
 сам откуда-то с севера, из мужичья,
 богохульничал, плёл, по шалманам уча,
 что лишь в нём, только в нём обретаешь покой,
 а с кем дружбу водил, и сказать-то срамно,
 нарывался, бесчинствовал, в храме погром
 учинил...» Арестанту меж тем все равно:
 поскорей бы из архиерейских хором —
 да на воздух, на холод последней зари!
 «Дай-ка я погляжу: это ты, что ли, царь?
 Там у вас в Галилее сплошные цари —
 навидались. И правильно: вдарь ему, вдарь!»

Иов с гноища иск предъявляет Творцу —
 в разразившейся буре ответом истцу
 станут львицы и страусы, козы в горах,
 и смирится, усвоив, что он только прах,
 прокажённый, познав, что ему не к лицу
 Вседержителю счёт выставять, но ответ
 как-то странен, неполон, и весь эпилог,
 в общем, жалок: не в буре является Бог —
 в шепотке ветерка, в холодке в летний зной.
 Ну а ты — ты, понятно, навоз, перегной,
 но и Божье дыхание: сад продувной,
 сплошь волчцами заросший, но всё-таки сад.

Как же быть с ним? Реши, сам собою судим,
 что нам светит. Плачевен, признаться, расклад.
 Ты висел ли, свой крест дотащив, вместе с Ним?

Кто ты есть и зачем ты живёшь, человек,
 иудей ли ты, эллин там или чучмек, —
 на бестактный вопрос не спеши отвечать.
 Да и что б ты сказал? От лукавого всё.
 Нам бы рот на замок, на уста бы печать.
 С умным видом не чушь ли собачью несём?

Всяк, в Священном Писании сказано, ложь,
а, коль скоро лжецами гнушается Бог,
есть ли шанс на украшенный брачный чертог?
И не сам ли себя ты в геенну сошлѣшь,
разложив всё по полкам, когда на правѣж
жизнь ли, смерть ли поставит тебя, имярек,
кто б ты ни был по крови, еврей или грек?

«Глянь, ушёл. Лучше дал бы и сам стрекача,
чем божиться, юля, проклинать сгоряча,
ну а с этим, скажу я вам, ясно одно:
это адово дно, просто адово дно!»

Что не морок бесовский в ночи мировой?
И висишь на кресте в ней бок о бок с братвой,
не в диковинку зрелище, но прѣт и прѣт
поразвлѣшься еврейство: «Эй ты, пустосвят,
докажи, что ты царь!»; кто-то мимо пройдѣт
(мало ль кто и за что там сегодня распят?),
кто-то плюнет и выскажется в свой черѣд,
усмехнѣтся священник, присвистнет левит,
кто-то авторитетно поставит на вид,
что случается с тем, кто с пути норовит
сбить Израиля, — смоем и этот галдѣж
набежавшая тьма, и, холстиной накрыт,
в затворѣнной пещере во ад поплывѣшь.
Всѣ проходит. Но, сколько алоэ ни льѣшь
вперемешку со смирной, кровит и кровит...

Унесли. И, видать, обречѣн, как Содом,
оживлѣнной торговли молитвенный дом,
если сверху и донизу разорвалась
в нём завеса, а с нею — и всякая связь,
если умер бесславно Он, твой Господин,
и понятно, каких ожидать нам годин.

Что тут копыя ломать? Правы эти и те,
но молчит, как на троне, воссев на кресте,
Человеческий Сын — вот и ты помолчи,
человек и не более в этой ночи.

Ни кола ни двора. Ох уж эти дворы
с продолженьем всё той же потешной игры!
Как ни душен хамсин, как ни жарок самому,
свято верит в навязанные миражи
и распутывать хитросплетения лжи
не обучен, как ни изворотлив, наш ум,
а всю правду узнает лишь тот, кто ушёл
в изначальную тьму, в безучастный шеол.

Проклинать ли тебя нам, Иерусалим,
вспоминать ли, как дождь миновал, перестал?
Голос горлицы льётся в бездонный провал,
где ни лет не бывает, ни зим...

Проклят, сказано, тот, кто повешен, распят,
кто, как шут, на потеху толпе на кресте,
весь в кровище, в поту, выбрав участь ягнят,
приседал, задыхаясь в своей срамоте,
в третий час пополудни: Закон, не Закон,
но и звёзды с орбит уклонились своих.
Всё лишь с виду течёт, как текло испокон,
и любые слова — ложь от сих и до сих
по сравнению с тем, что творится сейчас.

Ты мне скажешь, мол, это вот всё не про нас,
но не твой ли на дыбе скелетный каркас
затрещал и не твой ли телесный состав
протекает, и вывернут каждый сустав?

В этом лучшем, как кто-то изрёк, из миров
предусмотрено всё — и утрётся Пилат:
глас народа — собранья народного рёв —
и — на Лысую гору под мат-перемат.

Об одежде твоей бросит жребий конвой,
и потянутся псы из окрестных дворов,
и костром запыляет в ночи мировой
в шестой день же и час, как чернеющий ров,
крестовина. Молчи! Невозможно. Печёт.
Головной раскололась в огне голова.
Выйди, Господи, кто я такой! Всё течёт
в день шестой же и час. Ради нас? Ради нас?
Невозможно! Великий Пяток. Парастас.
Рот закрой, человек! Всё слова да слова.
Содрогнись от безумья Господней любви!
Всё течёт. И печёт. Люди, люди мои!..

Страшно место сие. Живодёрня и торг —
этот мир, этот город с долиной костров,
пожирающих падаль. И сам я таков.
Отчего ж Ты меня не прибрал, не исторг
аки плевел? Зачем, для каких таких дел
с петухами встаю, пью, как воду, позор?
О, найти бы слова! Этот взгляд, этот взор,
эта пытка и всё, что сказать не успел...

Катит шарик навозный свой жук-скарабей,
в этом шарике солнце в долине скорбей
кто-то видит, а он видит адово дно,
не вникая особо, какое кино
полный зал собирает в ночи мировой —
вой сирен, заглушающий плакальщиц вой,
или, скажем, день плова — здесь важно одно:
с чем пришёл ты, пролившись, как в землю вода,
в это место мучения — место суда.

Но сдаётся, что здесь лишь, где выхода нет,
и находится выход: неожиданный ответ,
бессловесно-словесный, ни тьма и ни свет,
но иное, иное — не уразуметь
и не выразить — учит и дальше терпеть,
доверяясь ему, и не будет конца
погружёнью — пути и зерна, и истца...

Вот тогда-то и ставишь себя на правёж:
сколько б ржи ни посеял ты, — где твоя рожь?
Кто был другом твоим? Разве Он, разве Он?
Обещает ли райские кущи Закон
даже тем, кто соблюл всё от сих и до сих?
Лишь светила орбит не меняют своих,
повинуясь веленью любви, ну а ты?
Всюду клин, как ни кинь. Не прикрыть срамоты.
И найдёт ли тебе оправданье собрат
по несчастью — Господь твой и твой Адвокат?

Плачет Ангел-хранитель: увы, как ни взвесь,
подопечный легок. Впрочем, ты ещё здесь,
значит, нужен и, стало быть, дорог Ему —
вот такой, какой есть, не поймёшь почему...

Пасху справит народ, и опять толчея,
беготня, суета, маета и тщета,
новостные помои, повестки, счета,
и лишь ты, быстроногая лань, у ручья,
иссушённого зноем, стоишь и стоишь,
и ревёшь безутешно, и Ангелов зришь.

Всё отравлено, детка. Обманчив восторг.
Ибо что этот мир? Живодёрня и торг.
И один, лишь один непонятен расклад:
как гробниц ни бели — в них лишь падаль и смрад,
но холстина в крови, этот полог пустой,
словно на ночь-другую берёт на постой
нас могила — о чём она, притча сия?

Полыхает огнями Сион, осиян,
 возвращается ветер на круги своя,
 прозреваешь во всём изначальный изъян,
 но и выход, похоже; ни израильтян
 и ни римлян — ни архиерейский анклав
 и ни кесарь Тиберий при этом не власть:
 прорва залитых известью рвов и канав,
 оставляя возможность наплакаться всласть,
 увлекает туда, куда все, стар и млад,
 от вседневной тщеты, соловьиных рулад
 утекаем бесследно, и ширится ад,
 очищая от скверны, — зияет шеол,
 и стоишь перед Богом ты, гол как сокол...

Благ Закон, но и он столь же благ, сколь суров.
 Всё как прежде, но лясы точить у костров
 караул подустал — знать, теряется нить
 разговора, и некого, в общем, винить.

Этот город, должно быть, Иерусалим —
 лишь его через тусклое видишь стекло,
 прозревая провал, где ни лет и ни зим:
 дождь, глядишь, миновал и слегка отлегло,
 Пётр к себе возвратился и с ним Иоанн,
 ну а ты всё стоишь, всё плывет наугад
 аромат бесполезный сквозь месяц нисан.

Ты во взломанный склеп привела с собой сад —
 беззаконный, сырой, охраняемый лишь
 светляками под стрёкот немолчный цикад:
 мельтешит над дорожкой летучая мышь,
 из пустыни заносит пыльцу сухостей,
 и всё явственней, зримей, светлей и светлей
 эта серая рань, эта синь меж ветвей,
 эта пристальная невозможная тишь.

Раввуни! Прибежишь — не поверит никто,
 и не надо, и пусть их сидят, запершись,
 говоря, как всегда, не о том, не про то,
 полагая, что спятила ты, — отрешись
 и не спорь с мужиком: всё, по сути, ничто,
 но плывёт твоё миро, плывёт наугад
 это благоуханье тончайшей из смол,
 сохраняя слова: не удерживай, мол...

Ты во взломанный склеп привела с собой сад,
 и восстал стар и млад, накрывается стол,
 во всю глотку окрест петухи голоса,
 солнце жарит вовсю, и — пустует шеол.

Елена Ефимова

Отчий дом

Рассказы

Отчий дом

Виктор остановил вишневую «девятку» на обочине и заглушил мотор. Некоторое время, он потерял счет, а часы забыл в гараже, оставался внутри салона. Новенькая магнитола тянула про «там за туманами, вечными, пьяными». Он вырубил песню на середине, вышел и встал, облокотившись на бампер, словно без поддержки не смог бы удержаться на ногах. Через дорогу скрежетал стальными челюстями экскаватор. Виктор приехал смотреть, как будут рушить дом отца.

Они построили его вместе, за одно лето 74-го — торопились переехать из деревни в город. Виктору только-только исполнилось шестнадцать. Младших детей отец с собой не брал: Мишку и Ваньку — чтобы не путалась под ногами мелюзга, а Светку еще и потому, что девка. Положение любимчика нравилось Вите. Отец будил его в пять утра, совал кружку молока с куском белого хлеба и велел прыгать в колхозный грузовик. Дорога до стройки занимала полчаса. Это было их время.

Обычно Витя спрашивал про войну, но говорить о ней отец не любил и всегда отвечал односложно, а если рассказывал истории, то не про себя, а про товарищей, однополчан. Бывало, они оба молчали, еще не проснувшись как следует, но тишина между ними была уютной, домашней, как пуховое одеяло. Тогда Витя украдкой смотрел на загорелые отцовы руки, лежащие на руле, — на кистях голубыми проводами тянулись вены, в них пульсировала жизнь и сила, из-под белых манжет торчали волосатые запястья. Рубашки отец менял каждый день, одолевая мать стиркой. Пряткий, коренастый, осанистый, он так держал спину, что никому не казался маленьким, хотя своей Варвары был ниже на полголовы. От матери Виктору достался высокий рост, и отец не любил стоять рядом с сыном, а если приходилось, приподнимался на носочках.

Он был героем не только войны. В 51-м стал председателем колхоза, потом передовиком, победителем соцсоревнований, лицом сельскохозяйственных выставок, о нем писали в газетах и рассказывали по радио. Везде и всегда первый, важный, нужный. Но настало новое время, колхозы стали укрупнять, преобразовывать в совхозы, и в новой системе главной роли для отца не нашлось. Услышав предложение работать заместителем, бросил партбилет на стол — еле отговорили. Вечер подумал и наутро сказал своим собираться в город.

Елена Ефимова — родилась в Пскове, живет в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналистики. Работала корреспондентом в «Комсомольской правде» и на телеканале «100 ТВ», на данный момент занимает должность руководителя PR-направления в IT-компании. Окончила курсы художественной прозы Creative Writing School.

Место для нового дома выбрал на окраине Пскова, в частном секторе. Официально это был поселок, в состав города его включили только в 86-м. Одной стороной он упирался в железную дорогу, другой — в военный аэродром. Фоном шумели поезда, над крышами гудели самолеты, «голубые береты» ходили по дворам и продавали тушенку. Участок стоял неровный, запущенный, трава от придорожной пыли серая, но отец решил сразу. Мать горевала, не хотела покидать родную деревню. Вите тоже было что терять. В соседних домах жили друзья и любимая девушка, но он не плакал: отец терпеть не мог, когда разводили нюни, и за слезы порол ремнем. Методично и жестоко. Один раз и вовсе приложился неудачно, попал по мягкому месту тяжелой железной бляшкой. Или сделал так специально, Витя не понял. Ему было восемь, сестре Свете на год меньше, они играли, и он угодил ей деревянным кубиком по лбу.

— Считай до десяти, — приказал отец дочери, замахнувшись первый раз.

— Раз, два, — всхлипывала Света. — Пять, семь, десять. Довольно, папа.

— Счета не знаешь? — взревел тот, но бить перестал. Если отец и слушал кого-то в семье, то только единственную дочь. — Слизняк, — бросил сыну, заметив на нем мокрую штанину и лужу на полу. Шрам с того случая у Вити остался на всю жизнь. И не проходящее чувство стыда за унижение на глазах у девчонки.

Отец вообще любил все делать основательно и новый дом решил сложить из кирпича. Сосед отговаривал — ни в какую. Дом в деревне, где родился Виктор, он строил после войны из дерева. Бревна были необработанными, неровными, цепляли занозы, подгонять их друг к другу стоило больших усилий. Стройка 74-го вытащила все свободные деньги, втянула в долги, но отец все равно был доволен. Кивал на дочь, мол, женихи обалдеют. Света была любимицей отца, раз он привез ей янтарные бусы из Москвы, с ВДНХ. Виктор тоже сунулся за подарком, но получил сложенную из пальцев фигу. С маслом, конечно. Он дулся неделю, а после тайком порезал бусы и вину свалил на Мишку, среднего брата. Между ними было пять лет, но на самом деле — пропасть. Миша не боялся отца. Он не стал оправдываться, но выдержал паузу и стальной взгляд родителя глаза в глаза, вытянул из кармана губную гармошку и заиграл. Отец постоял, послушал, беззвучно зашевелил губами и на припеве вступил тихим, как будто не своим голосом.

Где-то далеко,
Очень далеко
Идут грибные дожди,
Прямо у реки
В маленьком саду
Созрели вишни,
Наклонясь до земли...

— За талант прощаю, — сказал он и вышел, а из следующей поездки привез Мише гитару. Инструмент это проклятый Виктор ненавидел сильнее сестриных бус. Про подарок себе больше никогда не спрашивал.

Через дорогу матюгались и курили мужики. Отец за работой не выражался, а только пыхтел и кусал тонкие губы. Курить — курил. Покупал по две пачки «Беломора» в день, папиросы хранил в железном портсигаре с рисунком Ленинграда — подарок брата. Виктор впервые затынулся в двенадцать, но только закашлялся и прослезился, а чтобы отец не почуял табачного запаха, наелся травы. Потом стал курить в армии, не хотел чувствовать себя лохом. Сразу после дембеля бросил.

Стройка шла ежедневно до позднего вечера, кроме воскресенья. За лето Виктор научился делать всю мужскую работу: штробить стены, пилить бревна, забивать гвозди, разводить цементный раствор, класть кирпичи. В обед

приезжала мать, привозила котелок картошки, завернутый в одеяло, пару огурцов и помидоров, иногда окрошку на квасе. В памяти она навсегда осталась такой, как в то лето: на голове платок в мелкий цветочек, толстенная коса скручена в пучок, красный сарафан, ночами сшитый по журнальным выкройкам. Своих тружеников мать хвалила, не скупясь на добрые слова, и тянулась обнять сына, но Витя всякий раз отстранялся: ее ласки он стеснялся и больше всего на свете хотел заслужить одобрение отца.

Дома с младшими оставалась Света. В обед разливала суп по тарелкам, после еды мыла посуду. Стирала, убирала, штопала. Мальчики следили за скотом. Кормом заведовал Ваня: поросенку дважды в день крошил в бадью булки хлеба, курам делал мешанку из картошки, остатков со стола, яичной скорлупы, летом обязательно со свекольной ботвой или свежей крапивой, в изобилии растущей за сараем. Пробирался за ней крадучись, прислушиваясь, сам как маленький пугливый зверек. Там, на краю двора, отец назначал встречи молоденьким дородным колхозницам. Ваня своими глазами увидел в сем лет, закричал, на рев прибежал Виктор.

— Сболтнете матери, голышом в крапиву брошу, — пригрозил отец, одергивая брюки. — Утри сопли малому, Виктор.

Пришлось рассказывать Ване сказки и чувствовать себя лжецом. Смотреть отцу в глаза Виктор, на тот момент четырнадцатилетний, не мог неделю. Ярость, стыд, обида за мать душили и мучили. Уже став взрослым, понял, что все она знала и понимала, но скандалить было не в ее характере, а разводиться в те времена считалось стыдным.

Переезжали в сентябре. На новоселье забили поросенка и нажарили шашлыков. Ваня есть Яшку не мог и куски свои передавал под столом братьям. Мишка причмокивал и облизывал пальцы.

— Средний был и так и сяк, поскребыш вовсе был дурак, — качал головой отец. — Одна надежда на дочь.

Про Виктора в тот вечер ничего не сказал, зато дом хвалил на все лады. Он и правда был лучшим на улице: белый фасад имел вид нарядный, праздничный, оконные проемы украшала цепная кладка красным кирпичом, а высокое крыльцо походило на те, что делали в прежние времена в барских усадьбах.

После переезда началась новая жизнь. Отец устроился начальником продуктового склада, завел дружбу с важными людьми. Нужды семья не знала: на столе бывали и сливочное масло, и копченая колбаса, и мясо. Соседи отца называли по имени-отчеству, а про себя окрестили председателем. Виктор пошел в выпускной класс и потому получил в доме, как и Света, отдельную комнату. После школы отслужил в армии, вернулся, а у него уже обосновался Ваня.

— Детство кончилось, — рассудил отец. — Забирай второй этаж, делай, живи.

Но помощи не предложил, и Виктор широкий жест отца понял так, что от него хотят избавиться. Неделю помаялся в гостинной и съехал к друзьям. Скоро Света вышла замуж и тоже покинула отчий дом, потом братьям выпал Афган. Вернувшись с войны, Ваня поставил у себя в комнате замок и начал пить, Мишка взял гитару и укатил в Ленинград. В 86-м умерла мать. Отец сказал, что найдет новую хозяйку, но сорокалетняя вдова с соседней улицы замуж за него не пошла, а свататься к старухам не позволяла гордость. Света смеялась над ним в голос, потом развелась с первым мужем и вернулась домой. В год, когда рушилась страна, отца разбил инсульт.

Виктор сплюнул на землю, прогнав воспоминания. Подошел к калитке, давно потерявшей остатки краски, и шагнул стрелкнуть сигаретку у рабочих. Закурил и посмотрел на дом.

Тот стоял в глубине двора, со всех сторон попавший в окружение вымаханной по пояс травы. В последний год после болезни отец бросил косить и просил Ивана. Неженатый, безработный, тридцатитрехлетний, он угукал

и продолжал смотреть фильмы по видику. Отец бесился, понимал, что сил тягаться со взрослым сыном нет, а упрашивать было не в его характере, и начал платить за косьбу. На деньги родителя Иван покупал водку. Света, когда приезжала в гости, очень на это сердилась и выговаривала отцу, что пенсию лучше откладывать на похороны. Она же отвела его к нотариусу и заставила написать завещание.

Смерть пришла в дом на Спас. Что отец не проснулся, все узнали от Ивана, а тот понял только к вечеру, когда протрезвел. День выдался жарким, и, когда Виктор приехал, в комнате, несмотря на открытую форточку, висел густой болезненно-сладкий дух. Отец лежал в кровати ссохшийся, деревянный, не похожий на себя. Его руки, Виктор положил поверх свою, были холодны и бледны, в них больше не пульсировала жизнь и сила. На тумбочке валялись начатые блистеры таблеток и яблочный огрызок. Виктор подумал, что это белый налив — любимый сорт отца, которым он засадил полсада.

Позвонили Мишке в Ленинград, он приехал. Виктор не помнил, когда в последний раз видел брата, лет пять назад, не меньше. Место на кладбище рядом с матерью и гроб самый дорогой купил на свои. Требовать денег ни с кого не стал и не взял, если бы и предложили. Он не пытался заглядеть вину, во всяком случае, так ему казалось, он просто поступал правильно. Последнюю встречу с отцом старался не вспоминать. Все равно ничего не изменить. Виктор приехал с подарками, но от торта отец отказался, спортивный костюм Adidas мерить не стал. Виктор рассказывал: открыл четвертую точку на рынке, удачно затарился в Польше, но вместо похвалы услышал странное:

— Торгаши страну продали.

И он не стерпел, не смолчал.

— Помирай тут один, — сказал и хлопнул дверью. Как знал. Это было неделю назад.

На похоронах он не плакал, как и братья. Одна сестра рыдала над гробом, но Виктору все казалось, что она не плачет, а смеется. Прислушивался и думал, что теперь остался не просто за старшего, как всегда, но еще немного за отца. Будто мало было двоих своих детей, которые за спиной жевали вишневым Stimorol и играли в тетрис. На поминках он расчувствовался, да и выпил больше обычного, вспомнил про янтарные бусы.

— Сукин сын! — рявкнул Мишка и полез с кулаками.

Иван бросился разнимать братьев, но сам получил под глаз: подвела раздробленная в Афгане рука. Рухнул в отцово кресло перед телевизором и заскулил, как побитая собака.

— Довольно, не реви, — жалела младшего Света и прикладывала к ушибу лед.

— До свадьбы заживет, — приговаривал Виктор.

А самому было жаль дурака. Самый умный из детей, единственный окончил институт, а своего места в жизни найти не сумел. И личная жизнь не складывалась. Покойный родитель знакомил с дочерьми друзей, подначивал, приносил журналы с красивыми девушками, в которых те позировали без одежды, — Иван краснел и скрывался в комнате. Он был тихоней, инвалидом войны и не нравился женщинам. Отцу этого было не понять.

Как быть с домом, обсуждали на следующий день после похорон.

— Старье надо продавать, — строго сказала Света и обвела взглядом братьев.

Мишка идею поддержал аплодисментами. Света грезил квартирой побольше: в однушке с двумя детьми тесниться надоело. Бывшие мужья не помогали. Когда после первого развода она с малолетним сыном вернулась домой, отец давал денег, жалел, мол, кому нужна с прицепом. Но желающий нашелся: Света видела, конечно, что алкаш, но самоутвердиться, доказать было важнее. И снова брак, ребенок, развод. В своих неудачах она винила

старика, объясняла все детской психологической травмой, узнала о которой по телевизору, из ток-шоу «Моя семья» Валерия Комиссарова.

— А хорошо мы жили, — весело сказал Мишка. — Помните, как парашютистов в небе считали, как поезда ходили смотреть? Только характер у старика был скверный.

Он вскочил с места и забегал по дому, выбивая ногами ритм. Через десять минут ухнул на стул и загрузил. Виктору случалось видеть наркоманов, и он понимал, на что уйдут деньги с продажи дома. А начиналось все безобидно: большой город, рок-клуб, тусовки. Мишка хорошо играл, но Науменко, Кинчевым, Цоем не был. И скоро понял, что никогда не станет, как с детства знал: до уровня отца ему не дотянуть. Музыку бросил, но ничего другого не умел, работал сторожем и ползарплаты отдавал за комнату в коммуналке.

Иван заикнулся было оставить дом как дачу. Но все понимали: ждал одну сестру, та, если попросить ласково, и постирает, и погладит, и приготовит. Как мать. Но Света быстро предложила выкупить ее долю.

— Ты знаешь, какая у меня пенсия? — обиделся Иван.

— Пить надо меньше, — фыркнула сестра.

— На квартиру без доплаты ему не хватит, — вступился за младшего брата Виктор.

— А мне легко, Витя? Ты обо мне подумал?

Она жаловалась на жизнь, ругала весь мужской род, но слушать Виктор перестал. Он чувствовал себя в стае голодных стервятников, что кинулись на наследство как на добычу. Ничего общего не было у него с этими людьми, кроме фамилии, которую те только позорили. Знали бы в деревне, в кого превратятся председательские сынки. Один он не посрамил отца: построил бизнес, купил квартиру в центре, дачу и машину. Конечно, считать деньги умел, но продать дом, пустить в него чужих людей означало для него унижить. Не отца даже, а самого себя.

— Я покупаю дом, — сказал он и в полной тишине продолжил: — Но деньги дам одной Светке. Мишка, тебе комнату в Пскове найдем, заканчивай гастроли в большом городе. Ванька, дом в деревне можно недорого взять, там соблазнов меньше.

Предложение, однако, никто не оценил: Ваня нахмурился, Мишка выругался, Светка закатила истерику, а потом накинула к цене своей доли триста баксов.

— Ну ты стерва! — выпалил Виктор. — Даю час на размышление, потом уезжаю. Завтра предложу на пятьсот меньше.

Вечером поехали к нотариусу и подписали договор. Светка получила за долю деньги, братья по углу, и больше они не виделись. Виктор сделал все, что мог, и больше, чем отец, оказался на его месте.

Но оставалось последнее и главное.

В первую годовщину смерти Виктор выкосил на участке всю траву и вырубил яблони. Он работал яростно, вбивая в стволы топор сильными резкими движениями, и провожал деревья взглядом, когда они с грохотом падали на землю. Только оголив весь сад, натрудившись до мокрой рубашки и боли в спине, пошел в дом передохнуть. Присутствие отца в его стенах ощущалось так явно, что казалось, сейчас выйдет, и они поговорят. По-взрослому, на равных. Но он не шел. Виктор пил один и закусывал яблоком.

— Завтра все начинаем сначала. Так надо, отец.

Теперь он смотрел, как ковш экскаватора скребет стены, пробивает трещины, и серая кирпичная пыль сыплется вниз. Виктор рушил отчий дом, ровняя с землей тяжелые воспоминания, детские комплексы, прощая старые обиды. Было легко, свободно, точно арестанту снять с ног кандалы. На месте прежнего он решил поставить новый дом. Виктор знал, дети его поймут.

Карточный долг

Два очка недоставало отцу для тридцати одного и победы. Из углов поглядывали в карты дядя Толя, наш сосед и Юрий, недавно приехавший в колхоз механик с наколками на всех пяти пальцах. Поговаривали, откинувшись с Колымы, но сам он молчал. Сидели у него дома, играли «на интерес» в буру.

Кухонный стол, а другого у Юрия не было, заваливался на одну ногу, на липкой клеенке дымилась пепельница, лежали мятые купюры и монеты. Отец гнул в руках козырную даму и бубновую мелочь. Прикидывал: с бубен не пойти, будут биты, а придет третья со следующей раздачи, сложится письмо. Тогда кидай карты на стол, вскрывайся, забирай выигрыш. Если другим не выпадет бура — три козыря кряду — или старшие комбинации «Москва» и «малая Москва».

— Ходи, Владимирыч, не корову проигрываешь, — Юрий хлебнул из большой кружки очень крепкого, почти черного чая.

Отец потянул две карты вверх, вскинул руку, резко вырвал крестовую даму и шлепнул на стол.

— Козырная! — громко объявил и обвел противников глазами.

Дядя Толя чертыхнулся и скинул карту рубашкой вверх. Отец уже прибавил к своему счету три очка, когда Юрий поднял голову и неспешно, по одной выложил на стол карты. Шестерка козырь, а к ней девятка и валет.

— А что раньше не вскрылся? Зачем комедию ломал? — вскипел отец.

— К чему портить красивую игру? — двумя руками Юрий придвинул банк к себе.

— Не корову проигрываешь, — передразнил отец и после паузы добавил: — А давай играть на корову?

Над столом повисла тишина. Юрий собрал со стола карты и стал мешать. Дядя Толя потушил папиросу и поднялся с места.

— Уходим, Алексей. Поиграли — и баста.

— Тебе надо, ты и иди. Играем, — отец подмигнул Юрию.

— Коровы не имею, Владимирыч.

— Зарплата есть. А я с карточным долгом торопить не стану.

— Пять зарплат, пять! — выглянул из дверного проема дядя Толя и грохнул дверью.

Юрий снял колоду и раздал карты. Козырем легла пиковая шестерка, сверкнула на отца черными глазами. Обычно лишенный всяких суеверий, он еле заметно сплюнул через левое плечо и заглянул в карты: десятка пик, семерка и валет черви. С раздачей повезло, пошел с двух красных карт. Играл осторожно, про себя считал очки, но верил в удачу и ждал ее. К десятке пришел козырной валет, которого не удалось сохранить, через кон его сменила дама. В самом конце партии, когда карт в колоде почти не осталось, отец вытянул третью пику. Он подорвался со стула, размахнулся и веером кинул карты на стол.

— Бура, бура! — отец крутился вокруг себя и хлопал в ладоши.

Но только потянулся к выигрышу, Юрий остановил его руку и вскрыл карты. На стол легли тузы. Черви, крести, пики. «Москва».

— Не может быть! Этого не может быть! Меченые карты! — вскричал отец.

— Даю три дня, — хозяйским, не своим тоном сообщил Юрий, допил из кружки остатки чая и, не попрощавшись, скрылся в комнате.

Отец смахнул карты на пол и на ватных ногах вышел вон. На улице стемнело, похолодало, лето заканчивалось, на смену ему готовились прийти осень и увядание. Отец тоже старел. Ему было сорок девять. Конечно, он не думал, что мог проиграть. Такой уж он был человек. Дорогой почувствовал, как озноб бьет по всему телу, застегнул пуговицы пиджака и сунул руки в карманы.

В окнах дома горел свет, отец знал, что мать будет ждать, не ляжет одна, но пошаркал сапогами в сарай. Скрипнула дверь, пахнуло сеном и теплом домашнего скота. Буренка спала на правом боку, на запах хозяина приоткрыла глаз. Рядом с большим материнским телом приткнулась маленькая Ночка, черная телка с белым пятном на морде. Дергала во сне ушами, отгоняла мух, совсем детеныш. Отец накидал сена в угол сарая и прикорнул, сдвинув серую кепку-восьмиклинку на глаза. Во сне он видел, как пришел за выигрышем Юрий: скотина упрямилась, упиралась копытами, протяжно мычала, не слушалась нового хозяина, пока тот не огрел ее плеткой. Проснувшись, отец решил, что корову не отдаст.

Утром на собрании у себя в председательской был особенно грозен, гневлив, кидался замечаниями, стучал ручкой по столу.

— Распустили коллектив! Шофера в карты играют!

Правление колхоза сидело, понунив головы. Бригадир пробовал возражать, приводил аргументы, ссылаясь на плановые показатели, цифры из отчетов, главный агроном кивал, поддакивал, но отец поднял руку и в полной тишине вынес решение.

— Проиграл? — подскочил дядя Толя, когда все разошлись. И все понял без слов, снял шапку и приложил к груди, как на похоронах. — Беда!

— У тебя ружье есть? — спросил отец и вздернул подбородок, отчего сделался похожим на профиль Ленина, краснеющий полотном на стене.

Дядя Толя побледнел, но разубеждать не стал, знал — бесполезно. Он ходил на охоту, имел две гладкостволки, патроны, дробь. Да и как отказать начальнику, который только-только назначил тебя своим заместителем. Отец приосанился, вырвал из красной папки лист приказа и вышел из кабинета.

Машинно-тракторная станция дышала соляжкой, бензином, грязными тряпками, отвертками, гаечными ключами, кабелями, ревела моторами машин и мужицкой разухабистой разноголосицей, которая немедленно стихла, только председатель возник на пороге. Все, кто был на месте — механики, водители, автослесари, повернули головы, вытянулись по струнке, поздоровались, как в армии, хором, один Юрий остался сидеть в углу на табурете и курить. Отец воткнулся в него взглядом, выдержал паузу, кашлянул и принялся читать с листа.

— Приказ... за нарушение трудовой дисциплины и игру в карты объявить строгий выговор... удержать штраф... Председатель колхоза Васильев А.В.

Юрий дернулся с места, отбросил сигарету в сторону. Откуда вообще наглец узнал об отцовской страсти к азартным играм, непонятно. Отец играл с одним дядей Толей и детьми на спички да «ку-ка-ре-ку» проигравшего под столом.

— Чтобы никому не повадно было. Еще раз увижу, уволью. И если кто узнает... — начал он, но на полуслове прервался и повернулся к выходу.

Отец был теперь доволен собой и весь остаток дня необычайно деятелен, вечером вызвал водителя и велел гнать десять километров в соседнюю деревню. Там в покосившейся избе, такой же древней, как ее хозяйка, жила баба Марфа. Дед ее прошлой зимой помер, сыновей убило в войну — осталась одна корова со стертymi зубами и дюжиной, по числу отелов, роговых колец.

— Отдай мне Зорьку, баба Марфа, — сказал отец, присев на ветхий табурет.

— На кой она тебе, милоч? — спросила старуха.

— Тебе хочу помочь, старая. Сена запасти, мыть, доить — одна морока. А у меня жена дома да девка растет.

— Куда я без нее? Только корова меня и держит на этом свете, а как отдам, помру.

— Десять рублей даю. Молоко привозить буду по субботам как штык.

— Темнишь, Алешенька. Стряслось что?

— Для дела мне твоя корова. Выручай, бабка. Век не забуду. Как я тебя выручал. Помнишь?

То было правдой. Отец давал бабке деньги на похороны, по хозяйству, случалось, помогал. Старуха упиралась еще долго, мотала головой, а в итоге махнула рукой. Домой отец вернулся с коровой, а утром велел ее намыть старшему сыну.

— Чтобы как новая была, Виктор!

— А зачем она нам, отец? Буренка своя есть и теленок.

— На выставку повезем, пусть народ подивится, — ответил отец совершенно серьезно.

Представляю, как пацан тогда на него разозлился. За дурную привычку никогда ничего не объяснять, все поворачивать в шутку, и что пришлось дерьмо пристывшее с шерсти оттирать, а не мяч гонять. Все ему стало ясно через два дня, когда пожаловал Юрий.

Он возник на пороге сарая вечером, вид у него был хищный, наглый, ничего не осталось от прежнего тихони, приехавшего работать в колхоз. Отец ведь взял его, когда никто не брал. Выделиться хотел, а получилось, что сам на себя беду накликал. Виктор менял воду в поилках, отец кивнул ему на старую корову.

— Ты что, Владимирыч, передойку мне подсунуть хочешь? Вот эту давай, — Юрий ткнул пальцем в Буренку.

— Указывать мне собрался? Выиграл — получай.

— Да ей десять рублей цена в базарный день! Или свою отдавай, или теленка в довесок.

— Бери, пока дают, и убирайся к чертовой матери.

— За карточный долг знаешь, что бывает?

— Угрожать вздумал, сопляк? Поедешь туда, откуда прибыл.

— Посмотрим, — буркнул Юрий и вышел ни с чем.

Отец матюгнулся ему вслед, что редко позволял себе при детях, и побрел к дому. Дорогой затынул обычное: «не ходи на тот конец, не водись с ворами...», песню эту блатную он напевал часто, но в тот вечер она звучала по-другому, казалось, слова знали все заранее и сокрушались наперед. Следующим вечером отец не пришел с работы в обычное время.

Колхозным грузовиком рулил водитель, отец молчал на пассажирском, смотрел в окно. Мысли прервал машинный гудок, протяжный и требовательный, потом второй, с губ шофера слетело «в бога душу мать», он вдарил по тормозам и заглушил мотор. Путь преграждал старый «козел», болотный 69-й ГАЗ, передние двери его были открыты.

— Выйду разберусь, — сказал водитель и дернул ручку.

— Сиди, я сам! — отрезал отец и спрыгнул на дорогу.

Он сразу все понял. Первый удар, сильный, наотмашь, свалил его с ног, верзила кинулся на него с кулаками, но, получив приказ лицо не портить, принялся бить кирзовыми сапогами по ребрам. Шофер дернулся на помощь, но наткнулся на Юрия с ножиком в руке, лезвие хищно блеснуло на закатном солнце, и попятился назад к грузовику.

— Ты не мне корову проиграл, Владимирыч. Ты ему проиграл, — показал колхозный механик на своего дружка. — Ты нам всем проиграл. Ты нам теперь все отдашь. И корову, и теленка.

— И штраф Юркин чтоб завтра же списал! — орал громила.

— Черта лысого я тебе отдам!

— Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!

— Я немцев на войне не боялся и вас, поганцев, не стану!

— Сами заберем, — услышал отец перед тем, как потерял сознание.

Он очнулся не скоро, испуганный шофер махал на него грязным платком и прыскал водой. Из кошелька отца исчезли десять рублей, те самые, на которые Юрий был оштрафован.

— Никак Юрка-механик это был?

— Он самый, — отец схватился за протянутую руку, встал на ноги и тут же схватился за ребра. — Поломал меня его дружок.

— За что они тебя так, начальник?

— За карточный долг. Никогда не играй на деньги, Иван.

Следующим утром отец впервые думал не пойти на работу, так ломило все тело, но побряхтел-побряхтел и собрался: иначе это было бы проявлением слабости. Приехав в колхозное правление, он сразу понял, что делать: подмахнул приказ и отправился наказывать обидчика.

На машинно-тракторной станции поискал глазами Юрия, но рабочие только развели руками.

— Не вышел на работу, первый раз такое, ни о чем не предупреждал, — бросился объяснять начальник станции.

— Послать за ним в колхозный дом! Ключи от квартиры занести мне лично! Срок — сегодня вечер, — отчеканил отец и скомкал лист приказа.

Квартира Юрия оказалась пуста, ключ тоже не нашли, решили, что беглец забрал его с собой. То было плохо — замки в колхозных домах в районе стояли типовые. Отец знал, что Юрий вернется, и перебрался спать в сарай.

Первая ночь прошла спокойно, вторая тоже, а в третью отец, как чувствовал, отвел своих коров дядя Толе и вызвал друга на подмогу. Интуиция у него была такая, что хищный зверь бы позавидовал. Виктора тоже взял с собой.

— Дадим вора понюхать победу и поймаем с поличным, — объявил отец и укрылся в траве у сарая.

Стали ждать. Дядя Толя гладил ствол ружья и тяжело вздыхал. Отец шипел на него и тыкал папиросой себе в нос — курить в засаде всем запретил. Виктор прислушивался к ударам родительского сердца, сильным и ровным, и досадовал на себя, отчего не может быть таким спокойным.

Под утро послышались шаги. Одни ноги крались легко, другие ступали тяжело, будто на них подвесили гири. Отец узнал амбала. Юрий шел впереди. Замыкал шествие здоровяк с «макаровым» в руке.

Амбал сбил замок сарая ударом кулака и шагнул внутрь, Юрий нырнул следом. Третий из банды остался снаружи караулить. Отец досчитал до десяти и пополз. Медленно, бесшумно, как только мог. Подкрался ближе и, улучив момент, когда караульный повернулся спиной, кинулся сзади. Отец был ниже соперника на целую голову, но вцепился в него, как кошка, — повалил на землю, заткнул рот тряпкой, выбил пистолет, руки стянул веревкой. Дядя Толя схватил заготовленную доску и побежал к сараю, Виктор следом с гвоздями и молотком. Стали заколачивать дверь — заложник взревел, вору почуяли неладное, кинулись к выходу. Но было уже поздно.

— Вы в западне! — прокричал отец. — Сдавайтесь!

— Это за карточный долг ты с нами так? — начал было знакомый голос.

— В тюрьме расскажешь, — перебил отец и выпустил пулю в воздух. — Бросайте пистолеты в окно и выходите.

Глухие удары прикладов о землю послышались не сразу, видно, внутри сарая совещались, что делать.

— Выходить с поднятыми руками, — скомандовал отец. — Юрий идет первым.

Бывший зэк механик вышел, прищулив один глаз. Смерил вторым нацеленные на него ружья, ступил три шага и бросился бежать в сторону. Дядя Толя выстрелил — пуля попала в ногу, таков был уговор. Юрий взвыл и закатался по траве от боли. Вой не прекращался и перешел в мычание, протяжное, жалкое, последнее. Отец не сразу понял, что звук идет из сарая, а когда до него дошло, окаменел и прирос к месту.

Амбал терзал старую корову, отнятую у бабы Марфы, резал, тыкал ножом. Двадцать ударов, как насчитали потом. Отец стоял и слушал, не в силах пошевелиться. У него было много недостатков, но то, что происходило теперь, находилось за гранью его понимания. Дядя Толя зажал Виктору уши,

но пацан дернулся и побежал к двери. Отец сорвался с места, догнал, оттолкнул сына в сторону и влетел в сарай — амбал упал на пол, вскинул руки и зарыдал. Отец взвел курок, но выстрелить не успел, помешал дядя Толя.

Как вязал воров, вез в районный милицейский отдел, давал показания, отец не помнил.

Он расхлебывал кашу, которую сам заварил, но делал все машинально, обернувшись куклой. А когда вернулся домой, пошел прямиков в сарай, где рухнул на пол и долго лежал рядом с убитой коровой. Над трупом животного роились назойливые мухи, досаждали отцу, но он их не гонял. Потом сходил за ведром воды, тряпкой и принялся оттирать пол от крови, выгребать запятнанную солому. Пробовал оттащить тушу сам, но не сумел, конечно, и снова позвал друга. Дядя Толя помог, но это был последний раз — больше домой к отцу он не приходил. Виктор замкнулся и стал молчалив, а на вопросы отвечал, только когда спрашивали дважды. Отец привел корову с теленком назад, но теперь к ним не подходил, целиком перекинув уход за скотиной на мать. Он понял, что тоже может проиграть. Оказалось, это страшнее, чем заплатить карточный долг.

Урок плавания

Всему в жизни отец назначал срок. Матери велел подавать обед ровно в два, ужин в шесть, а опоздавших к столу лишал хлеба. Первого марта убирал зимний ватник и валенки и им на смену доставал куртку и калоши. И такой у него был характер и здоровье, что мог он хоть месяц ходить, справившись не по погоде, но порядкам своим не изменял и никогда не простужался. Отец твердо знал: картошку надлежит сажать в первые выходные мая, как и девичье выходить замуж до двадцати, а детям уметь плавать в шесть.

Деревня, где мы жили, стояла на берегу реки Великой. Мужики ловили в ней рыбу, бабы стирали белье, дети занимались своим: зимой — снежки, лыжи, летом — купание до синих губ и стука зубов. В воде били холодные ключи, и до парного молока она не прогревалась никогда. Матери бранили деревенских пацанов, что прыгают с мостков, сигают на глубину с тарзанки, привешенной на берегу к старой иве, но тем было невдомек. Пока не утонул мальчишка и прибывший из райцентра врач не заключил, что несчастный угодил в поток ледяной воды и ему свело ногу судорогой.

Мальчишкам река казалась неширокой. С берега, пока не начинали плыть, одни спешно сдавали назад, другие устраивали привал на опорах старого моста, подорванного русскими в годы войны, чтобы лишить фашистов переправы. Так рассказывал отец, он и научил меня плавать. На суше показал, как работать руками и ногами, потом зашел в реку по пояс и велел ложиться на воду. Помню, двигался правильно, но только отец убирал руки из-под живота, шел на дно топором.

— Держись ровнее, Витя. Не срами отца!

Спустя три дня уроков я поплыл и в свои тринадцать на зависть пацанам переплывал реку и лучше всех нырял. Техника подвела меня лишь однажды, в жаркий июль 71-го.

В тот день отец повел нас смотреть новую лодку соседа дяди Толи. Я спросил, что будет со старой, в ответ услышал про много будешь знать, скоро состаришься. Светка взяла за руку Ваню, Мишка сорвал травинку и сунул сладким концом в рот. Мать осталась дома, она развешивала мокрое белье на веревки и стряпала обед.

Все в деревне уважали отца, выходили на улицу и здоровались, и с каждым он имел короткий, но обстоятельный разговор. Даже Яшка, одинокий одноногий дед, который вечно сидел на лавке и сыпал проклятиями на шумную босоногую детвору, увидев председателя колхоза, приковылял к забору и подал руку.

За последним домом начинался луг с тропинкой, ведущей к воде. Отец прибавил шаг и пошел вперед, следом на правах старшего я, потом Мишка и Светка, а замыкал колонну Ваня. Зелень поля пестрела желтым, фиолетовым и белым. Бил в нос резкий запах зверобоя и пижмы. Настойчивый северный ветер качал стебли васильков и колокольчиков, трепал островки иван-чая, гнул к земле пышные шапки тысячелистника. «Любит, не любит, плюнет, поцелует» — Светка срывала ромашки и бросала на землю лепестки. Втюрилась тогда в Андрюху, однокашника моего, не иначе. Мишка напевал себе под нос, Ваня гонялся за большеглазой зеленой стрекозой и, когда она села на мышинный горошек, поймал ее в темницу ладошек наконец.

Лодка дяди Толи блестела на солнце свежим слоем лака и пахла краской. Отец выудил из кармана брюк портсигар и закурил с соседом.

— Купаться идите, — махнул нам на воду.

Я содрал с себя шорты и майку и полез в реку, Мишка побежал за мной. Светка заходила медленно, осторожно, чтобы не наступить на острый камень босыми ногами, и взвизгнула фальцетом, только мелкие холодные капли дождем упали на ее кожу. Это Мишка специально шлепнул рукой по воде, чтобы поторопить сестру. Она и правда быстро нырнула и погналась за обидчиком, забыв про порученного ей младшего брата.

Первым пропажу Вани заметил отец и стал звать его. Мелкий пускал блинчики в воду, кружил за бабочкой «павлиний глаз» и не слышал грозного родительского голоса.

— Вот ты где, — сказал отец, раздвинув заросли камыша. — Купаться иди, живо!

Ваня зашел в реку по колено и оглянулся на отца.

— Вода холодная.

— Теплее не станет, привыкнешь.

Малой переминался с ноги на ногу, медлил, и тогда отец понял.

— Ты не умеешь плавать! Тебе почти семь, а ты не научился!

— Нет, я умею. Просто сейчас не хочу.

— Не смей врать. Не умеешь!

— Нет, умею.

Тогда отец махнул сыну на лодку, велел садиться и, подобрав в воде одного меня, сел на весла. Лицо его сжалось в пружину, готовую выстрелить, и выражение это означало, что сейчас будут приняты воспитательные меры. Он был широк в плечах, руками двигал слаженно, и лодка быстро достигла середины реки. Там, на глубине, отец швырнул под лавку пачку папирос «Беломорканал» и наклонился к Ване.

— В последний раз спрашиваю: умеешь ты плавать или нет? Не ври мне.

— Умею, — сказал Ваня. К глазам его подступали слезы.

— Отец, не надо. Я никогда не видел, чтобы он плавал, — вступился я за брата.

— А ты где прохлаждался, почему не научил?

С этими словами отец вскочил с места. Одним рывком, я опомниться не успел, он схватил младшего в охапку и бросил за борт, как котенка. Брызги фонтаном рванули вверх, по воде побежали круги, лодку толкнуло волной. Спустя мгновение Ваня всплыл и хватил ртом воздуха. Он шлепал по воде руками, дергал ногами — река обернулась врагом, старшим мальчишкой, от которого нужно было удрать. Кругом пусто, просить помощи не у кого. От страха не получается даже кричать. Одна мысль — бежать что есть мочи.

— Плыи же, черт тебя дери! — орал с лодки отец.

А я стоял рядом и как дурак смотрел на воду, только холодные мелкие брызги кололи лицо. И молчал, потому что, противно вспоминать, возражать трусил. Река была сильнее брата: у него сбилось дыхание, он задергался, запаниковал и потом решающий момент, роковая ошибка — глоток вместо вдоха. Отец понял, что дело плохо, выхватил весло и плюхнул концом в воду. Ваня сделал усилие и смог дотянуться, но мокрая древесина выскользнула

из рук. Не уверен, что в шесть лет брат понимал, что тонет и может умереть, но, став взрослым, он сам мне сказал за рюмкой водки, мол, боялся в жизни всего дважды: в Афгане, когда попал под обстрел, и тогда на реке.

Когда Ваня ушел под воду, отец перегнулся через кайму и прокричал его имя, так что оно эхом прокатилось по воде, но на поверхности показались только пузырьки воздуха. Отец сделался бледным и совершенно беспомощным, с почти детским выражением лица вместо привычного сурового оскала.

— Витя, быстро...

Но я уже нырнул и не слышал конца фразы. На глубине вода отливала болотно-зеленым, со дна поднимались стебли водорослей. Большая щука выскочила из водных зарослей, смерила меня острым взглядом, разинула пасть, обнажив треугольники зубов, и двинулась в атаку. Вряд ли тринадцатилетней мальчик мог оказаться ее целью, я понимал это, но испугался и инстинктивно всплыл.

Отец, увидев меня одного, в одежде и ботинках, как был, солдатиком ухнул в реку. Я глубоко вдохнул и нырнул за ним. Под водой наши взгляды встретились, отец, меня поразила эта резкая перемена, снова стал решительным и бесстрашным. Он приготовился сражаться насмерть и знал, что одолеет реку, как бы ни была она сильна. В один момент мы увидели Ваню. Брат трепыхался устало, словно покорившись своей участи, только мычал с закрытым ртом, пугая мелких рыбок и разбивая их стаю на кучки. Отец подхватил брата, прижал к себе и всплыл, как ракета. На поверхности Ваня глотнул воздуха и зашелся сильным кашлем.

Отец отбросил брата к лодке, я подсадил и залез следом. Ваня выглядел полуживым, почти прозрачным, перекатывался с бока на бок и отхаркивал воду синими губами. С одежды свисали куски тины. Я вспомнил школьного физрука Сан Саныча, он рассказывал нам правила поведения на воде и помощи утопающим. И тогда плюхнул Ваню животом себе на колено и постучал по спине — тонкая струйка стекла на дно лодки. С бледно-розового языка слетел клочок водоросли. Воды было немного, Ваня успокоился и задышал ровнее. Я обернулся на реку и встал, пригвожденный к месту.

Отец болтался в воде поплавком, на который клюнул окунь. Погружался и выныривал обратно, по-собачьи мотая головой из стороны в сторону и разжимая рот квадратной скобкой. Вниз-вверх, вниз-вверх. Потом я увидел, как он выпрямляет ногу и давит кулаком на колено, а свободной рукой лупит по воде, но теряет равновесие и заваливается на бок. Хватает ступню, выравнивает крен и тянет за большой палец на себя. До меня дошло, что у него судорога, и я сиганул на помощь.

Река обожгла раскаленные плечи холодом. Я вспомнил щуку, но больше ее не видел и беспрепятственно подплыл к отцу. Под водой обхватил его за талию и вытолкнул наверх, но только тронулся вместе с ним назад к лодке, как получил локтем под дых. Он метнул на меня колющий взгляд, который говорил обыкновенное: не мешайся под ногами, не лезь не в свое дело. Пришлось послушаться и отступить.

Потянулись минуты, длинные, вязкие, что засасывали трясинной на болоте. Отец не плыл, а буксовал на пяточке, громко пыхтел, вспенивал и мутил воду. Низко над нами пролетела чайка, и крик ее, протяжный, жалкий, прозвучал сигналом о помощи. Птица твердила мне попробовать снова, и я сделал пару гребком вперед. Отец дышал часто и тяжело, видно, истратил много сил.

— Отпустило, почти отпустило, — шипел он.

Я подплыл сзади и обхватил его за плечо. К моему удивлению, сопротивляться он не стал. Я смерил взглядом расстояние до лодки и погреб, помогая себе свободной рукой и ногами. Отец оказался легче, чем я думал, но так обычно и бывает в воде. Нога его, схваченная судорогой, тащилась костью.

Я первым забрался в лодку и подал отцу руку, но он ухватился за кайму, подтянулся и грузным мешком рухнул на дно. Мельком взглянул на брата, нашарил под лавкой пачку папирос, достал одну и чиркнул спичкой.

— Ничего, Ваня. Все учатся, — сказал он, а мне жестом показал сесть на весла.

Отец не страхивал пепел, тот сам сыпался на дно лодки, так дрожали его руки. Я думал, отчего он такой, откуда все эти принципы? Понимал ли он вообще, что мог утопить брата? Почему сразу не прыгнул за ним, а послал меня? Сработала чуйка, что в реке подстерегает опасность? Себя я чувствовал ужасно виноватым: вытянул бы сразу брата, и отцу не пришлось бы прыгать следом. А чем могла закончиться судорога? Лучше не продолжать. О Ване я не беспокоился тогда совсем, наверное, мне должно быть за это стыдно: плавать брат так и не научился. Точила мозг другая мысль, ужасная, введливая, странная: за мной отец бы не кинулся.

Тихая охота

Отец проснулся до петухов. Деревянные часы с кукушкой тикали со стены, присмотрелся — стрелки показывали десять минут шестого. Мать сопела рядом, по-детски положив ладонь под голову. Отец встал тихо, чтобы не будить, влез в рубашку со штанами и вышел из комнаты.

Скрипнула дверь. Давно пора было смазать, да все некогда. Застонали ступеньки старого крыльца. Отец сбежал вниз, ступил босыми ногами на дорожку. Земля обожгла осенней прохладой. В воздухе пахло росой и яблоками. Он расстегнул ширинку и помочился на гладиолусы, после крикнул и нырнул вглубь сада.

Яблоко опять нападало за ночь, под каждым деревом, думал он, наберется по два ведра. Наказать Варваре с малыми убрать, пока он со старшими на тихой охоте. Зрелый плод сорвался с ветки и упал рядом, едва не задев отцу голову. Он провел по щетке волос рукой, словно желая убедиться, что цел, потом наклонился и поднял яблоко с земли. Красный бок манил сахарным ароматом — отец впился в него зубами и почувствовал, как растекается прохладный сок во рту. Он сжевал яблоко целиком, вместе с косточками, потом выбрал еще два и сунул в карманы. Одно отдаст Витьку, второе — Мишке.

Мать тем временем поднялась с кровати, надела платье, вязаную жилетку сверху, она обыкновенно зябла по утрам, и хлопотала на кухне. Одними губами шептала молитву и поглядывала на дверь — отец был атеистом и религию в доме запрещал.

— Старших поднимай! — указал он и взял протянутую корзинку, накрытую белым полотенцем. Отогнул край — хлеб, молоко, вареные яйца, помидоры и огурцы.

Завтракать дома не стали — пропустить первую электричку было нельзя. До станции шагали быстро. Отец подгонял, торопил, Витя и Мишка едва успевали следом. Тогда он сказал, что первому нашедшему гриб, но только чистый и обязательно белый или боровик, жалует пять рублей. Услышав, что стоит на кону, в одиннадцать лет и тем более в шесть это была огромная сумма, братья перестали зевать, принялись толкать друг друга маленькими плетеными корзинками и спорить, кто выиграет.

Потом из кустов показались рельсы — электропоезд ЭР9 подполз по ним, громяхая большими тяжелыми колесами. Машинист из головного вагона с круглой зеленой мордой, разукрашенной желтыми полосами, махнул рукой. Видно, знакомый. Отец сунул четыре пальца в рот и лихо свистнул в ответ.

Электричка пришла полупустой. Вагон пахнул деревянными сиденьями, сыростью, мокрой одеждой, потом и табаком. Грибники заняли две лавки, развернутые друг к другу: отец сел у окна, сыновьям указал места напротив.

Витя первый юркнул к окну, Мишка завопил от обиды и бросился отжимать видовую точку, но сразу получил от старшего брата локтем. Отец хмыкнул, влезать в детские разборки считал неправильным и только примирительно подал ребятам по яблоку.

В окне полетели деревья: сначала больше березы, потом широколапые елки и стройные, длинноногие сосны. Электричка везла путников в сосновый бор, давно примеченный отцом как самое грибное место. Рядом с деревней, где они жили, тоже был лес, попадались в нем и белые с боровиками, но каждый раз, когда они ходили туда на тихую охоту, отец был недоволен и говорил, что за грибами нужно ездить в Левомая. Два года назад он впервые взял с собой Витьку, а в этом году — Мишку. Старший сын был этому не особенно рад: в большой семье он почти никогда не проводил время без конкурентов.

Отец вынул из корзины хлеб, отломил половину, разделил поровну и дал детям. Потом откупорил банку молока, сделал три больших глотка и протянул старшему, тот хлебнул и передал брату. Облизав губы, Мишка вернул банку, молока в ней оставалось на дне, но допивать отец не стал.

На следующей станции в электричку зашли двое: высокие, усаые, в длинных болотных сапогах и с ружьями на плечах, и сели через проход. Отец смотрел на них некоторое время и заговорил. Он быстро сходил с любыми людьми и легко начинал разговор с попутчиками. Мужики тоже ехали в Левомая, рассчитывали пострелять уток. Отец охоту на диких животных и птиц не одобрял, но виду не подал. В неспешном и по большому счету пустом взрослом разговоре под ритмичный стук колес дорога пролетела незаметно.

На нужной станции вышли и простились с охотниками. Витя проводил взглядом уходящий поезд. Мишка по буквам прочитал надпись на станционном указателе.

Отец перешел железнодорожные пути, ступил на проселочную дорогу и немного погодя свернул в лес, мальчишки понеслись за ним следом. По мягкому ковру изумрудного мха можно было гулять как по парку. Нежаркое восходящее солнце играло по верхушкам деревьев, заставляло жмурить глаза. Сосны стояли все как на подбор ровные, прямые, на равном расстоянии друг от друга, словно не растущие сами по себе, а посаженные заботливой рукой именитого садовника.

— Под ноги смотрите! — наставлял отец.

Хрустели под сапогами еловые шишки, сломанные ветки, а на пригорках сухой серебристый мох. Бор был сказочно красив, грибники кружили по нему с полчаса, а корзинки все еще были пусты. Попался им раскисший, старый моховик, изъеденный червями, с десяток ярко-розовых и красношляпых сыроежек, поганки — отец начинал злиться, не понимая, почему подвел лес, а потом увидел под елкой большой мухомор.

— Значит, есть грибы! Ищите рядом! — отец замедлил шаг и стал кружить на одном месте.

Мишка заходил на пятачке, повторяя шаги отца, а Витя заметил неподалеку большую яму и направился к ней. Много таких воронок осталось в лесах с войны. Отец в такие заглядывать не любил, хотя грибы в них, случалось, попадались.

— Слепые, что ли? Рядом со мной посмотрите внимательно, ну-ка!

Витя вылез из ямы и наткнулся взглядом на темно-коричневую шляпку, торчащую из серебристого мха рядом с корзинкой отца. Он поспешил крикнуть, что видит, нашел, ура, первый, но было слишком поздно — радостный брат уже приминал мох, из которого торчала шляпка, оголяя короткую толстую ножку небольшого боровика.

— Чистейший! Виктор, ты видишь? Какой красавец! — восхитился отец добычей. Он бережно счистил землю в основании ножки и положил гриб на дно Мишиной корзинки. Затем полез в карман и вынул кошелек.

Витя отвернулся и не видел, как блеснула на солнце пятирублевая бумажка. Интересно, что может купить на эти деньги глупыш-шестилетка? Витя завидовал брату, настроение было испорчено, но, словно в отместку, он стал находить грибы один за другим. Отец едва заполнил дно своей корзины, а Мишка так и ходил с единственным боровиком.

Вернуться домой, проиграв сыну, отец не мог, а потому принял решение погулять еще. Он уходил все дальше в лес, утягивая сыновей за собой, и перешел линию электропередачи, за которой никогда не был прежде. Сосновый бор оборачивался непроглядной чащей, деревья сгущались, преграждали путь упавшими стволами, хлестали по лицу и рукам еловыми лапами, но все это не имело значения, потому что грибы пошли, и отец вошел в раж. Он опускался коленями на мох, срезал белый, и, ползая рядом на четвереньках, находил еще два-три. Мишка радостно кричал, что тоже нашел, а когда начинал приминать мох, видел, что к большому грибу прирос маленький, и смеялся от радости. Витя тоже находил белые боровики и несколько самых красивых, как из букваря, спрятал в карман куртки, чтобы дома показать матери. Он все еще дулся на отца и соревновательный дух потерял, а потому частенько присаживался на мох и объедал кислые красные бусины с брусничных кустов. Попадались ему и редкие ягоды запоздалой, почти отошедшей черники.

Именно Витя первым услышал, как кто-то шуршит в кустах. Мальчик окликнул отца, тот шикнул на сына и наострил уши. Шагов не было, а едва различимая возня походила на детскую игру. Так бесились братья, когда дрались подушками.

Звуки приближались, послышался рев, но совсем не страшный — детский. На поляну из плотного кольца елок выбежал медвежонок и привстал на задние лапы, увидев людей. Он был размером с крупную собаку, ему мог быть год или полтора самое большее. Сделал несколько шагов вперед и получил лапой в спину от медведя постарше, вдвое больше, но тоже не взрослого. Прошлогодний детеныш, пестун, решил отец, помогает матери в воспитании, все как у нас.

— Уходим, пока мамка не пришла. Уходим тихо и быстро, — приказал отец.

— А если мамки нет? Дадим им молока, отец? — Мишка стоял и смотрел на медвежат как приклеенный.

— Медведица знаешь, что с тобой сделает? Уходим, я сказал.

— У Кольки из нашего класса мамки нет.

— И у Вани с крайнего дома, — подхватил Витя чисто из чувства противоречия отцу.

— Вздумали не слушаться отца? Я вас сейчас! — отец покраснел от гнева.

Мишка дернулся к домашним припасам, выложенным из корзинки под елку, выудил банку молока, налил чуть в крышку и поставил на траву. Медвежата замерли на некоторое время, словно взвешивая за и против, но, учуяв лакомый запах, осмелели и подались вперед. Они лакали молоко, как щенки, толкались мордами и, вылизав все до капли, принялись гонять крышку по траве. Отец следил за игрой зверей, напрочь забыв об опасности, когда услышал хруст еловых шишек и тяжелую поступь, принадлежащую явно не человеку.

Мишка бросился к отцу, тот взял его за руку и поволол, Витю толкнул вперед. Рев за спиной остановил беглецов. Отец развернулся на месте и прижал к себе сыновей. Воспомнил охотников из электрички, но куда там, звать на помощь было бесполезно. Медведица шла прямо на них, ступала лапами со страшными серпами ногтей, тянула воздух черными ноздрями, раскрывала пасть, оголяя желтые зубы. Отец до боли сжал предплечье Вити, и мальчик услышал, как шумно и быстро застучали их сердца.

— Бояться нельзя, — еле слышно вымолвил отец пересохшими губами. — Бояться нельзя.

Он встречал смерть спокойно, точно давно ждал ее и был готов. Много раз на войне он думал, что покойник, и когда засыпало землей от взрыва, и когда ранило пулей в ногу, и когда сидел в укрытии, а над головой елозил тяжелыми гусеницами немецкий танк. Но дети смерти не заслужили, не сейчас. И тогда отец решил, что они будут жить, поднял руки вверх и сделал три шага вперед.

— Давай! — рывкнул зверю, и Мишка заплакал, но остался стоять, как и брат.

Отец закрыл на секунду глаза, а открыв, увидел перед собой не морду разозленной медведицы, а фашиста Ганса, начальника концлагеря, куда угодил в плен в первое военное лето. Стекланные голубые глаза фрица сверлили, сулили муки и смерть, отец выправился и выдержал взгляд, приготовившись отбиваться без винтовок и пулеметов. И Ганс прошел мимо, выбрал другого пленника, послабее, и забавы ради пальнул ему в голову. Отец моргнул от выстрела, медведица ткнула носом ему в живот, обдав звериным дыханием, и пошла прочь. За елками она обернулась в последний раз — мордой фрица вместо звериной. Gut, sehr gut, — прозвенело в ушах у отца.

Он подождал, пока медведи скрылись, и упал коленями на траву, точно верующий в церкви. Витя крепко сжал руку брата и молча посмотрел на широкую спину отца. Все сразу стало мелким и неважным — обиды, ревность. Отец же вырос на глазах, сделавшись исполином. И был человеком, Витя понимал это, подарившим ему жизнь дважды. Тогда мальчик загадал желание: прожить ее так, чтобы быть достойным отца.

Вионор Меретуков

Золотая формула, или Приключения профессора Старосельского*

Роман

Часть вторая

Глава 1

— Пей, сынок, — услышал я. В рот полилась подслащенная жидкость, от вкуса и запаха которой меня едва не вывернуло наизнанку. — Ничего, ничего, потерпи, так надо... — ласково приговаривала женщина в белом халате, звали ее тетя Маша. — Бог терпел и нам велел. Тебя бы, соколик, в госпиталь... — сказала она, озабоченно покачивая головой, — ну да, ничего, потерпи, денька два еще полежишь, а там видно будет...

Ночью меня разбудили голоса. Кто-то кому-то что-то выговаривал.

— Что ты на меня все смотришь и смотришь? Дыру протрешь! — пискляво орал кто-то. — Я из-за тебя второй час уснуть не могу! Смотришь и смотришь. Отвернись! Или закрой свои совиные глаза! Закрой глаза, кому говорят! Закрой, не то костылем тресну, сука!

— Ну, чего ты к нему прицепился? — укорил его обладатель спокойного баритона.

— А он смотрит на меня! Терпеть этого не могу! Я из-за него уснуть не могу!

— Так он же мертвый...

— Да ну?!

Через минуту.

— А почему у него глаза открытые?

— Помер, оттого и открытые. Ты что, мертвых не видал?

Пауза.

— Хорошо бы ему все-таки глаза-то закрыть... — опять заныл пискля.

— Да кто ж ему закроет? Тетя Маша ушла, а мы тут все лежачие. Сам бы встал да закрыл.

— Я не могу: я весь израненный, свои-то с трудом закрываю.

— Да пусть смотрит, тебе-то что? Оставь ему эту последнюю радость.

Оба засмеялись.

...Я лежал в так называемом полевом госпитале, на железной койке, в огромной двускатной землянке, захваченной у противника несколько дней назад. Болела шея и вся подчелюстная область. Из-за потери крови я испытывал невероятную слабость. Несколько дней я не мылся и не брился. Тело, привыкшее к чистоте, холе и неге, зудело и чесалось.

— Псы! — с тихой злобой произнес мой сосед. Я не знал, как он выглядит, мне была видна только задранная сверху острая борода. И он повторил: — Псы, псы, псы! 9 Мая я им никогда не прощу... По безоружным... В

* Окончание. Начало см. «Урал», 2026, № 7.

День Победы! Я как раз сидел в пивной, в самом центре города... Старика убили, когда он кружку ко рту подносил... На моих глазах! Псы! Подъехали на бронетранспортере и из автомата...

Я прибыл сюда как раз тогда, когда противоборствующие стороны договаривались о перемирии. Перемирие здесь понимают так: палят каждый божий день из всех орудий, и каждый божий день прибавляет убитых с обеих сторон.

— Фашистская мразь! — продолжал бородач. — Вот подлечусь и снова буду их бить... бить буду, пока жив... А еще Есенина повесили!.. Псы!

Карточку русского поэта, припиленную к деревянному столбу, рядом с буржуйкой, обнаружили, когда выбили из землянки тех, кто ее соорудил.

— Это ж как понимать? — не унимался бородач. — С кем воюем? Что это значит? А то и значит, что воюем с врагом, который зачитывается самым русским из всех русских поэтов. Ничего не понимаю! Вот я еще полгода назад учил детей математике. Скажу честно, я ее, математику, сам не очень-то хорошо знаю. Но учил. И чувствовал себя прекрасно. Считал, что все делаю правильно. А теперь взял в руки автомат. И это тоже правильно? Ничего не понимаю...

В метре от меня, на раскладушке, лежал парень, весь в бинтах, только глаза и рот были открыты. Рот, наверно, для того, чтобы он мог беспрестанно говорить. Так они и трещали, бородач и забинтованный, — каждый о своем. Я от них совершенно очумел. Иногда, слава богу, они начинали слышать друг друга, и тогда их болтовня становилась более или менее похожей на диалог.

— Эх, бабу бы сейчас!.. — мечтал парень.

— И что бы ты, дурень, с ней делал? — смеялся бородач.

— Я бы ей сейчас вдул...

— Интересно было бы посмотреть...

В землянке было жарко, и мы обливались потом. В неподвижном душном воздухе застыли запахи скишей крови, мочи и плохих сигарет. Я никак не мог привыкнуть. Хотя и говорят, что человек перестает замечать зловоние уже через час.

— Вас-то каким ветром сюда занесло? — через минуту спросил еще один раненый, обращаясь ко мне. — Мечтали повоевать? Тут много полегло вашего брата, добровольца... Не знают, как автомат держать, а все туда же... Вам что, жить надоело?

— А вы почему?..

— Я местный. У меня... как в песне поется: враги сожгли родную хату, сгубили всю мою семью. У других тоже. А вы?

Я пожал правым плечом. Я и сам не знал, как ему ответить. Если каждому из нас оглянуться назад, то выяснится, что не так уж часто мы принимали взвешенные решения. Нередко мы руководствуемся порывом, первым побуждением, совершая либо глупые, либо героические, либо благородные, либо постыдные поступки. На этот раз я совершил... даже не знаю, как это назвать.

Ранило меня в первый же день. Осколком. Чуть-чуть бы правее и выше, и не видать мне родных молочных рек и столь же родных кисельных берегов. Но крови я потерял столько, что в ней, наверно, можно было бы утопить крысу. Я очень ослаб. Я был вроде пара над горшком. «Странно, что он не умер сразу», клянусь, я слышал, как кто-то сказал это обо мне.

Безволие охватило меня. Я был не прочь умереть. А что? Хоть сейчас. Ведь все равно все помрем. Какая разница, в конце концов, когда: годом раньше, годом позже...

...Человек думает по ночам. Днем ему не до этого. Если днем человек и думает о чем-то, то, как правило, он додумывает то, что глубоко и основательно не успел продумать ночью. Ночь пришла, я не мог уснуть, и я принялся думать. Кто я? Что я здесь делаю? Вернее, что здесь делает мое мно-

гострадальное тело, которому нет покоя от моего многострадального духа. Какого черта меня занесло туда, где стреляют в детей? Где оружия столько, что оно бесхозно валяется даже в огородах.

Зачем я приехал сюда? Чтобы умереть? Но я мог преспокойно умереть и в Москве, там даже лучше, поскольку можно умереть в более приспособленных для этого условиях. В комфортабельной палате с телевизором, холодильником, на функциональной койке с электроприводом. Под наблюдением высококвалифицированных специалистов. В окружении милостивых сестричек. Не смерть, а одно удовольствие! А тут какая-то мужеподобная тетка Маша в грязном халате и раненые, страдающие красноречием.

Черт бы подрал треклятого Полковника, благодаря которому из меня сейчас вытекала, капля по капле, благородная кровь потомственного интеллигента!

Кстати, забота тети Маши, этой толстой бабы в грязном халате, привела к тому, что я расплакался. Было это так. Мне вдруг нестерпимо захотелось жареной картошки. Можно же побаловать себя перед смертью!

— Размечтался! — захохотала тетя Маша, трясая животом. — Тут пугавой каши не сварить, а ты — картошки, да еще жареной! Здесь тебе не ресторан. Москвич он и есть москвич, одно слово...

В землянке никто не засмеялся. Видимо, все думали о картошке.

Тетя Маша куда-то ушла и вернулась под вечер. Как же упоительно пахла картошка, жаренная на сале с репчатым луком! Вот тогда-то я и прослезился. А тут она еще погладила меня шершавой ладонью по голове... У меня слезы ручьем. Глотая слезы, я думал: интересно, стали бы меня гладить по голове московские высококвалифицированные специалисты, даже если бы я умолял их, стоя на коленях?

...Я лежал на импровизированном смертном одре и смиренно приготавливал себя к последнему прости. Неожиданно меня посетило новое чувство, вернее охватила легкая тревога. Она росла-росла, и вот через полчаса я поймал себя на мысли, что меня уже не устраивала перспектива, — как еще совсем недавно: час или два назад, — безвольно отдаться в руки смерти. Меня уже не успокаивала мысль, что все люди рано или поздно помрут. Это чувство тревоги насторожило меня. Испарялась отрада — осознание того, что я в своем горе не одинок.

Животворное чувство эгоизма, подпираемое звериной ненавистью к остающимся в живых, вошло в меня под утро, после долгих часов раздумий и страданий. Это было ни с чем не сравнимое, всепобеждающее желание жить. Порыв был так силен, что к обеду мне совершенно расхотелось умирать. И когда меня вечером посадили, вернее, положили, в поезд, этот порыв обрел такие чудовищные, необозримые, все сметающие на своем пути формы, что я решил отпраздновать свое возвращение в мир живых людей исполнением старой боевой песни. Я так истошно ревел «вот кто-то с горочки спустился», что на следующей станции меня едва не ссадили с поезда.

...А в тот самый первый, окаянный день, вернее утро, с которого-то все и началось, группа бойцов выехала или, говоря военным языком, выдвинулась колонной в составе пяти или шести бронемашин в сторону реки Змиевки. Я ехал в головной машине. Мы уже спускались к реке, когда по колонне ударили гранатометы. Я еще успел подумать, что как-то все это не похоже на то, что наобещал мне Полковник. Я-то полагал, что буду следить за боевыми действиями из укрытия, из какого-нибудь безопасного места под названием «наблюдательный пункт», где обычно, я это знал по фильмам о войне, прячутся великие полководцы. Буду сидеть, думал я, рядом с генералами и в полевой десятикратный бинокль с безопасного расстояния наблюдать за перемещениями крупных воинских соединений на театре боевых действий.

На деле все оказалось куда страшней и гаже. Вот я, скрючившись в три погибели, сижу в какой-то машине, внешне и изнутри напоминающей гигантское корыто из кровельного железа, а по мне со всех сторон жарят из

всех видов огнестрельного оружия. Хотелось заорать: «Что же вы делаете, суки? Здесь же люди!»

Когда-то в детстве мне попала на глаза некая разухабистая книжонка, в которой описывался «театр военных действий». Я, двенадцатилетний мальчишка, начитавшись всей этой муры, представлял себе этот «театр» следующим образом: зрительных зал, погруженный в уютный полумрак, мягкие, обитые бордовым плюшем кресла, воздух, напоенный ароматами трубачного табака, шоколада и сладких женских духов. В ярчайшем свете юпитеров просцениум, а на нем — стройные фигуры офицеров в безукоризненных мундирах, с серебром эполет и золотом перевязей. Офицеры весело и беззаботно палят друг в друга из дедовских пушек каменными и чугунными ядрами, вернее разноцветными воздушными шариками. Белые дымы украшают всю эту рыцарственную прелесть, как игрушечные хлопушки украшают рождественскую елку. Спектакль окончен. Гремят аплодисменты. Занавес опускается. Затем вновь уходит вверх. Артисты выбегают к зрителю. Оказывается, все они живы. Взявшись за руки, недавние враги отвешивают залу аристократические поклоны. В какой-то мере это детское представление о театре военных действий я сохранил до седых волос. Оно благополучно дремало во мне до той поры, пока по мне не стали прямой наводкой гвоздить всамделишными снарядами.

Как ни странно, наши потери были невелики. Всего один убитый. И двое раненых. Среди них я.

Когда меня зацепило, на какое-то время я перестал осознанно воспринимать то, что разворачивалось прямо у меня перед глазами. Не от боли. Я вообще сначала не понял, что меня ранило. Я понял это тогда, когда шее и груди стало горячо от крови, которая вытекала из глубокой раны под подбородком. Вот тут-то у меня действительно помутилось сознание. Это слегка напоминало тяжелое опьянение, «балду» от паленой водки, руки и ноги налились свинцом и почти сразу перестали меня слушаться.

Какие-то люди несли меня. Вспоминается все это с трудом, фрагментарно. И непоследовательно. Я и сейчас не могу вспомнить, что было сначала, а что потом, — все смешалось: стук по броне, словно с небес на броню обрушился мешок картошки, омерзительный скрежет железа об железо, завывание дизеля на предельных оборотах, треск автоматных очередей, страшно свернутая набок голова убитого, черно-красная слизь вместо глаза, далекое небо в клочьях серых облаков, безвольное блаженство от потери крови...

Я трясся в вагоне, маясь на верхней полке, и мечтал выздороветь. Чтобы потом, набравшись сил, разыскать Полковника и набить ему морду.

Меня еще долго будет беспокоить мысль, что, вероятно, какая-то частица моего «я» осталась там, на той земле, политой и моей кровью. Много позже, уже в Москве, я временами видел самого себя, беспомощного, страдающего от боли, истекающего кровью, распростертого на койке там, в землянке; и мне казалось, что я вроде бы и здесь, в Москве, в уютной спальне на хрустящих простынях, под пуховым одеялом, и в то же время — там, лежу и пропадаю на койке с ржавой панцирной сеткой, на грязных матрацах, провонявших мочой и спекшейся кровью. Мне было жаль самого себя. Но не только. Я скорбел не только по самому себе. Я жалел тех, кто остался там. Мне казалось, что я их бросил.

Вот и вся моя война. Моя короткая война. Я был сыт ею по горло. Все-таки я не военный человек. И вряд ли когда-нибудь им стану.

Кровь омывает сердце. А сердце — это душа. Видно, там, в землянке, вместе с кровью из меня вытекла частичка моей бессмертной души.

Посреди ночи я проснулся. Потрескивали купейные переборки, скрипели койки, погромыхивали колеса на стыках, свистел ветер в вентиляции. А я

лежал и плакал теплыми слезами. Я никак не мог понять — почему я плачу. И только перед самой Москвой понял. Мне, как в детстве, вдруг захотелось, чтобы меня погладили по голове. Тетя Маша была далеко. Я понял, что все время неотступно думаю о Лене. Как было бы хорошо, если бы рядом оказалась Лена. Она сидела бы рядом и гладила по голове, по моей глупой, за неделю поседевшей, голове...

Глава 2

...Как известно, пользу извлекать надо из всего: даже из беды. И я пришел к выводу, что длительное лежание на больничной койке очень сильно влияет на мировоззрение, делая человека поневоле философом. Как маляра. Как пастуха. Как полотера. Как торговца семечками. Времени поразмышлять, понятное дело, у тех и у других предостаточно.

...В приемном покое Центральной московской городской больницы мне довольно долго пришлось дожидаться своей очереди.

Я сидел в коридоре рядом с каким-то мужчиной в застиранной больничной пижаме. От него несло перегаром. В коридоре мы были одни. Время было позднее — ни нянечек, ни уборщиц. Мужчина беспрестанно курил и мял лицо грязными пальцами.

Дверь в кабинет была открыта, и я видел врача в расстегнутом на груди халате, который «снимал показания» с полупьяного малорослого мужика без глаза. Вернее, глаз был, но находился он не там где ему положено, то есть на лице несчастного, а в его руке. Врач капризничал, и голос у него был высокий и неприятный.

Мужичок, отвечая на расспросы о месте жительства, годе рождения и прочей чепухе, держал ладонь с глазом лодочкой и прижимал ее к щеке, вероятно, в надежде, что врачи, когда у них появится время, око, выбитое в драке, вновь вмонтируют в глазницу.

Глаз, весь в крови, покоился на ладони и был связан с глазницей тонкой, похожей на ниточку, жилкой. Я вспомнил красно-черное кровавое месиво вместо глаза там, у реки Змиевки.

Мужичок смотрел на врача уцелевшим глазом и терпеливо отвечал на расспросы. Он слегка постанывал. Но не возмущался. Видно, привык.

Мне в голову пришла сумасшедшая мысль, а что если в выбитом глазе сохраняются остатки жизни, и мужик видит этим глазом?..

Врач продолжал расспрашивать. Голос его стал монотонным. Мне захотелось спать.

У моего соседа кончились сигареты. Я протянул ему пачку. Он снова закурил.

— Там, — мужчина глазами показал на одну из дверей, — спит Леха. Вечным сном. После работы вмазали по стакану какой-то дряни. Правда, он вмазал два. Меня-то откачали.... — мужчина опустил голову.

Я обернулся и в глубине ярко освещенной комнаты увидел каталку, а на ней тело, покрытое простыней. Из-под простыни выглядывала сиреневая пятка.

— Теперь мне каюк, — тусклым голосом сказал мужчина.

Я посмотрел на него.

— Срок мне светит, — он зябко повел плечами. — Я прораб. Леха — мой подчиненный. Распитие на рабочем месте со смертельным исходом... Я вчера клялся Светке, что завяжу! — мужчина застонал.

Наконец за одноглазым пришли. Когда его уводили, он продолжал держать левую руку у лица. Высокий, худосочный санитар поторавливал его:

— Перебирай ножонками-то, ну что ты, прям как не родной!

Я положил сигаретную пачку возле соседа и направился в кабинет.

Врач быстро заполнил мою карту. Велел ждать в коридоре. Я снова сел на свое место. Пачка сигарет исчезла. Вместе с ней исчез и прораб. Зато вернулся санитар.

Через минуту из темных глубин коридора выплыла широколицая женщина с папиросой в зубах и, ни слова не говоря, унесла мою одежду. Взамен я получил пижамную куртку, штаны с начесом, два разбитых ботинка без шнурков, пальто и лысую шапку с торчащими ушами.

Я кое-как втиснулся в «обнову». В башмаках не было стелек, и мне в подошву впивались острия сапожных гвоздей. Хромая на обе ноги, я повлекся за санитаром. Вспомнив осмысленные страдания Рахметова, я зашагал веселей.

Шапка не налезала, и я нес ее в руке.

В холле приемного покоя я задержался у зеркала. Я был похож на заключенного. Или на блудного сына из «Не ждали» Репина. Те же больные глаза фанатика и готовность к смерти. Шапка в руке наводила на мысль о подаянии. Я себе очень понравился. Никогда я не выглядел столь убедительно. Жаль, что меня не видят мои студенты, подумал я.

На улице было безумно холодно. У входа стояла потрепанная «Волга» без номеров. Крыша ее заиндевела. Окна были без стекол. Бородатый водитель, похожий на Деда Мороза, в тулупе и лохматой байкальской ушанке, угрюмо посмотрел на меня и сказал:

— Застудишь голову, чудик!

— Не лезет, — ответил я и повертел шапкой у него перед носом.

Он скривился и что-то пробормотал. Мне послышалось: «Не лезет... А с какой стати ей лезть-то?! Отрастят себе калганы, интеллигенты проклятые, вот шапки-то и не лезут...»

Мы с санитаром сели в машину. Санитар посмотрел на листок, пришпиленный к медицинской карте, и сказал Деду Морозу:

— В шестой корпус.

Мотор затарахтел, и мы поехали. По салону загулял ледяной ветер. Я сумел-таки нахлобучить шапку, и голове стало еще холодней.

В тот же вечер мне сделали операцию. Операция длилась часа два.

Уже ночью меня привезли из операционной и положили в коридоре. В палатах мест не было.

В метре от моей раскладушки стояла кровать, на которой тихо умирала какая-то женщина. Всю ночь она слабо стонала. А под утро затихла. Сестры, ожидая труповозку и о чем-то со смехом болтая, поставили ширму. Чтобы соседний больной, в данном случае я, мог без помех позавтракать. Приятная забота. Спасибо.

Ничуть не удивляясь своей невозмутимости, я съел тарелку каши, запив ее кружкой какой-то тепловатой гадости. Было бы, конечно, лучше, если бы мне подали не овсянку, а сочащийся соком антрекот по-бретонски или Киш лорен с яйцами, сливками, сыром и беконом. Но я был доволен и этим.

Меня не смущало, что рядом, почти на расстоянии вытянутой руки, лежало мертвое тело. Я был голоден, я был измотан болью, я только что вернулся с войны, и мне хотелось есть. Так ведут себя на передовой, в окопах. Мне рассказывали об этом. Вокруг грохочет канонада, а ты безучастно, как корова, жуешь хлеб своего однополчанина, убитого минуту назад и лежащего рядом. Я помнил страшную красно-черную слизь вместо глаза. Я помнил ночь, когда мечтал умереть. Но все это уже улеглось во мне, отдалилось куда-то. Осталось лишь безразличие к чужой смерти.

Умершую увезли, и ее место заняла говорливая старуха.

При ней находилась дочь, немолодая женщина с сильно выпирающим кадыком.

— Почему не приходит Вова? — спросила старуха.

Дочь молча поправляла подушку.

— Ты что, оглохла? Я спрашиваю, почему не приходит Вова? — закипая, повторила старуха.

— Ты же знаешь, Вова на работе, — кротко ответила дочь.

— А Толик? Толик-то где? Он ни разу меня не навестил!

— И не мудрено.

— Что ты хочешь этим сказать? — воскликнула старуха, приподнимаясь на кровати.

— Мама! Толик же умер десять лет назад!

Больная опустилась на подушки и прошептала, глядя в потолок:

— То-то я смотрю, его все нет и нет...

И спустя минуту, со злобой:

— А вообще-то мог бы и прийти, паршивец этакий!

Чуть позже появился Мишка Розенфельд. Он осмотрел мое временное пристанище и угрожающе засопел носом.

Особенно возмутила его моя раскладушка. Пружины отсутствовали, матрац провалился, и я практически лежал на полу.

Мишка приосанился и пошел разыскивать заведующего отделением.

— Ну, сейчас я ему, гаденышу, устрою веселую жизнь. Мерзавец! Держит больных, словно свиней...

Вернулся он минут через пятнадцать. Глаза его были подернуты влагой. Вид у него был мечтательный.

— Очень мила... — произнес он задумчиво, — очень!

Выяснилось, что отделением руководит женщина, причем женщина молодая и красивая.

— Высокий класс! Редчайший экземпляр! Бюст у нее изумительный... — Мишка подкатил глаза. — А взгляд такой, что я едва не кончил. Клянусь, если она еще раз на меня так посмотрит, я не удержусь и трахну ее, невзирая на присутствие медперсонала...

— Значит, ты договорился?

Он широко раскрыл глаза:

— Ты с ума сошел! Не мог же я, в самом деле, взгромоздиться на нее прямо в кабинете...

— У тебя одни бабы на уме! — зашипел я. — Я ж не об этом!..

Мишка хлопнул себя ладонью по лбу.

— Прости, прости, прости! Видишь ли, она говорит, что действительно мест в палатах сейчас нет. Но она божится, что при первой же возможности...

— Какая же ты скотина, Мишка!

— Ничего, потерпи, — успокоил он меня, — через пару дней я сумею добиться твоего перевода в Кремлевку, в Кунцево. Сразу не могу. Нужный человек отдыхает на Багамах.

Мишка не подвел: через два дня он позвонил и сказал, что обо всем договорился.

Но я гордо отказался, мотивировав свой отказ тем, что «я всегда должен быть со своим народом».

Мишка сказал, что я идиот.

Но я ни разу не пожалел о своем решении. В больнице я познакомился с чрезвычайно любопытными субъектами. Например, с усатым красавчиком, которому в драке откусили кончик носа. Звали усача Ашотом.

В челюстно-лицевом отделении Ашоту сделали пластическую операцию. Операция состояла из нескольких этапов. Сначала Ашоту отрезали лоскут кожи на животе и прижили его к локтю. Какое-то время бравый армянин ходил с прижатой к животу рукой. Это было неудобно, но терпимо.

Спустя неделю локоть с лоскутом кожи приторочили к носу. От этого голос красавца изменился и на время стал гнусавым. Руку же с помощью хитроумного приспособления под тупым углом закрепили над головой.

Ашот, весь забинтованный, с вытянутой как бы в нацистском приветствии рукой, выглядел комично. Мое знакомство с Ашотом состоялось тогда, когда он находился именно на этой стадии многоступенчатой операции.

В курилке Ашот охотно делился с нами своими воспоминаниями о драке. Речи его день ото дня становились красочней и экспрессивней. Вытянутая рука наводила на мысль о неотвратимости отмщения. При этом Ашот яростно ругал грузин. Оказывается, нос ему откусил уроженец Кутаиси.

— Все грузины сволочи, — безапелляционно заявлял Ашот, — все, все, все! Абсолютно все! Нэнавижу!!!

Я вспоминал добрейшего и благороднейшего Гурама Рыжемадзе, всю его замечательную и гостеприимную родню и недоверчиво пожимал плечами.

— Ну, не знаю... не могут же все грузины быть сволочами.

Ашот резко поворачивался ко мне и, сверкая черными глазами, возмущенно клокотал:

— Да? По-твоему, не могут?! А по-моему, могут и еще как могут! Посмотри, как они кусаются! — и он наклонял ко мне свое безносое лицо.

...Мишка навещал меня. Раз принес половину жареной курицы, которую я съел во время обеда.

Моя соседка по столу, древняя бабка Нюра, которой в потасовке муж, девяностолетний старик, ухватом сокрушил челюсть и у которой зубы после операции были намертво забраны проволоочной шиной, с ненавистью глядя на меня, шипела:

«Мне протертую кашу, а толстяку — курятину! Суки, суки, суки...»

Меня удивляло, почему от Полковника не было ни слуху ни духу. Почему меня не пристроили, как героически пострадавшего за свободу и демократию, в привилегированную клинику?

Через неделю меня на долечивание перевели в другое отделение. Поместили в палату, где уже лежал деревенский мужик лет пятидесяти, грубый, жадный, неотесанный. Мужикун предстояла операция на прямой кишке. Его раз в три дня навещала жена, молодая симпатичная бабешка, которая смотрела на мужа с обожанием и страхом. В Москву она приезжала на электричке, откуда-то из-под Шатуры.

Жена привозила ему еду. Чего там только не было! Домашняя колбаса, сало, куриные котлеты, пироги с рыбой, соленые огурцы, словом, все, что душа пожелает. И главное — водка. Он все это съедал и выпивал сам. Ни с кем не делился. Вообще-то делиться стоило, хотя бы из предосторожности: мужику все эти разносолы с его дырявой прямой кишкой были строго противопоказаны.

Мужик рассказывал, что изредка побивает жену.

— Чтобы уважала меня, — говорил он и почесывал толстый живот. После еды он размякал и становился разговорчивым. — Как-то просыпаюсь, а на лбу шишка. Здоровенная! Вроде спелой луковицы. Вспоминаю, что накануне перебрал с механиками. А вот как добрался до дому, хоть убей, не помню. Зову жену, спрашиваю: «Это ты меня, подлюга, вчера по лбу кочергой?» Божится, что нет. Ну, я на всякий случай ее взгрел. Чтоб не расслаблялась. Знаю я их. Бабью спуску давать нельзя...

— А может, не она? — высказал я предположение.

— Может, и не она, — апатично согласился он. — Но ничего. Бабам битье только на пользу. Ты лучше расскажи, как там... как эта операция, ну и все такое? Я слышал, очень больно.

Мужику кто-то сказал, что я профессор и доктор наук. А коли доктор да еще профессор — значит, должен знать все. Я его не разубеждал. К этому времени я настолько окреп, что не прочь был немного порезвиться.

— Да, больно. Это точно, — я с озабоченным видом кивнул головой. — Очень больно. Но самое страшное не это.

— Не это? А что?

— Пациентов надувают перед операцией, вот что. Вставляют в задницу насос и надувают.

Больные — народ особый. Банальный страх в больнице имеет обыкновение с легкостью превращаться в страх панический, в ужас. Напугать больного проще простого. Больные готовы поверить чему угодно. Тем более что мужик в больницу попал первый раз в жизни.

— Надувают? Это еще зачем?

— А чтоб дырки были видны. Чтоб потом их было удобней зашивать.

— Какие еще дырки? — мужик приподнялся на койке.

— У тебя что, геморрой?

— Да, вроде... — упавшим голосом сказал мужик.

— Вроде или точно?

— Да вроде точно...

— Ну, значит, у тебя там дырки. И их надо зашивать. И вот это самое тебя и ждет.

— Что — это самое?..

— А то самое. Ретроспектива прямой кишки. Это операция такая. Прямую кишку вытягивают, значит, вытягивают ее, подтаскивают к анальному отверстию, подцепив крючками, такими острыми, похожими на рыболовные...

— Как это?! — мужик широко раскрыл глаза.

— А так. Специальными крючками из анального отверстия...

— Из жопы, что ли?..

— Можно сказать и так, — неохотно согласился я.

— Врешь!

— Правду говорю! Значит, вытянут ее, кишку-то, из этой самой твоей, как ты очень тонко и точно подметил, жопы... вытащат на свет божий эту твою кишку, самую что ни на есть прямую, прямой которой не бывает ничего на свете, и надувают ее, мамочку, велосипедным насосом. Чтоб, значит, дырки обнаружились. И там, где шипит, тут же незамедлительно латают, то есть штопают швейной иглой. Как дырявый носок.

— А швейной-то зачем?

— Другие иглы не подходят: ломаются. В прямой кишке ведь очень крепкая слизистая. Ее ничем не возьмешь. Тут нужны особые, очень прочные иглы. Ну, ты сам посуди, это у младенцев там все нежное. А у взрослого мужика, вроде тебя, там же все твердеет от каждодневного стула, это же понятно. У тебя сколько раз в день бывает стул?

— Какой еще стул? — не понял мужик.

— Ну, ты сколько раз в день ходишь по большой нужде?

— Когда как. Ну, раза два-три...

— Ну вот, видишь, значит — в год больше двух тысяч раз. Тебе сколько лет? Пятьдесят? Ну вот, значит, умножаем две тысячи на пятьдесят, сколько получится?

Мужик почесал в затылке:

— А хрен его знает!

— А то и получится, что какаешь ты за свою жизнь двадцать миллионов раз...

— Ни фиги себе! — ахнул мужик.

— Ну вот, представь себе, разве выдержит какой-нибудь известный науке материал такое нечеловеческое напряжение?

— Да-а, вряд ли... — покачал головой мужик.

— Ну, вот видишь. А там, в попе то есть, тем временем все и твердеет... Кстати, иглы ломаются часто. Тогда их заменяют сапожными. Сапожные больше и прочнее... И длиннее!

— Шутишь!

— Стал бы я шутить такими вещами! Все бы ничего, да вот смертность уж больно высока, — добавил я как бы невзначай.

— Да ну? — побледнел мужик.

— Это статистика, — сказал я и вздохнул. — А со статистикой, брат, не поспоришь, она не врет.

— Мать честная!

— Да, выживает один из десяти.

— Как ты сказал?! Один из десяти?! — мужик с затравленным видом опустил на койку.

— Да и тому, кто выживет, не позавидуешь. Ведь он уже никогда не сможет какать, как нормальный человек. Да и как тут какать, если все заштукатурено, заштопано, посуды сам? Может, тебе и хочется покакать по-человечески, да как тут покакаешь, если все законопачено? Они же анальное отверстие, сволочи, намертво заштопывают, зашивают напрочь. Из соображений гигиены. Мне говорили, они у немцев научились. Которые эту гигиену и придумали. И после такой штопки больному что остается, спрашиваю я тебя? А то и остается, что какать через рот. Так все немцы делают.

— Етицкая сила! — он обхватил голову руками.

— Так что неизвестно, — продолжал я неумолимо, — что лучше — сразу помереть или какать ртом до самой смерти... Разве ж это жизнь! А все немцы проклятые!

— Огради мя, Господи, силою Честного и Животворящего Креста и сохрани от всякого зла... — запричитал мужик, падая на колени. Потом он опять забрался на койку и натянул на голову одеяло. — Нет, я им так просто не дам! Что это за порядки такие? Надувают, иглами... Гестаповцы! Первого же, кто подойдет, убью...

...Мужик совершенно потерял аппетит, ночь перед операцией провел без сна. А когда утром следующего дня пришли санитары, чтобы отвезти его в операционную, он ввязался с ними в драку... Он так бушевал, что пришлось вызывать дополнительный наряд санитаров. Еле его утихомирили.

История дошла до главврача, профессора Рыжих. Мужик поведал ему о своих страхах и о том, откуда эти страхи взялись. Главврач был не без юмора: хохотал, говорят, минут пятнадцать.

Кстати, коньком главврача, его, так сказать, истинной любовью, были певчие птицы. Говорят, он птиц любил больше, чем хирургию. Дома Рыжих держал несколько десятков клеток с птицами, которые пели на все лады днем и ночью. Жене все это осточертело, она пригрозила ему разводом, и пришлось переселять всех птиц в больницу. Все это случилось несколько лет назад, тоже зимой, в суровую январскую пору. Клетки развесили на лестничных площадках. Там были огромные трехстворчатые окна, днем их слегка приоткрывали, чтобы нежные певуны могли подышать свежим воздухом, а на ночь из-за сильных морозов закрывали.

Во время утреннего обхода главврачу сообщили, что накануне завхоз спьяну забыл закрыть окна. Рыжих был потрясен, он как раз находился в палате, в которой лежали двое «тяжелых» больных, прооперированных накануне и со страхом и надеждой ожидавших профессорского «приговора». И дождались...

«Никто не выживет! — выкрикнул Рыжих, глядя пустыми глазами на пациентов и думая о своих несчастных птичках. — Никто! Все перемрут!»

...Когда мужика выписали, на его место положили пожилого мужчину. Который оказался страстным любителем птиц, и не простым любителем, а дрессировщиком филинов.

Доложили главврачу. Рыжих в сопровождении свиты вошел в палату. Лавируя между койками, он сразу направился к любителю. Я стал свидетелем их разговора.

— Я слышал, вы дрессируете птиц. Но, насколько мне известно, филин не поддается дрессуре? — осторожно начал главврач.

— Еще как поддается! — заверил его дрессировщик. — Стоит только не лениться да беспрестанно, каждодневно муштровать его, то есть учить арапником.

— Арапником?! То есть — бить?.. Избивать птицу?! — опешил Рыжих.

— Не птицу, а филина! А вы что хотели? Правильного воспитания без этого не бывает. Я вот побился об заклад с покойным академиком Владимиром Евгеньевичем Флинтом, знаменитым орнитологом, что за полгода обучу своего филина Ваську выговаривать русские слова, и выиграл. Вот послушайте, как это было.

Главврач в растерянности присел рядом с койкой.

Дрессировщик приступил к рассказу:

— Флинт мне сказал: «Сов и филинов, сколько ни бей, невозможно заставить говорить ни по-русски, ни по-татарски. Это вам не попугаи и не вороны. Готов спорить на что угодно».

Поспорили мы с ним. Условия такие. В случае проигрыша я отдаю филина в орнитологический детский кружок при Академии наук. А если проигрывает Флинт — он ставит свой мерседес в мой гараж.

— Прощайтесь со своим филином! — смеялся академик. Он был так уверен в выигрыше, что с легкостью поставил на кон дорогой автомобиль.

Проходит полгода. Все эти полгода я полосовал Ваську так, что только перья летели. Странно, что он вообще выжил. Но своего добился: заговорил, сволочуга.

Зову Флинта. Усаживаю у телевизора. Рядом, на подлокотник кресла, сажаю Ваську. Предупреждаю академика:

— Берегите слуховой аппарат. Он говорит очень громко. Советую зажать уши.

Флинт только смеется и машет руками.

— Не тяните, начинайте ваш эксперимент.

— Хорошо же — мое дело предупредить.

Спрашиваю филина:

— Тебя зовут Васькой?

Филин отвечает, да так громко, что Флинт подпрыгивает на своем стуле.

— Угу!!!

— Любишь смотреть телевизор?

Васька еще громче:

— УГУ-У-У!

— Про любовь любишь?

— УГУ!!!!

Вот тут Флинт захохотал по-настоящему. Но мерседес не отдал. Сказал, что лексика у Васьки бедновата.

Рыжих внимательно и спокойно выслушал пациента. Губы его сжались. Глаза приобрели похоронный оттенок.

— Этого, — он указал лечащему врачу на страстного любителя птиц, — готовьте к выписке!

— Александр Наумович, — изумился подчиненный, — больной же только что к нам поступил!

— Я что, должен повторять?! — взвился Рыжих. — Готовьте этого симулянта к выписке!

— У больного подозрение на острый парапроктит!

— Плевать! — закричал главврач. — Чтобы через час духу его здесь не было!

Но вот больничные страсти позади, и я вновь на свободе!

Под нижней челюстью у меня теперь ровный беловатый шрам. Любопытным барышням поясняю, что шрам этот — след от удара палашом. И

с достоинством добавляю, что вернулся из Малогории, где проливал кровь за свободу и демократию. Мало того что никто не знает, что такое свобода, демократия и палаш, никто ни разу не спросил меня, что это за страна такая, Малогория, и какого лешего я там оказался.

Глава 3

У меня завелась еще одна любовница. Всегда в запасе должны находиться игроки дублирующего состава.

Я знаю себя. Знаю свои слабости. Одна из главных — стремительная, почти не поддающаяся анализу влюбчивость. Печальный опыт подсказывает, как мне надо себя вести, чтобы глубокое чувство не захватило меня целиком. Я поступаю следующим образом: я искусственно дроблю чувство на несколько неравных частей, распределяя его между несколькими жертвами. Именно поэтому я всегда держу в конюшне несколько лошадок. Да простит мне Господь сей циничный пассаж!

Уверен, это добавляет жизни остроту. Так сказать, перчику. И еще я всегда любил риск. Обожал с младых ногтей ходить по острию ножа. Временами я сам себе напоминаю разведчика, действующего в глубоком тылу противника: сколько себя помню, мне всегда приходилось врать, изворачиваться. А как же иначе? Кто не верит, пусть обзаведется парой-тройкой красивых молодых любовниц. Любая женщина требует к себе постоянного внимания. А если их несколько?..

Подчас игра в любовь с несколькими претендентками на мое сердце утомляла меня. Тогда я менял состав. И все начинал сызнова.

...Я позвонил Полковнику и попросил его поторопиться с паспортом, билетами и гостиницей.

— На очереди обещанные Альпы, — напомнил я.

— Я полагал, вы и думать о них забыли.

— Как видите, не забыл. Сейчас там как раз лыжный сезон.

— Неужели вы поедете один, без спутницы? Нужен же кто-то, кто ходил бы за вами с веником и совком...

Я задумался.

— Пожалуй, я знаю, кто готов разделить со мной тяготы курортной жизни.

— И кто же эта страдалница?

— Одна большая любительница рискованных анекдотов.

— Она уже знает об этом?

— Еще нет, но она согласится.

— Откуда такая уверенность?

— Мне кажется, она склонна к экстравагантным поступкам. И еще, по словам одного очень достойного человека, она исповедует широкие взгляды.

В считанные дни все устроилось, Полковник не подвел. Он заказал люкс в отеле, снабдил меня и мою подругу билетами, помог с визами.

Перед отъездом я с ним встретился.

— Мне чуть голову не снесло на этой вашей войне! — набросился я на него. — Я думал, это будет увеселительная прогулка, вроде катания на деревянной лошадке.

— Ну, знаете ли, нельзя же быть таким доверчивым! Это все-таки война. Театр военных действий...

— Никогда не говорите при мне про театр военных действий! — взревел я. — После ранения я не могу об этом слышать.

— Да что это с вами, Лев Николаевич?

— И вы еще удивляетесь?! Я полмесяца проторчал в вонючей больнице! Я спал с покойницами!

— Вот этого вам делать не следовало!

— Я мог умереть! И вообще я вас не понимаю! Подвергая меня опасности, вы очень рискуете: ведь не станет меня, не видать вам генеральской папахи, как своих ушей!

— Простите, Лев Николаевич. Ситуация неожиданно вышла из-под контроля. Скажу вам больше: вас ранило по ошибке. Вас вообще не должны были выводить на линию огня.

— А как же звание Героя России?

— Кому они нынче нужны, эти ваши герои... — вздохнул Полковник.

— Я что, напрасно проливал кровь?

— Нет, не напрасно! — с пафосом изрек Полковник. — Потому что уже подготовлен и, вероятней всего, подписан приказ о вашем назначении. На чрезвычайно высокую должность...

— Видели бы вы, — уже успокаиваясь, сказал я, — в каких нечеловеческих условиях я лежал! Вам что, трудно было поместить меня в ведомственную клинику? А вы даже пальцем не пошевелили, даже не навестили меня!

— Теперь все будет иначе. Вы пока поезжайте, отдохните, а мы тем временем... Ах, Альпы, Альпы, как я вам завидую... — и неожиданно Полковник с переливами и взвизгиванием запел тирольскую песню об альпийских горцах: — Холарио-хо-хо, холарио!

...Моей спутницей стала Саша, подружка Петьки, любительница рискованных анекдотов и дочь переводчицы Марселя Пруста. Почему не Лена?.. Ах, если бы я знал ответ...

Саша действительно исповедовала широкие взгляды. Согласилась она без раздумий.

— Альпы? И вы еще спрашиваете?!

Я не верил ни единому ее слову. Поэтому я следил за почтой, которая приходила на ее мобильник. По ее представлениям, я был сказочно богат. У нее наверняка был возлюбленный. Какой-нибудь Гена или Валера. Готовый на все ради любимой. А тут я с моими миллионами и Альпами.

...Когда утром мы спускались к завтраку, все живое поворачивалось в сторону Саши. Да, посмотреть было на что. Господь вложил фальшивую душу в прекрасный футляр. Саша была стройна, голову держала так, словно она прима-балерина и только ждет отмашки, чтобы выпорхнуть на сцену и отчебучить фуэте.

Гладкое лицо сияет юной прелестью. Большие прозрачные глаза смотрят на мир удивленно и слегка растерянно. Увы, прав старый циник Мишка: очень часто шлюхи выглядят свежее, чище и искренней трепетных тургеневских барышень. Вероятно, кто-то там, наверху, создавая такие чудеса, алогичные с точки зрения общепринятых представлений о морали и красоте, умышленно запутывает нас, дабы мы не очень-то расслаблялись, поэтизируя Женщину. Видно, те, кто пиялился во время завтрака на Сашу, об этом не подозревали.

У Саши было все, что должно быть у современной девушки. Молодое тело и опытность. Все это меня устраивало. Особенно — опытность.

После войны и больницы было приятно очутиться в атмосфере уюта, тепла и красоты.

На лыжах я не катался, и мы по целым дням бродили по Инсбруку, который можно было пронизать из конца в конец за полчаса, пили коктейли в барах и каждый раз обедали в новом ресторане. Я опять обрел уверенность в себе. А с ней вернулся и аппетит, верный спутник жизнелюба. Конечно, мне было далеко до знаменитых оптимистов прошлого. Но такие люди рождаются редко. Последний — Генри Миллер. Предпоследний — Рабле. Между ними — бескрайнее море пессимистов, в волнах которого тонут и никак не могут утонуть герои Свифта и Достоевского.

Как-то после сытного обеда, пребывая в благодушном настроении, я сказал Саше:

— Будешь паинькой, я вот возьму да и женюсь на тебе.

Она скривила губы в улыбке.

— Так я вам и поверила... Наверняка, вы женаты.

— Даже если бы это было так, это ничего бы не изменило. Для меня, если я принимаю какое-то решение, не существует никаких преград. И потом, мне можно иметь одновременно несколько жен: я ведь почти мусульманин, у меня кавказско-иберийские корни. По отцу я абрек. Однажды мне чуть было не сделали обрезание. Уже начали, да я вырвался... И рука мусульманского Шойхета соскользнула, и вместо члена меня полоснули по шее. Остался шрам. Вот, посмотри. Правда, красивый? Кстати, у нас на Востоке поощряется многоженство. Да, я был женат. И многократно. Но все мои жены были разбросаны во времени. Я женился на них по очереди. Так что, я перманентный многоженец.

— Как это?

— А так. Подходила очередь — я и женился. Да, кстати, почти все мои жены умерли. М-да, — я пожевал губами, — умерли, бедняжки.

— А от чего они умерли? Хочу знать, чего мне опасаться.

— Могу тебя успокоить: я не Рауль Синяя Борода. Не травил я их. Хотя кое-кого стоило бы...

— И все же?..

— Кто-то — от старости. Кто-то — от болезни. Кто-то — от вредности... Они умерли, а я пока, как видишь, жив. Такие вот дела. И если меня не укокошат в подворотне, я, глядишь, дотяну до Страшного суда. Кстати, ты знаешь, сколько мне лет?

— Догадываюсь.

— Мне сорок, и это, увы, немало. Тебя это не отпугивает?

— Теперь уже поздно что-либо менять, кроме того, возраст, это как раз то, что меня привлекло в вас больше всего.

— И мне понятно, почему! — торжественно воскликнул я. — Вот ты и проговорила, негодная! И ни слова больше! Конечно, ты все просчитала. Я на тебе женюсь, а ты с первого же дня начнешь подсыпать мне в борщ толченого стекла...

— Борщ? Я и готовить-то не умею.

— Зато наверняка умеешь толочь стекло. У тебя есть любовник, признавайся, чудовище?

Она откинулась в кресле и посмотрела на меня своими огромными глазами.

— У меня нет любовника. У меня есть поклонники.

— Значит, я тоже поклонник?

— Один из многих. Но если вы предложите мне выйти за вас замуж, я дам им отставку.

— Всем?

— Всем, всем, всем!

— Поклянись!

— Клянусь, — произнесла она торжественно и прижала руку к груди.

Я подозвал официанта и распорядился принести бутылку «Клико».

— Нашу помолвку надо обмыть... Кстати, мне и сорока-то нет, радость моя, мне лишь тридцать девять, — сказал я и искоса посмотрел на девушку. Саша мне нравилась. Как я уже говорил, она была красива. Но, к сожалению, не умна. А это особенно опасно. Недостаток ума женщины восполняют чем-то запутанным, лишенным смысла и логики, чем-то чисто женским. Именно это и составляет притягательную загадку для любого мужчины. Особенно умного. Кстати, удел умного мужчины — страдать от сумасшедшей любви к дуре. Достаточно вспомнить Пушкина.

Как только у меня в сердце зашевелилось что-то похожее на трепетное состояние влюбленности, я тотчас же одернул себя.

...Позже к нам присоединился некто. Наше знакомство ознаменовалось следующим диалогом.

— А вы, собственно, кто такой? — спросил я. К этому моменту я был уже слегка пьян.

— Я? — он усмехнулся. — Я-то ледоколостроитель. А вот вы кто?..

— В таком случае я кинофотофонодокументалист.

Мой новый знакомый был очарователен и чрезвычайно мил. Вылитый Джон Молдер-Браун: то же фальшивое благородство черт и юношеская андрогинная внешность.

Из ресторана мы вышли вместе: я, Саша и этот обаятельный ангел с подпаленными крыльями.

Я был пьян и пошел туда, куда вел меня ангел. Мы обогнули тянущееся нескончаемо долго здание отеля, подошли к смотровой площадке, нависшей над страшным обрывом. Луна, луна, яркая как солнце, заливала долину золотым светом. Саша была рядом, и я положил руку ей на плечо. Она прижалась ко мне. После всех передряг, крови и страданий было приятно вновь ощутить себя мотом и бонвиваном. Жизнь, легкая, как паутина, обволакивала меня.

И тут я увидел, что альпийские льды стали темнеть на глазах. Они стремительно таяли, потоки беснующийся воды с шумом хлынули с гор и стали заливать красивый город, спящий в долине. По поверхности забегали победоносные белые барашки-буруны... потом вода, журча, ушла под землю, город снова ожил, восстал, воссиял огнями отелей и... потом все исчезло... бесследно исчез и ангел, и я оказался в номере с Сашей...

...Утром Саша уговорила меня покорить один из несложных пешеходных маршрутов. И я, старый сердечник, астматик и гипертоник, штурмовал окаянную гору, на вершине которой, якобы, находилось некое туристическое чудо света. Скажу честно, гора мне не понравилась, она показалась мне выше Эвереста. Хорошо еще, что я догадался прихватить с собой фляжку с виски.

Доковыляв до середины, я решил сделать передышку. Отдуваясь, сел на скамейку. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Я дышал шумно и часто. Так, наверно, дышат моряки, вынырнувшие из тонущей подводной лодки. Сердце стало огромным, оно раздулось, как бычий пузырь, в который накачали болотную воду. Оно зажило самостоятельной жизнью, казалось, оно вытеснило из тела все остальные внутренние органы и, заполнив пространство под ребрами, заняло место печени, почек, селезенки и желудка. Спустя секунду ему этого показалось мало, и оно заполоскалось в голове, локтях, коленях и даже в гортани.

Подошла Саша. «Вы как?». В ее прекрасных глазах я прочитал не страдание, а вопрос: «Долго еще мы будем здесь торчать, и когда же ты, старый черт, наконец, снова сможешь тронуться в путь?».

Я хлебнул виски, и мне стало легче. Мы так и не узнали, что за чудо скрывалось на вершине горы.

...Скорее всего, думал я, появление красавчика-ледоколостроителя не случайно. Вообще случайности, я заметил, как-то очень быстро становятся закономерностями.

Был ли красавчик любовником Саши, лелеявшим некие коварные замыслы, или еще одним посланцем Полковника, мне было безразлично.

Кажется, я слишком много пью в последнее время. Я начал галлюцинировать. Этот город, залитый бурлящим потоком с гор, конечно, мне только привиделся. Пора взять паузу. Если не сделать этого, то можно доиграться до Кащенко. И мои миллионы, которые вот-вот улягутся на мой счет, станут

тратить кто-то другой. Может, стоит так и поступить? Ведь, по большому счету, я не знаю, что стану делать с такой пропастью денег.

Я валялся на диване в номере и читал. «Таскаясь поневоле по этим курортам, я всё более убеждался, как неудобно и скучно живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как несмелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те старые и молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут где придется, любуются видом моря с высоты гор, лежа на зеленой траве, ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, слышат ее песни, влюбляются в ее женщин». Это написал Чехов более ста лет назад. Мне кажется, с тех пор мало что изменилось. Отдых на курортах все тот же. Может, только немного прибавилось экзотики, вроде тайского массажа, да публика стала держать себя развязней. Курорты, как выяснилось, приедаются быстро.

Я перевернул одежду в чемодане, нашел на дне малюсенькую икону, с которой никогда не расстанусь, и, прижав ее к груди, прошлепал в ванную комнату.

Первым делом я повесил иконку на крючок рядом с полотенцами. Опустился на колени. Стоять на коленях было больно и холодно. С иконы на меня с отрешенным видом смотрел некий печальный святой. Я видел себя со стороны. Стоит на коленях немолодой уже человек и просит у святого совета, как ему жить дальше.

...В Москве, перед отъездом, я сфотографировался на заграничный паспорт.

Когда я увидел себя на биометрической фотографии, я обомлел. Я и не предполагал, что могу выглядеть столь омерзительно.

Рассматривая себя каждый день в ванной за бритьем и причесыванием, я приходил в умиление от ощущения своей неувыдаемой молодавости. Мне казалось, что за последние десять-пятнадцать лет я мало изменился, я был почти уверен, что в свои сорок выгляжу, как тридцатилетний.

А тут с фотографии на меня глянул дед лет под восемьдесят. Дед презрительно кривил губы. Глаза смотрели хмуро. Словно старик перед процедурой фотографирования два часа любовался видом дымящихся развалин.

Было ясно, что биометрический прибор колдовским образом высветил мой одряхлевший внутренний мир, а точнее — мою больную душу. То была фотография не лица, а страдающего сердца. Сделав это открытие, я успокоился.

...Стоя на коленях, я прочитал краткую молитву. Она вместила все, что я когда-то вычитал в Библии.

И тут-то я решил, наконец, заглянуть себе в душу по-настоящему.

Скажу честно, то, что я увидел, меня ужаснуло. Что там какая-то жалкая биометрическая фотография! Никакого сравнения!

Моя душа было похожа на облезлую обезьяну, с обреченным видом восседающую на горе из водочных бутылок.

Я никогда толком не знал, чего же я хочу. Хотя много раз терзал себя этим вопросом.

Но ведь должна же быть какая-то цель! Или она сама собой подразумевается? То есть коли на тебя обрушился денежный снегопад — то и цель достигнута. То есть деньги и есть цель. Конечная цель. А деньги — это и свобода, и исполненный глубокого смысла высокий каприз. Хотя, думается, в капризе никакого смысла нет и быть не может. Кажется, я запутал самого себя...

Пока я корпел над Формулой, я не задумывался над тем, что буду делать дальше — когда сумею завладеть несметным богатством. Мол, насыпьте мне гору денег, и я уж как-нибудь сам разберусь, как мне этой горой распорядиться.

Для кого-то, для прирожденных финансистов, например, умножение капитала, хитроумные денежные операции — это и есть жизнь. Их можно по-

нять. И им хорошо, светло и легко живется. Для них делание денег — такое же увлекательное занятие, как для других — игра на мандолине, собирание гербариев, коллекционирование любовниц, писание стихов, ваяние надгробий или открытие гениальных формул.

Но я же не таков. Я не знаю, зачем мне такая прорва денег. Может, неосознанная тяга к богатству — это отголоски безденежной юности, когда вопрос о том, где разжиться тремя рублями, равнялся вопросу «быть или не быть»?..

...Черная старуха с больными глазами как-то сама собой отодвинулась на второй план. Я все реже вспоминал о ней. А если и вспоминал, то без прежних, душу рвущих переживаний и угрызений совести.

Глава 4

Поскольку на лыжах я не катался, то все свое время делил между креслом у камина в холле отеля и редкими пешими прогулками. Моя спутница терпеливо сносила мои пресные развлечения.

Меня не покидало чувство, что за мной все время кто-то следит. Кто-то опять рылся в моих вещах. И было бы странно, если бы это было не так. Это мог быть кто угодно. В том числе ангелоподобный ледоколостроитель. Или Саша.

Я и не пытался угадать, кто же из туристического народца является сотрудником Полковника. В отеле толпилось столько разнообразной публики, что определить, кто искренний почитатель горного воздуха, а кто находится здесь по делам филерской службы, было невозможно.

К моему изумлению, юноша с ангельской внешностью не был порожден моим воображением, расшатанным от пьянства. Я его встретил в гостиничном ресторане, когда он выходил из него, а мы с Сашей направлялись туда завтракать. Он скользнул по мне коротким цепким взглядом и улыбнулся. Словно передал привет от Полковника.

...В то субботнее утро приехало особенно много любителей горных лыж. Ослепительное альпийское солнце заливало золотым светом долину и снеговые вершины.

Вниз, по склону, неслись изящные, ловкие фигурки тех, кого я вечером встречу в ресторане или в баре.

Я не собирался, подобно суворовским чудо-богатырям, обдирая задницу, героически съезжать по обледенелым горным склонам, мне нужно было просто куда-нибудь удрать, например, в Линц или Зальцбург. Или в Вену. И затеряться там. Мне хотелось на время исчезнуть. Я не намеревался исчезать окончательно. Мне хотелось знать, могу ли я это сделать без чьей-либо помощи.

Мне было уже понятно, что без Полковника и тех, кто за ним стоит, мне не обойтись. Я просто хотел знать, какая степень свободы мне отпущена. Мне вдруг захотелось поиграть с неведомыми игроками в кошки-мышки.

Опережая события, скажу, что все произошло иначе... Мне не понадобилось тайком исчезать из отеля.

— Девяносто четыре. Нет ничего отвратительней этой цифры. Впрочем, 95 ничем не лучше. Девяносто четыре — это мой возраст, — сказал старик.

Я сидел в глубоком кресле перед камином и, прихлебывая виски, слушал. Моим собеседником был Федор Гансович Крюгер, в прошлом то ли корректор, то ли редактор в каком-то московском издательстве. Он тоже прихлебывал что-то из стакана, набитого льдом. Последние пятнадцать лет Крюгер живет у сына в Кельне. И каждый год на неделю-две приезжает в Инсбрук.

— Вот уж не думал, что удастся доскрипеть до такой умопомрачительной цифры. Хотя, с другой стороны, это не так уж и много. Порой мне кажется, что сорок мне было вчера, а двадцать — позавчера. Все это так близко. Когда стукнет сто, а я чувствую, что способен одолеть этот немыслимый рубеж, я выброшусь из окна... Только бы достало сил добраться до подоконника...

Старик смеется.

— Я долго жил в коммуналке и прожил в ней... господи, сколько же я в ней прожил?... да, в Варсонофьевском переулке, в самом центре Москвы, на втором этаже, в комнате, окна которой выходят в этот переулок, так, стало быть, с 1954 года. Меня ведь, немца Поволжья, сослали в самом начале войны в Казахстан. Хорошо, что не шлепнули. А после смерти вождя я вернулся. Да, сразу вселили, как только приехал. Вселили без обычного в таких случаях предварительного проживания в общежитии. А все потому, что там, куда меня вызвали, попался дельный мужик, по фамилии Лурье.

Я уже перестал чему-либо удивляться. Я даже глазом не моргнул. Лурье так Лурье. Похоже, этих Лурье на свете как собак нерезаных. Или меня пугают Лурье, как когда-то в детстве пугали милиционером.

— Так вот, этот самый Лурье прописал меня, и я стал его соседом по коммуналке... — продолжал старик. — По квартире, по коридорам и местам общего пользования, по целым дням слонялся этот Лурье, шеголяя в исподнем, а точнее, в вигоневых офицерских подштанниках, еще дореволюционных, вернее, времен Гражданской войны... Лурье на полном серьезе утверждал, что именно эти кальсоны были на Василии Ивановиче Чапаеве, когда тот вплавь форсировал реку Урал. Как к Лурье попали кальсоны? А проще простого. На самом деле, говорил Лурье, Василий Иванович не утонул, а чудесным образом спасся, что соответствовало народной легенде, и, выбравшись на берег, поклялся ни в каких революциях более не участвовать, а остаток дней посвятить служению Бахусу. А кальсоны он потом в деревне обменял у лавочника, отца нынешнего обладателя кальсон, на пол-литра первача.

На яростные протесты женской части обитателей квартиры Лурье отвечал рассказом о происхождении кальсон, налегая на их славное революционное прошлое. И хотя Чапаева женщины чтили, но Лурье в подштанниках Чапаева чтить отказывались. В конце концов это привело к конфликту. Угадываете, чем он завершился?

— Выселили?

— В самую точку! В один прекрасный день явились люди в штатском и замели всех этих возмутительных дам вместе с их мужьями и детьми к чертовой матери! И стали мы там жить вдвоем. Кстати, в комнате Лурье стоял диковинный стул, вернее, полукресло старинной работы. Среди грубой фанерной мебели стул выглядел, как красавица в окружении замарашек. Витые ножки, изящный изгиб спинки... Это был стул из знаменитого романа Ильфа и Петрова. Прочитав роман, Лурье вооружился плоскогубцами и вскрыл обивку стула.

Старик замолк, уставившись на меня.

— Вы знаете, что он там обнаружил? — вдруг обратился он ко мне. — Вот, полюбуйтесь.

И Крюгер протянул мне конверт.

Я вскрыл его в своем номере.

«Привет тебе, приют священный! Лев Николаевич, дорогой! Я решил прибегнуть к такому не совсем обычному в наше время способу общения. По достоверным сведениям, вы «намылились» тайком отправиться в путешествие. Оставьте это! Вот-вот отдаст Богу душу отец вашего ближайшего друга. Похороны во вторник, в 14.00. На Востряковском кладбище.

Ваш покорный слуга, Сергей И.»

Опять шутки неугомонного Полковника!

Саше никто не звонил.

А вот мне позвонили. Сначала Соловей. Который сказал, что сам он, наконец-то, выписался из больницы, зато теперь в больницу угодил Мишкин отец.

— Знаю, — сказал я. Петька пропустил мои слова мимо ушей. Он вообще давно слышит только себя.

— ...Лев Самуилович приехал навестить Мишку. И вдруг заболел.

Петька замолчал.

— Ну? — подстегнул его я.

— Да помер он, — сказал Петька. — Мишка велел проинформировать тебя. Ты приедешь?

— Ты сам-то как?.. — спросил я.

— Ты про больницу? — Петька усмехнулся. — Пора было попугать издателей. Они на меня надели и все время давят. Вот я решил, что пора им показать, кто в доме хозяин. Обычный прием, тактический ход. В этом свином мире иначе нельзя. Они, когда узнали, что я слегка повредился умом, тут же, как миленькие, примчались в больницу с цветами и фруктами. И с новым договором.

— Когда похороны?

— Во вторник, в два часа, — сказал Соловей и еще, дуралей, уточнил: — в два часа дня. На Востряковском.

Я укладывал вещи в чемодан, когда позвонила Лена. Саша сидела за столиком перед зеркалом и «делала лицо», то есть «сурмила» брови и подводила глаза. Я заметил, что она сделала движение, словно собиралась подняться и выйти.

Я знаком велел ей оставаться на месте.

— Ты один? — спросила Лена.

— Ну, разумеется! — воскликнул я и посмотрел на Сашу. Она продолжала заниматься своим лицом, одним глазком поглядывая в телевизор. Транслировалась схватка из серии боев без правил. Атлет с мощнейшим торсом и красивыми рельефными мышцами наседали на неуклюжего толстяка с опущенным животом и почти женской грудью. Толстяк походил на беременную колхозницу. Было слышно, как толстяк тяжело дышит и кряхтит.

У Саши был отсутствующий вид. Такое бывает, когда женщина занимается сразу несколькими делами. Например, смотрит телевизор и делает вид, что не подслушивает разговор любовника с другой женщиной.

— Я соскучилась, — сказала Лена. Я услышал, как она вздохнула. — Хочешь, я познакомлю тебя с папой?

Папа не входил в мои планы. И потом — Саша! я же сделал ей предложение! Да и память о пяти женах делала свое черное дело.

Я посмотрел на экран. Беременный толстяк перешел к активной защите.

— Почему ты молчишь? — голос Лены стал напряженным.

— Ничего не выйдет... к сожалению, — сказал я, подпустив в голос грусти. И пояснил: — Я бы без колебаний согласился, если бы...

— Если бы — что?..

— Если бы не находился от тебя в трех тысячах километров и если бы...

— И если бы?..

— И если бы не пребывал в обществе молоденькой и очень хорошенькой... — я хотел сказать «шлюшки», но сказал совсем другое: — в обществе хорошенькой девушки, которая, кстати, шлет тебе пламенный привет... — Я посмотрел на Сашу, и та в знак согласия помахала в воздухе карандашиком для бровей.

Я опять перевел взгляд на экран телевизора. Красавец-атлет, безвольно раскинув руки, лежал на ринге, и на его животе, победительно улыбаясь, восседал боец с женской грудью.

— Даже если это и правда... Я тебя люблю, — услышал я. У меня на миг сжалось сердце.

Я посмотрел на Сашу и, погрозив ей пальцем, отдельно сказал в трубку: — Я тебя тоже.

Если честно, я не скучал без Лены.

Мне было приятно сознавать, что я не одинок, что где-то живет женщина, которая дорога мне и которой дорог я. Меня это грело. Но я умышленно сдерживал себя. Я был многоопытен. Я боялся самого себя. И мне не хотелось лишать ее и себя свободы. Лену стоило побереечь для любви, свободной от кастрюль, стиральной машины и пылесоса. Поэтому я не хотел сообщать ей о своем приезде.

Приеду, думал я, а там видно будет.

Глава 5

Только я поднялся к себе в квартиру, как раздался телефонный звонок. Звонила Регина. Отца Мишки, сказала она, будут хоронить по хасидскому обряду.

— Кажется, все сошли с ума, — сказал я упавшим голосом.

— Это точно, — охотно согласилась Регина. — Я сама еврейка. Но это не значит, что... — тут в мобильнике что-то щелкнуло, и разговор прервался.

...Перед отлетом в Москву, еще в отеле, я имел с Сашей серьезный разговор. Я сказал своей юной подруге, что мое обещание жениться на ней, увы, остается в силе. Она хмыкнула и сказала, что отказывает мне. У нее, оказывается, и без меня три жениха, один из которых дожидается ее в Канах, другой — в Тюмени, а третий — в Лозанне.

На мой вопрос, на ком она остановит свой выбор, Саша ответила, что пока еще не решила. Но, скорее всего, предпочтет тюменца.

— Весьма похвально! — одобрил я. — И патриотично.

— Дело не в этом. Просто у него... — начала она.

Я не дослушал, потому что заперся в ванной. Я не очень люблю перемещаться в пространстве по воздуху и перед полетом хотел под контрастным душем изгнать из себя хмель, который накопился за все эти дни, проведенные в барах и у гостиничного камина.

...На похороны я поехал с Соловьем, который по дороге принялся расспрашивать меня, не знаю ли я, как у евреев проходит процедура прощания с покойным.

— Насколько мне известно, — ответил я, — надо подчиняться тому, кто будет руководить похоронами.

Петька задумчиво кивнул головой.

На кладбище Соловья заметил пожилой бодрячок с красным лицом. Было видно, что перед похоронами бодрячок основательно нализался. Он все время вертелся, сутился, сверкал стеклами огромных очков, создавалось впечатление, что ему не терпится поучаствовать в похоронах. В то же время было заметно, что он привык повелевать. Я его узнал, это был профессор Сироткин, бывший главврач стоматологической поликлиники, давно эмигрировавший в Штаты.

Сироткин повел себя чрезвычайно решительно, громко заявив, что он почти раввин и что именно он будет следить за соблюдением процедуры похорон.

Кстати, Сироткин, приняв Соловья за правоверного еврея, заставил того бегать, подпрыгивать и приплясывать вокруг гроба вместе с другими евреями. Несколько раз Соловей пытался разорвать круг, но с обеих сторон его за руки держали два крепких хасида; напротив Соловья скакал такой же несчастный, сердито упирающийся усач, в котором я к великому своему изумлению узнал Гурама Рыжемадзе.

Накануне я нашел в интернете «Основы иудаизма» Давида Стейнберга. Вот что я там вычитал.

«На обратном пути с кладбища принято вырывать из земли пучки травы и бросать их через плечо, говоря: «Помнит Он, что прах мы» (Теилим 103:14). В этом заключен также намек на воскрешение мертвых, которое в книге Теилим сравнивается с картиной растущей травы.

При выходе с кладбища выполняют долг утешения скорбящих: все мужчины, присутствовавшие на похоронах, встают в два ряда, а мужчины, которые обязаны соблюдать траур по умершему, сняв обувь, проходят между ними. Их провожают словами традиционного утешения: «Всевышний утешит вас вместе со всеми, кто скорбит о Сионе и Иерусалиме.

Перед уходом с могилы принято класть на нее камень, взятый недалеко от могилы. При этом произносят: «Помни, что мы прах».

Ничего этого на кладбище я не увидел. А вот пляску-хоровод вокруг покойника видел. Клянусь! И еще, напившийся до изумления Мишка поднял с земли какой-то неказистый камушек размером с наперсток и положил его на могильный холмик.

Как мне стало известно позже, большинство прибывших на кладбище были бывшими коллегами покойного. Это были те, постаревшие на тридцать лет, развеселые дантисты, верные adeпты радикальной стоматологии, бывшие коллеги Сироткина и отца Мишки. Они приехали из своего далекого далека, оторвавшись от своих семей, просторных домов на Манхеттене, собак, кошек и прочей прелести. Они никогда не знали обычаев предков. Они все перепутали и сделали из серьезных похорон театрализованное представление. «Такие вот мы евреи», — стыдливо-весело сказал один из них.

Кстати, во время этой странноватой траурной церемонии я оказался рядом с Мишкиной женой.

Тихим голосом я выразил ей сочувствие.

— Да пошел ты... — так же тихо сказала она.

Ах, грешен, я грешен! Да простит меня Мишка и его Еврейский Бог...

Много лет назад мы с Региной поддались минутной слабости. Мишка об этом, слава Богу, не догадывался.

Не согрешить я не мог. Инициатива исходила от Регины.

Я даже увлекся. Глядя в ее бархатные манящие глаза, я понимал, почему ее любили мужчины.

За те четверть часа, что ехали с кладбища, Мишка успел восстановиться, регенерироваться, и когда все поднялись к нему в квартиру, он был уже трезв как стеклышко.

Помню его речь на поминках. Мишка стоял со стаканом в руке и сурово поглядывал на гостей.

— Умирает человек, — начал он. — Человек, так сказать, выпадает из ячейки жизни. Но он не исчезает, он перетекает в ячейку воспоминаний, очищаясь от того дурного, что уродовало его тогда, когда он был жив, — Мишка многозначительно поднял указательный палец.

Гости переглянулись. Они еще не сталкивались с подобными поминальными спичами.

— Человек, живущий в наших воспоминаниях, — продолжал Мишка, — куда лучше, добрее, щедрее и умнее своего реального собрата. Смерть облагораживает, смерть превращает покойника в идеальное существо.

Мишка сделал короткую паузу.

— Вы только послушайте, что говорят на похоронах и поминках! Вспомним, как хоронили дантиста Баранова, свирепого пропойцу, избивавшего жену поленом. Сколько славословий, сколько восторженных од, сколько было пролито слез! — постепенно воодушевляясь, кричал Мишка. — Словно помер не заурядный зубодер, а президент Академии медицинских наук. Даже для отпетого негодяя у нас всегда найдется пара проникновенных слов. Этим я вовсе не хочу сказать, что мой отец был негодяем...

Мишка опять на минуту замолк.

— Нет, он не был негодяем! — вдруг взревел он. — Но не был он и святым. Почему я так говорю о человеке, которого всегда любил и почитал? А потому, что людей после похорон так и тянет пофилософствовать на тему о Добре и Зле. А уж если разговор ведется под водку с хорошо подобранной закуской, тут уж наша фантазия работает как заведенная! Что я, не прав, что ли?

Проголодавшиеся гости благоразумно хранили молчание: они опустили глаза в тарелки, в которых уже покоились кружочки венгерского салями, влажные ломтики бледно-розовой лососины и горбился миниатюрный холмик из неизменного «оливье», а рядом возлежало еще что-то, невероятно аппетитное, что вызывало томное головокружение и урчание в животах, которое только и нарушало тишину. Мишка удовлетворенно крикнул и продолжил:

— Появление благородных великомучеников с безупречной биографией и канонических святых с их фантастическими цирковыми номерами, вроде скармливания сотням голодных ртов одной единственной буханки черствого хлеба или беззаботного перемещения по водам без помощи надувных матрацев, — это прямое следствие проделок мудрой старушки с косой. Смерть воздействует на сознание оставшихся в живых куда сильнее страстных проповедей миссионеров и сладеньких речей агентов по продаже Торы.

Мишка выпил. Потом налил еще и продолжил:

— Дорогие близкие и друзья покойного! К вам обращаюсь я! Сегодня мы предали земле бранные останки моего высокочтимого отца. Который не верил ни в Бога, ни в черта. Пусть земля будет пухом человеку, который всю жизнь не давал никому покоя. И — особенно мне! Аминь! А теперь, гости дорогие, помянем и дружно навалимся на закуску. Ибо обряд похорон по-еврейски закончился на кладбище, а поминки, к вашему удовольствию, будут проходить по-московски. А именно: широко, по-нашему, по-русски, с песнями, плясками, анекдотами и дракой... Поверьте, отец не осудил бы нас за это. Только прошу обойтись без битья зеркал! Это все-таки поминки, а не свадьба!

Через полчаса Мишка опять надрался и теперь уже окончательно. Перед этим он успел, отведя меня сторону, шепнуть:

— Говорят, отца убили. Отравили, суки. Это я узнал точно. Вскрытие показало, — Мишка взял меня за плечо и больно сжал. — Это все из-за твоего золота... Впрочем, я тебя не виню, ты не виноват... Это все я. Я ведь с его помощью продал... эти слитки, будь они прокляты! Кстати, я ведь на тебе наварил, если честно. Кстати, — спросил Мишка деловито, — надеюсь, это не все слитки? У тебя ведь еще есть, я знаю, не ври. И, чувствую, много. Мне деньги нужны позарез! Существует еще один канал, — Мишка еще понизил голос, — через Сироткина. Я с ним уже говорил. Он даст хорошую цену. Надо бы посоветовать ему запастись противоядием, — Мишки хихикнул.

Я вызвал такси и поехал домой. Но сначала я позвонил Лене...

С Леной у меня состоялся презабавный разговор.

— Почему ты не сказала, что ты патологоанатом?

— А что, быть патологом — преступление? Мне и в голову не приходило стыдиться!

— Нет, но ты же потрошишь людей! Скажи честно, тебе нравится орудовать пилой и скальпелем?

— Именно поэтому я тебе ничего и не говорила. Я боялась...

— Потерять меня?

— Да.

Ответом я был полностью удовлетворен. Но мне показалось, что она обиделась. Ну и пусть — не надо было выбирать профессию, от которой все шарахаются.

— Господи, у тебя такой папа! — сказал я. — Ну, почему ты не выучилась на экскурсовода? Водила бы немцев по залам музея и рассказывала бы, каким негодяем был их Фридрих Барбаросса...

А так, — хотел я добавить, — я каждый раз в самые, так сказать, патетические мгновения вспоминаю, что эти нежные руки, которые ласкают меня... Это кого угодно может свести с ума!

Но у меня, слава богу, хватило ума воздержаться от этих слов.

Вместо этого я спросил:

— Меня давно интересовало, как становятся патологоанатомами. Неужели мечтают об этом с детства? Или приходят к такому диковинному решению после долгих и мучительных раздумий в нежном детском возрасте? Легко понять восторженного отрока, который горит желанием стать знаменитым писателем, путешественником или спортсменом. Труднее понять того, кто жаждет порыться в содержимом желудка трупа. Профессия, бесспорно, полезная, нужная, но мечтать о скальпеле или прозекторской ножовке для пилки человеческих ребер...

— Только не смейся. Я этого еще никому не говорила. Да, у меня была мечта. Как у каждого. Мне всегда казалось, что люди никогда не бывают до конца откровенны. Они или врут, или недоговаривают. И еще в детстве...

— Только не говори, — перебил я, — что, вскрыв грудную клетку и пощупав сердце, ты верила, что все увидишь и все поймешь.

Лена очень серьезно посмотрела на меня.

— Да, верила, — сказала она и, помедлив, добавила: — и я не ошиблась... Попытки создания теоретической патологии, то есть путем мысленного эксперимента проникнуть в сущность...

— Довольно! — закричал я. — В моем институте работает некий умелец, профессор Ниссельсон, так вот, он может, используя теорию мысленного эксперимента, мысленно построить в голове сталеплавильный завод и мысленно запустить его! Но чтобы докопаться до души человека, надо быть не патологом, а Львом Толстым или Достоевским!

Когда Соловей бывал свободен от супружеских обязанностей, то есть когда он в очередной раз бывал в разводе, он очень любил пошалить. Мы с ним обменивались любовницами. Конечно, это не были любовницы в прямом смысле этого слова. Как правило, это были искательницы мимолетных приключений, ветреные особы, не обремененные грузом моральных принципов. В этом они очень походили на нас. От нас они отличались лишь тем, что носили юбки.

Вообще, у Соловья любовницы не переводились.

Но ему этого показалось мало, и Соловей решил завести себе приятеля. Нежная дружба с молодым человеком, носившим претенциозное имя Бернардо, сопровождалась неизменными в таких случаях толками. Даже мы с Мишкой заподозрили Петьку в нетрадиционных сексуальных пристрастиях. Вероятно, думали мы, Петьке все приелось, и он решил покуролесить, испытав себя в новой ипостаси.

Мы не скрыли своих подозрений от Соловья. Соловей на наши подозрения никак не отреагировал.

Я сказал ему, что подтверждаю свою готовность обмениваться с ним перманентными предметами обожания, но лишь при условии, что эти предметы ходят на высоких каблуках и пудрят носики.

Соловей только похохатывал.

Как-то он зазвал нас к себе на дачу в Перхушково. Был теплый летний вечер. Мы сидели на веранде, пили водку и воевали с комарами.

Как все писатели, Соловей любит пофилософствовать. Вот и на этот раз...

— Представьте себе, идиоты, 1912 год. Лето. Ялта. Белоснежные пароходы. Ослепительное небо. Чайки. Девушки и молодые дамы с зонтиками, в длинных светло-розовых платьях. Поручики, молодые преуспевающие врачи, адвокаты... Атмосфера влюбленности и захватывающей дух надежды.

А не за горами страшная осень, кровь, расстрелы, страдания, резня, погомы, террор, голод...

А пока — умиротворяющая тишина, покой, жара, лень... К чему это? Те люди, о которых я говорю, все эти чеховские девушки, эти поручики с бархатными глазами... они как бы путешествуют во времени, перетекая в тех, кто живет сейчас и будет жить завтра. Все мы живем неотрывно от процесса, называемого историей. Мы забываем, что история не делится на периоды. Это деление придумали всякие идиоты, вроде вас. А история длится и длится... Надо все время держать эту мысль под прицелом.

Мишка сочувственно вздохнул. Он, несмотря на всю прозаичность своей стоматологической натуры, был романтиком.

— Не идиоты делят жизнь на периоды, — согласился он. — Сама жизнь делит. Вот ты подохнешь, вот тебе и конец периода... А вообще все, что вокруг нас, это квинтэссенция абсурда... и я привык жить в абсурде. Мне нравится жить в абсурде, — с вызовом сказал Мишка, — я понял одно: для человека трагедия абсурда заключается не в отсутствии какого-либо — пусть искусственного — порядка или высокого закона, а в невозможности постичь закономерности абсурда. Не стоит искать порядка там, где его не может и не должно быть. Ты прав, вокруг нас сплошной абсурд. Вот в природе абсурда нет. В природе все закономерно. Флора и фауна живут устоявшейся за миллиарды лет жизнью. Выживает тот, кто приспособился лучше других. В природе все расписано до мелочей. Этому не могут помешать даже наводнения, землетрясения и прочие катаклизмы. Человек же, развиваясь и совершенствуясь, сам себе, на свою же голову, обрушивает уйму проблем. Которые потом пытается решить с помощью науки или религии.

Я подливал себе водки и помалкивал.

— Хотя ты и стоматолог, но голова у тебя варит что надо, — одобрил Петька. — А теперь о том, ради чего я вас пригласил. Вот вы заподозрили, что я гей. Скажу вам вот что. Я очень терпимо отношусь к голубым. А моя дружба с Бернардо, которого на самом деле зовут иначе...

— Какой еще такой Бернардо? — спросил Мишка.

— Его настоящее имя Савелий, — пояснил Соловей. — Он мой негр. Очень талантливый парень. Родился под Торжком. В каком-то селе...

— Понятно, — произнес Мишка и кивнул головой, — сельскохозяйственный талантливый негр из-под Торжка. Цвета-то он какого, этот твой негр?

— Нормального. И учти, моя дружба с ним не имеет никакого сексуального подтекста. Это скорее не дружба, а меркантильно-творческий пакт. Бернардо мой официальный литературный негр. Так все сейчас делают. Я его кормлю, покупаю одежду, оберегаю от дурных влияний. Я даже знакомлю его с девушками... которые меня подло бросили. Раньше я делился ими с вами. Но вы же неблагодарные твари! Я решил, что и так сделал для вас слишком много. Чтоб вы знали, Бернардо прежде был чуть ли не алкоголиком, пил всякую мерзость, вроде портвейна, и даже кололся... Теперь он не колется и почти не пьет, а если и пьет, то только высококачественные напит-

ки. С моей помощью он начал новую жизнь, свободную от пороков. Кроме того, на нем, на моем негре, я отрабатываю некоторые не совсем оригинальные литературные приемы.

— Какие, например?

— Он пишет, я рукой мастера привожу его опусы в порядок...

— И где ты содержишь своего негра?

— Нигде я его не содержу. Он свободен как птица. И он сейчас подлетит.

И действительно, спустя минуту появился атлетически сложенный негр...

Загадочная личность все-таки, этот наш Соловей!

Глава 6

— Выражаясь шахматным языком, мы с вами одновременно находимся и в цейтноте, и в цугцванге. У нас мало времени, и любой неосторожный шаг ведет к ухудшению позиции. Итак, коли ваше решение покорить государственные пики нерушимо, — втолковывал мне Полковник, — вам нужно как можно скорее определиться с вашей внешностью. У вас лицо поношенного интеллигента, а там, наверху, где принято распоряжаться судьбами граждан без ведома самих граждан, в ходу рожи попроще. Вашему лицу не хватает... фальшивой озабоченности. Потренируйтесь перед зеркалом. Несколько сеансов, и вы себя не узнаете.

Я пожал плечами. Нет нужды описывать внешность типового политического деятеля. Они, эти осовремененные Ляпкины-Тяпкины, нам всем хорошо известны. Мне кажется, почти у всех, попавших на самый верх, лица общего выраженья. Они похожи друг на друга, как однояйцовые близнецы. Причем, походят они не только на коллег, но и на своих предшественников. Нынешние функционеры, какой бы идеологии они ни придерживались, поведением и внешним видом напоминают мне брежневских и хрущевских функционеров. А те в свою очередь — гоголевских провинциальных чиновников.

И вот что примечательно. Чиновник, даже если он бывший завлаб или преподаватель, взлезши на вершину государственного утеса, тут же превращается в чиновную харю. Уголки губ презрительно опускаются, глаза леденеют, увеличиваются уши, за счет напряжения морщин сокращается лоб, щеки наливаются сановной одутловатостью.

...Итак, чтобы незаметно проскочить в государственные деятели, надо было менять внешность. Кстати, актеры говорят, что изменение внешности влияет на поведение. И, как следствие, на внутренний мир человека.

Подписовал микроскопические усики, нацепил пенсне, нахлобучил на голову шляпу «борсалино», — и ты духовно преобразился, в мгновение ока превратившись в Лаврентия Берию.

Облачился в лохмотья, изобразил на лице наивное страдание, порожденное благоприобретенным идиотизмом, — и ты мхатовский король Лир.

Но — не переборщить! Существует опасность переиграть, то есть так ввинтиться в роль, так увлечься, что действительно в одночасье превратиться в какого-нибудь ходульного политического Держиморду.

Мне необходимо было войти в роль остороженько. Оставляя про запас неповторимость и своеобразие своего таинственного и независимого «я».

Я уже примерно представлял себе, что это будет за роль. Это будет роль справедливого царя. Вроде правителя древних Афин Писистрата, который, узурпировав власть и став тираном-демократом, руководил афинянами удивительно мягко и мудро.

Этакий корректный и обходительный тиран. Тиран на современный манер. Который тиранствует не по велению своего преступного естества, а в интересах широких народных масс. Который казнит истинных врагов наро-

да и милует случайно оступившихся. Вроде Ивана Грозного в самом начале его в общем-то достаточно сурового царствования. Иначе в России нельзя. И она, эта роль, должна будет пропитать мое сердце новой кровью, как бы перетечь в меня: так, помнится, учил великий Станиславский, который был уверен, что актер должен играть так, словно он проживает на сцене реальную жизнь.

«Мою жизнь в искусстве» Станиславского я позаимствовал у Петьки.

На протяжении двух вечеров я внимательно изучал сей специальный труд, и, изрядно намучившись, наконец, нашел то, что искал.

«Основной принцип игры актёра — правда переживаний. Актёр должен переживать то, что происходит с персонажем. Эмоции, испытываемые актёром, должны быть подлинными, настоящими. Актёр должен верить в «правду» того, что он делает. Актёр не должен изображать что-то, он должен проживать на сцене что-то. Если актёр сможет что-то прожить, максимально в это поверив, он сможет максимально правильно сыграть роль. То, что он будет играть, будет максимально приближено к реальности, и зритель этому поверит». Станиславский писал по этому поводу: «Каждый момент вашего пребывания на сцене должен быть санкционирован верой в правду переживаемого чувства и в правду производимых действий».

Если я постигну всю эту кабалистическую премудрость, и мне удастся воплотить ее в жизнь, меня ждет несомненный успех. Правда, искренних и восторженных оваций я, скорее всего, не дождусь, зато у меня появится шанс занять сносное место в истории.

Я стану персонажем, надену маску на свою бессмертную душу и сыграю в нечистую игру под названием «Российский политический и государственный деятель начала XXI века». Только так мне удастся сохранить свою мытую-перемытую совесть в относительной чистоте.

Правда, сразу в моей башке зароились сомнения. Так уж устроен человек моего времени — он во всем сомневается. Я не исключение.

Ведь в Системе Станиславского не все мне подходит. Существовала серьезная опасность перестараться в стремлении слиться с персонажем. То есть переиграть. И в результате самому превратиться в персонажа. С интеллигентами такое случается сплошь и рядом. Достаточно вспомнить некоторых бывших интеллектуалов, сидящих ныне в Госдуме.

Я подошел к зеркалу. Присмотрелся к себе. Полковник говорил о фальшивой озабоченности. Ну что ж, надо нагрузить себя воспоминаниями о чем-то, что бы меня угнетало. Пока я подыскивал подходящий пример, я продолжал разглядывать свое лицо. И тут я уловил нечто новое. Оказывается, достаточно было только подумать о чем-то неприятном, как выражение лица изменилось. Я стал походить на игрушечного хищника, эдакого анимационного крокодила, который с доброй улыбкой поедает и правых, (пропущена запятая) и виноватых.

Именно это мне и было нужно.

Глава 7

...Вскоре события начали разворачиваться с умопомрачительной быстротой. Даже я, привыкший многому не удивляться, был ошеломлен тем, насколько стремительно и непредсказуемо одно событие «наезжало» на другое.

В «сжатые сроки» открылся и заработал Центр в Подольске, возглавил его Гурам. Который тут же купил жене новый «Майбах». Заместителем к нему я поставил Севу Долгополова. Они быстро нашли общий язык. Золото производилось в перепрофилированном цехе подольского завода цветных металлов. Все осуществлялось под моим контролем и в строжайшей тайне.

В Центр я наезжал дважды в неделю. Из аппаратной изгонялся персонал, и я оставался один на один с пультом. Умри я сегодня, завтра все вста-

нет. Финальная партитура была известна только одному мне. Я помнил наказ Лени Шихмана. «Надо всегда иметь оселок, на котором все держится». Таким оселком стала завершающая стадия процесса. Чтобы никто, никакая злокозненная личность или группа злокозненных личностей не могла отстранить меня от дела и завладеть полной технологией получения золота, я искусственно разбил все производство на три этапа. Два человека, Гурам и Сева, владели секретом первого и второго этапов. И только один человек знал полностью весь процесс от начала до конца: только я один мог нанести, фигурально выражаясь, последний удар кистью, то есть — набрать некую цифровую комбинацию, после которой происходило чудо рождения золота. Этот хитрый ход некогда изобрели недоверчивые производители «Кока-колы».

Я стал богатым. То есть не то чтобы очень уж богатым, но деньги я стал тратить не считая. Очень приятное ощущение.

Я «вошел» во власть. Стал членом Координационного Совета при Президенте.

Меня ввели в правление нескольких банков, а также в общественный совет одного силового министерства. На короткое время мне показалось, что я оказываю влияние на происходящие вокруг меня события.

Была создана государственная корпорация, во главе которой поставили меня. Моя зарплата, как мне стало позднее известно, почти сравнялась с зарплатой президента ОАО «РЖД». Поэтому уже через месяц я стал долларовым миллионером. От всего этого у меня слегка кружилась голова.

Я подчинялся напрямую премьеру. У меня был огромный кабинет, украшенный десятками полотен неизвестных азиатских художников. В стену был вделан аквариум, в котором плескались морские коньки и лениво шевелили плавниками золотые рыбки. Кабинет напоминал недорогой китайский ресторан. Из окна кабинета я мог лицезреть серые крыши старой Москвы, а над ними, очень-очень далеко, — отливающий золотом флажок Петровской башни Кремля.

У меня было восемь заместителей, четыре секретарши, штат советников, переводчиков и референтов. Нашлось место Полковнику и Коле Чертилину: они обосновались в Секретной части Секретариата Корпорации, то есть, по сути, возглавили Первый отдел.

В гараже стояли наготове два бронированных лимузина с мигалками. По коридорам и лестницам с деловитым видом сновали многочисленные «белые воротнички» — по большей части молодые сотрудники, которые всегда подчеркнуто уважительно со мной раскланивались. По целым дням я пропадаю на заседаниях разных уровней, мои референты деликатно подсказывали, по каким предложениям мне нужно тянуть руку вверх, а по каким — воздерживаться. Несколько раз мне пришлось выступать на расширенных совещаниях с докладами по проблемам, которые звучали очень громко, но которые, как все понимали, никто не собирался решать ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе. Материалы к докладам готовили, разумеется, мои помощники.

Я невольно оказался вовлеченным в некое мощное движение в малопонятном направлении. Я плыл по течению.

С полной нагрузкой работал секретный цех подольского завода цветных металлов. Золото текло рекой. Я получал свою долю. Но куда текло все остальное, я понять не мог. Я попытался пробиться на прием к Первому Лицу, но мне вежливо указали на дверь: Президенту не до меня, у него масса проблем иного характера. Сложная международная обстановка и все такое. Тогда я попытался завладеть вниманием Премьера. Он ловко переадресовал меня к министру финансов. Потянулись долгие недели ожидания. То министр был в загранкомандировке, то в больнице, то еще где-то. Наконец, его вообще сняли. Новым министром стал его заместитель, человек с неуловимыми глазами.

Беседа с ним началась с того, что он предложил мне кофе и сигары. Тут без стука вошел его помощник, который вызвал министра из кабинета. Министр извинился, сказав, что через мгновение вернется. Надо ли говорить, что он исчез, причем исчез не один, а вместе со своим помощником. Протянув понапрасну два часа, я отправился восвояси.

Я заметил, как изменилось мое отношение практически ко всему. Деньги повлияли на меня. Они не могли не повлиять. Когда ты знаешь, что можешь купить почти все, что пожелаешь, душу охватывает ощущение сладостного покоя. Ты осознаешь, что в мире нет ничего важнее денег. Басни про рай в шалаше — это для идиотов. Я не отрицаю, что и в шалаше можно хорошо расположиться, если достанет денег хорошо его обустроить. И все же рай в шалаше тогда хорош, когда знаешь, что проведешь в нем лишь ночь. И еще, я понял, самое дорогое, что у меня есть, — это я сам. Все остальное — лишь приложение ко мне.

Переделать что-либо в этом вонючем мире было невозможно. Можно было лишь закрыть глаза и проспать всю жизнь, уверяя себя, что сон и реальность — это одно и то же. Черный лик несчастной старухи все реже тревожил меня.

Я бродил по магазинам, накупая уйму вещей, без которых раньше легко обходился, даже не подозревая об их существовании, и которые, когда я стал богат, вдруг стали мне крайне необходимы. Приобретая все это, я испытывал новое для себя чувство. Я понимал, что покорил некую социальную высоту. И другие понимали это. В моем голосе появились повелительные нотки. Я отдавал распоряжения, зная, что мне не откажут. Не скрою, хотя я и посмеивался над самим собой, все это было очень приятно.

Я обедал в дорогих ресторанах, мне доставляло удовольствие заказывать изысканные яства.

Я мог зайти в магазин, торгующий автомобилями, и небрежно поигрывая бумажником, сказать: «Заверните!»

Другой на моем месте раздулся бы от важности. Я лишь прибавил в весе. Меня, как всегда, выручала самоирония. Но, если честно, что-то шевелилось под сердцем, когда я думал о том, что могу купить, что пожелаю, могу поехать, куда захочу, словом, это и была та отчеканенная свобода, которая одаривала меня обманчивым ощущением вседозволенности.

...В моих планах — приобретение острова в Тирренском море. Денег должно хватить. А что? Женюсь на Лене и увезу ее туда, на этот сказочный остров, утопающий в роскоши кипарисов, пальм и вечнозеленых дубов. Поселюсь с ней во дворце, перестроенном из средневекового замка, с мраморными колоннами, пороховыми башнями, зубчатыми стенами и подъемным мостом. Найму прислугу из местных красоток, в глазах которых прячется сумасшедший субтропический огонь.

По утрам буду плескаться в голубой лагуне, а вечерами мы Леной будем любоваться пламенеющим закатом, пить Шабли и килограммами пожирать свежих устриц, каракатиц, лобстеров и прочих морских гадов. А ночью я буду тайно покидать супружеское ложе и прокрадываться в каморку прислуги, где средиземноморская страстность будет взрываться криком, смиримым пылающей ладонью...

Глава 8

...Пока я наслаждался богатством и в стиле раннего Гете по ночам изводил себя вопросиками о смысле бытия, моя страна ловко ввязалась в грандиозный международный... хотел сказать — скандал. Нет, то был не скан-

дал, то был глобальный конфликт. В результате которого народ сплотился в невиданном доселе патриотическом порыве. Люди, еще вчера на все корки костерившие власть, сегодня дружно бросились поддерживать тех, кто обволакивает их уже добрых два десятка лет.

Мы, русские, не можем жить спокойно. Время от времени нам надо непременно все поставить с ног на голову. На этот раз президент действовал столь продуманно, тонко, выверено и точно, что сумел сцементировать чаяния народа и свои личные амбиции. Все в одночасье забыли, что в стране очень многим живется совсем не сладко.

Кстати, должен откровенно признать, что вышеозначенное высокое чувство любви к Родине и гордости за свою страну охватило и меня.

И в то же время я пребывал в растерянности. Я терял почву под ногами. Я не знал, как мне жить дальше. Бороться стало не с кем. Ну, не станешь же бороться с теми, кто желает добра тем, кому желаешь добра и ты? Всё вроде бы делалось правильно. Говорились правильные слова. Высшие руководители много работали и часто выступали по телевидению, рассказывая о достижениях и недостатках. Страна робко попыталась стать на путь искоренения коррупции. Прошли громкие процессы. Правда, как обычно, никто из самых-самых не пострадал.

Я перебирал в памяти события последних дней. Когда русский человек не знает, чем себя занять, он пускается в пьянство. Поскольку мне не надо было ни перед кем отчитываться, мне не понадобилось перевозить пиджаки из институтской лаборатории в свой кабинет с аквариумом и видом на Кремль. Надо мной не было начальников. Если не брать во внимание редкие вызовы «наверх» и мои посещения Центра, я во все дни недели был предоставлен самому себе. Я приезжал на работу, когда хотел. Мне казалось, что мои заместители и советники были этому только рады. Они прекрасно обходились без меня.

Первое время я несколько раз ездил «представительствовать» в другие страны. С удовольствием отправился в Грецию, на Крит, в городок, название которого звучало, как имя какого-нибудь сочинского шулера — Агиосе Николаосе. В этом Агиосе Николаосе мне пришлось быть сопредседателем президиума симпозиума до того момента, пока меня из-за моей полной неспособности твердо стоять на ногах не заменили профессором делийского Центра нанотехнологий — холеным бородачом в алой чалме и добела отстиранных шелковых подштанниках.

Хорошо же умеют устраиваться организаторы всяческих международных съездов, симпозиумов и конференций! Нет, они никогда не выберут Порт-о-Пренс или Конотоп. Дураков нет! Они непременно выберут какой-нибудь дорогой город-курорт, расположенный в очаровательной долине или на берегу прелестного залива.

Пил я беспробудно. Знал, что мне все дозволено. Делал я это сознательно. Так, помнится, поступал Юрий Олеша в страшные сталинские времена, когда вокруг него писатели исчезали пачками. Олеша не ошибся. Органы плюнули на безобидного пьяницу. Я хотел добиться того же. Я решил оставаться в кулисах, памятуя слова мудрого Лени Шихмана о том, что в тени меньше потеешь.

...Вот я в роскошном холле отеля «Мирабелло Бич». Сажу на корточках, играю с каким-то китайчонком в мяч. И — на корточках. Отлично! Всегда бодр и весел!

Подошла блондинка с длинным и острым носом. Как ни странно, это ее не портило. Блондинка была стройна и изящна. Она была похожа на похорошевшего Буратино. Блондинка взяла китайчонка за руку и попыталась отобрать у него мяч.

Мне это очень не понравилось. Я издал возмущенный возглас. Что-то вроде: «Доколе?!!!» Или — «А чтоб тебя!!!» Мне вдруг показалось, что блондинка мой давний враг.

Я привстал, протянул руку, растопырил пальцы, намереваясь измерить длину носа противника.

Нас еле растащили служители отеля.

Что было потом и почему буратинистую блондинку занесло в мой номер и куда подевался китайчонок, я, разрази гром, не помню...

...Что двигало моими поступками и мыслями всю жизнь, начиная с далекого детства, когда я уже видел себя на вершине? Стремление к славе? Да, и еще раз — да! О, это чувство, — болезненное и ликующее, грошовое и величественное, растлевающее и очищающее, — чувство полнейшей уверенности в своей уникальности и исключительности!

Теплыми влажными вечерами я, мечтательный мальчишка, еще не юноша, бродил по переулкам старой Москвы, сидел на краешке скамейки на Покровском бульваре... помню, повизгивали трамваи на поворотах... помню, как степенно ходили парами недоступные и обольстительные девочки в школьных платьях с белыми кружевными воротничками... А я тем временем пестовал внутри своей наивной души дивную иллюзию.

Я смотрел вокруг себя, твердо зная, что именно мне суждено все изменить. Люди будут внимать мне, самому умному, самому доброму... словом, самому-самому.

Я упивался своей грядущей славой, я был уверен в ней настолько, насколько бывает уверен в неотразимости своего удара искусный бильярдист, когда он, победительно и высокомерно улыбаясь, кладет шар в лузу.

Уверенность в том, что я — рано или поздно и как бы ни сложилась жизнь — всепрежде всего стану самым великим, самым знаменитым и самым лучшим из всех людей, живущих и когда-либо живших на земле, сопровождало меня каждую минуту жизни.

Она, уверенность, не покидала меня, когда я стал старше; она не покидала меня даже во время чудовищных попоек, когда я не умирал не только потому, что не выработал своего жизненного ресурса. Спасти меня помогала, уверен, мысль о моем предстоящем величии. Мысль о величии приходила мне на выручку, когда надо было выжить, вернее, просто дожить, дотянуть до утра. Спасительная мысль как бы вырывала на время мою порочную и слабеющую душу из омерзительно липких (особенно под утро) лап смерти. И, кстати, должен заметить, что отдать Богу душу было совсем не сложно... ох, уж эти озера водки, о, это безумное количество выпитого! Но каждый раз я счастливо доживал до рассвета и на шатающихся ногах вступал в новый день, который нес мне не только одни разочарования.

Наверно, своей безрассудной мечтой о славе я напоминал десятиклассницу, до судорог в скулах завидующую сиюминутной славе поп-дивы. И готовую на все, чтобы этой славы достичь. Если спросить школьницу, зачем ей все это надо, она удивленно пожмет плечами: мол, неужели непонятно?!

Много позже, когда мои мозги слегка прочистились, — благодаря великому роману Флобера о мечтательной мещаночке и некоему спившемуся учителю истории, поделившемуся со мной своими печальными соображениями относительно легенды о сожжении храма Артемиды, — я стал смотреть на свое индивидуальное предназначение и на свое божественное явление миру иначе. А именно как на парадокс с горьким привкусом ироничного сомнения.

Но ирония иронией, а мечту-то эту я все-таки не выбросил из головы.

И вот настал час, когда мне показалось, что я могу воплотить свои мечты в действительность. Я могу избрать прямой путь, ведущий к заслуженной

славе. И как бы ни пытались примазаться к моему открытию посторонние фигуры, от которых я, как и каждый в нашей стране, завишу, все же приоритет первооткрывателя останется за мной. А там и Нобель засветится ярким пламенем... А это значит — и деньги, и слава, и престижная работа. И не-которая, увы, не полная, независимость.

В этом случае, думал я, я примкну к строю, который хотя и состоит из выдающихся представителей рода человеческого, но все же это строй, то есть шеренга, ряд, а ряд так рядом и останется. И я в нем буду рядовым солдатом... Мне это нужно?

А можно попытаться достичь большего. Ведь мое открытие — это нечто большее, чем просто открытие. Это... Впрочем, об этом я уже говорил.

Я достиг власти. Хотя я понимал, что моя власть формальна и призрачна. Но без власти не сделаешь ничего. Если я откажусь от целого, я окажусь ординарным обывателем, предел мечтаний которого — «Майбах», как у Гурاما, двухэтажный особняк в недрах Арбата и вилла на Рублевке. То есть всажу в свою великую, разбухшую от тщеславия душу мелкую душонку мадам Бовари со всеми ее мещанскими потрохами... Я соглашусь на лакомый кусок, который мне отрежут от пышного пирога те, кто привык за чужой счет щедро раздавать милостыню.

Если я соглашусь с привычным порядком вещей и, рабски склонив выю, приму навязываемые мне фальшивые ценности, я весь остаток жизни буду кусать локти и проклинать себя за малодушие.

...Я всегда любил читать. И особенно — как советовал Набоков — перечитывать. Не открыть ли мне «Преступление и наказание»? Ведь легко предположить, что путь к власти будет кровавым. А там, у Достоевского, о страдании, крови, богоискательстве, выборе, праве на человеческую жизнь, вернее, на лишение кого-то жизни, и главное о топоре — написано столько, что человечество со всей этой философской чертовщиной, со всей этой «достоевщиной», не может сладить добрых полтора столетия.

У Достоевского можно много почерпнуть. Ведь путь Раскольникова — это путь человека, взявшего на себя, по мысли Достоевского, все грехи человечества. До него похожий путь проделал лишь Мессия.

Как известно, стремление к власти — явление, которое находится за гранью нормы. То есть властолюбцы, как правило, ненормальны. Все они, это точно, с отклонениями в психике. А подчас и просто сумасшедшие. Далеко ходить не надо, и перечислять имена этих державных психопатов нет смысла, они у всех на слуху, а иные — и перед глазами.

Власть... Власть, как таковая, меня не влекла, не было во мне этой болезненной страсти — повелевать миллионами. Тщеславием я болен, но мое тщеславие безобидно. Мне власть была нужна совсем для другого. Я никогда не забывал иконной старухи с черными глазами.

...Я не собираюсь посягать на чужие грехи — мне бы со своими совладать.

Вернувшись в Москву, я не сразу позвонил Лене. Несколько дней я отлеживался дома. Медленно приходя в себя после пьянства на Крите. Я не отвечал на звонки. Я как бы консервировал в себе сомнения, давая им время спокойно освоиться в моем новом, столь сильно изменившемся, внутреннем мире.

Когда же позвонил, то оказалось, что Лена находится там, откуда я только что прилетел. То есть на Крите. И даже в том же самом городе. У нее тоже симпозиум.

— Господи, ты на Крите? — удивился я. — Скажи лучше, ты меня любишь?

Лена помедлила.

— Все меньше и меньше.

Такой вот разговор. Я даже не спросил, когда она вернется.

Глава 9

Теперь у меня новый круг друзей. Став богатым, я обновил не только гардероб. В этом круге, назовем его внешним кругом, нет места ни Мишке, ни Петьке. И — слава Богу. Потому что им там делать нечего. Петьку и Мишку я сохраняю для внутреннего пользования. Они — мой стратегический резерв, вроде неприкосновенного запаса. С ним надо обращаться бережно.

...Я принял приглашение Платона Борисова погостить у него на яхте. С Платоном я познакомился на вечеринке, в его огромном особняке в Колпачном переулке, после возвращения в Москву, когда я стал понемногу выбираться из своей берлоги на Воздвиженке.

Мне понравился его большой, красивый дом. С садом, декоративным бассейном-прудом, летней беседкой и миниатюрным фонтаном. Не приобрести ли мне такой же, подумал я?

Я был чужим на вечеринке, на этом фальшивом празднике, на этой современной ярмарке тщеславия. И вот что я подметил. Всех гостей Платона Борисова, этих новых «хозяев» жизни, этих «господ», — от чернооких красавиц на умопомрачительных каблуках, жен чиновников, до самих чиновников и созданных их стараниями новоиспеченных миллионеров, уже успевших пообтесаться на всяких отечественных и зарубежных тусовках, — всех объединял глубоко запрятанный страх и неуверенность. Они знали, что будет завтра, они даже знали, что будет послезавтра, а вот что будет потом, за этим послезавтра, они не знали и знать не хотели. Тут-то и возникал этот животный страх перед непонятным, перед неизвестностью. В последнее время меня стало посещать странное чувство. Что-то среднее между холодной ненавистью и презрением ко всему, что видят мои глаза.

Уже под утро, когда начало светать и гости стали разъезжаться, мы с Платоном вышли в сад. Странно было видеть яблоневые деревья и кусты малины в самом центре Москвы. Возле малюсенького прудика с золотыми рыбками стоял мраморный столик. Платон поставил на него бутылку.

— Когда-то в этом доме размещался ОВИР. Организация, дававшая или не дававшая разрешение на выезд за рубеж. В семидесятые, когда разрешили выезд в Израиль, помню, как какая-то психопатка, вся в золоте и брильянтах, потрясала в воздухе визой и ликующе орала на всю улицу: «Наконец-то я вырвусь из этого ада!»

Я вспомнил отца Мишки и его развеселых стоматологов.

— Мне кажется, в те времена многим евреям жилось совсем не плохо.

— И мне так кажется, — согласился Платон. — Но был постыдный пятый пункт... И этим все сказано.

Мы выпили и закурили.

Вдруг он сказал:

— Ходят слухи, что вы сибарит.

Я задумался.

— И думать нечего, вы сибарит, — он рассмеялся. — Эти ваши легкодоступные женщины, всякие любовные похождения и пьяные посиделки с друзьями, хохмы, розыгрыши, которыми вы разнообразите скуку жизни, и прочее... — он весело прищелкнул пальцами. — Светский мир уже полон слухами о вас.

— А в свободное от удовольствий время, на досуге так сказать, я сделал величайшее... — обиженно начал я.

— Знаю, знаю, конечно, вы недюжинный человек, — перебил он меня. — У вас уникальный талант великого ученого... И везение, без которого не может быть ничего на свете. Вероятно, вы избранник Бога. Это редко встречающийся тип человека. Вам повезло. Вы родились, зная, что станете выдающимся человеком, — он внимательно посмотрел на меня.

Я расправил плечи.

— Но все же вы сибарит. Для вас наука, как ни странно, не главное в жизни. Да, вы сделали выдающееся открытие, открытие, каких, наверно, не знало человечество со времен изобретения колеса, но вы... сибарит. Вы любите пожить в свое удовольствие. Вот что для вас главное. Разве я не прав?

— Боюсь, что да. Я жизнь свою веду беспечно, давно мне не о чем жалеть, и если б жизнь продлилась вечно, я пожелал бы умереть.

— Вот это ваше. Вы жизнь свою вели беспечно. И дай вам бог не быть другим. Не понимаю только, зачем вы устремились в высшие сферы... Вам нечего делать там, наверху, поверьте. Вас там сожрут. И года не пройдет, как сожрут. Там водятся лишь хищники. Отберут у вас ваше открытие, пикнуть не успеете, поверьте, чиновники найдут способ это сделать... там по этой части специалистов, как собак нерезанных... Там, наверху, негодяй на негодяе и негодяем погоняет... Там все такие. Там другие не водятся. Конечно, они сами себя негодяями не считают. Там немало широко образованных людей, попадают даже интеллектуалы. Но у них у всех есть то, чего не хватает вам...

— И чего же мне не хватает?

— Вам не хватает... бесстыдства, бездушия. И истинного, кристально чистого, отмытого до стерильности, цинизма.

— Чего-чего, а этого у меня...

Он замахал руками:

— Ерунда! Ваш цинизм — это школярский, любительский, интеллигентский, игрушечный цинизм. А там, наверху, настоящий, железобетонный, несокрушимый! Власть и деньги, деньги и власть — вот два кирпича, на которых там все держится. Они убьют, убьют с удовольствием, но не сами, а чужими руками, убьют, плюнут, наступят на труп и пойдут дальше. И тут же забудут о покойнике. Это люди, из которых при рождении изъята совесть. А у вас она есть. Пусть разрушенная, пусть изъеденная до дыр, но все же она у вас есть. И именно она и есть главное препятствие...

Я машинально кивал в знак согласия.

— До яхты мы доберемся за несколько часов, — сказал Платон. — Вам будет интересно. А здесь скучно. Вы ведь новенький в этом мире выскочек... У меня вам понравится. У меня хорошая яхта. Очень хорошая. И, что очень существенно, недурная кухня. Вы любите заливного поросенка?

— Уж и не помню, когда едал его в последний раз.

— Только предупреждаю, я немного самодур.

— Я тоже.

— Значит, мы подружимся. Впрочем, мое самодурство никогда не касалось моих друзей. Вы ведь мой друг?

— Дружьям не выкают.

Мы выпили с ним на брудершафт.

На следующий день я сказал своему помощнику, что хочу приобрести особняк.

— А зачем вам его покупать? — удивился он. — Вам особняк положен по штату. Вам стоит только указать, где бы вы хотели жить. Хотите на Рублевке? Или в Усово? Или в Барвихе?

— Я хочу поселиться в Колпачном переулке.

...Через два дня я проснулся в собственном особняке. Было раннее чистое утро, окна спальни были приоткрыты... я не хотел, чтобы они выходили в сад. Сад в центре Москвы — это фальшивая иллюзия дворянского имения. Мне не это было нужно. Пусть ветер поигрывает портьерами. Пусть в спальню проникают звуки, от которых у меня, старого москвича, шемит сердце. По звукам можно определить, что за окном сухая, теплая городская осень. Каблучки постукивают, машины урчат моторами и шуршат шинами. Голуби постанывают. Проснувшаяся Москва. Москва моего детства. Повернуть бы время вспять! Иногда мне кажется, что это осуществимо. Повернуть время

вспять. Развернуть его, как велосипед, и пуститься в увлекательное путешествие. Крутить педали и вглядываться в прошлое, которое на твоих глазах превращается в настоящее. Повернуть время вспять. И начать все сначала.

Через неделю я позвонил Платону и сказал, что готов отправиться с ним хоть на край света.

— Край света... — произнес он, как мне показалось, задумчиво. — Знал бы, где он находится, этот край света, — ни секунды б не медлил...

Глава 10

И вот мы в Тирренском море, на роскошной, переделанной из легкого крейсера, яхте «Джек Рэкхем», бросившей якорь в Неаполитанском заливе, в полумиле от берега. Когда-то эта посудина плавала под советским флагом. Теперь плавает под либерийским. А когда яхта закрепляется на пару недель в каком-нибудь восхитительном заливе, берега которого утыканы десятками роскошных отелей, Платон велит поднять Веселый Роджер. Вот и сейчас ветер с берега полощет устрашающий флаг с адамовой головой и костями. «Чтобы местное население не расслаблялось», — говорит Платон и грозит берегу кулаком.

— Несколько лет назад я похоронил жену... Мы с ней были ровесники. Я ей практически не изменял, — добавил Платон меланхолично.

— Как это?

— Да так, изменами это и назвать-то нельзя. Потому что изменял я не чаще одного-двух раз в год. Делал я это в ее же интересах. Известно, что измены освежают, обостряют, обновляют отношения с тем человеком, кому ты из соображений профилактики наставляешь рога. Это своего рода оздоравливающая процедура. Моя жена старела у меня на глазах... Я видел, как меняется ее внешность. Увы, в сторону ухудшения. Она стала костлявой, шея сморщилась, как у черепахи. Да... И от нее пахло лошадьё! — с досадой выкрикнул он. — И чем дальше, тем сильнее. Каждодневный душ, всякие там притирания, духи, дезодоранты, свежее белье — ни черта не помогало, пахло и пахло лошадьё. И не просто лошадьё, а старой лошадьё! Заходишь в спальню, а там этот запах... А я ее все равно любил. И еще такая вот странность! Когда ее хоронили, со всех сторон до меня долетал шепот: «Господи, как же она изменилась, как постарела! Ее и не узнать...» Я возмущенно крутил головой. В гробу она удивительным образом похорошела, словно смерть пошла ей на пользу. Цветы в изголовье... и она выглядела такой молодой! Как в тот дивный июльский вечер... Помню, как сейчас, сад Эрмитаж, когда я познакомился с ней... юной, свежей, обольстительной. Ей надо было умереть, чтобы я вновь увидел ее такой, как тогда, когда она стояла в тени столетнего клена и покусывала губы. Какие у нее были губы! А какая улыбка! Губы, губы ее... лукавые и... словом, я и сейчас ее люблю.

Я каждый вечер приезжал в больницу, где она умирала под присмотром врачей. Я присаживался на край койки, брал жену за руку и сидел так часами.

«Платоша, как ты будешь жить один, без меня?» — спросила она меня однажды. Я вылетел из палаты. И в туалете разрыдался.

Я выходил из больницы поздно вечером, застывал столбом у ее окон и думал о том, как это страшно умирать вот так — созная, что умираешь, и одной в палате. Ты всеми брошен, вокруг тебя тишина, темень... и ты один на один со смертью. Всем было наплевать на нее и на меня. Это я понял тогда. Когда стоял под больничным окном. Это было как прозрение. Это было ни с чем не сравнимое ощущение беспредельного, всепоглощающего

одиночества. Я стоял, уставившись мокрыми глазами в темное окно, за которым находилось родное существо, которое боролось со смертью. Поднимал голову выше и видел черное равнодушное небо. И ощущение невыносимого одиночества и обреченности наваливалось на меня. Она и я. Одни на всем белом свете. Потом я бежал к остановке, чтобы успеть на последний троллейбус. Почему — троллейбус, спросишь ты? У меня и тогда был уже целый парк дорогих машин. Но я умышленно загонял себя в угол, где не было ничего, кроме черного неба над головой, вселенского одиночества и моей любви к жене. Я нуждался в страдании, очищенном от накипи богатства. Я сидел в троллейбусе, уткнувшись глазами в пол, переваривал в себе понимание обреченности и страдал. Это был своего рода мазохизм, самоистязание во имя... Даже не знаю, во имя чего. Может, во имя меня самого.

Он замолчал. Я и не заметил, как в его руке оказался платок, которым он вытирал глаза.

— Так ты вдовец? — выдержав паузу, спросил я.

— К сожалению, нет, — произнес он упавшим голосом. — Романтическое наименование вдовца я носил лишь пять лет. Пока не женился на дочери Германа Оскаровича Кириша.

— Того банкира?

— Да. Браки совершаются не только на небесах — иногда и в бильярдных. Он обыграл меня, и мне пришлось стать его зятем.

Наши мобильники отключены, дабы создать у нас ощущения оторванности от мира. Так, по словам Платона, в последнее время стали поступать свободололюбивые скандинавы.

— Они вообще в массовом порядке выбрасывают мобильники на помойку и призывают так делать всех, кому дороги покой и воля. Мобильник превращает человека в раба неопределенности, непредсказуемости, неизвестности. Мобильник нарушает интеллектуальный и гуманитарный суверенитет индивидуума. Любая сволочь может побеспокоить тебя, когда ей вздумается. Сидишь, тужишься в сортире, а тут какая-то мерзкая скотина, обычно баба, звонит и начинает грузить тебя своими проблемами... Господи, как же здесь хорошо и легко дышится!

Платон набирает полные легкие воздуха, отчего его мощная грудь выпячивается над не менее мощным животом, и делает рукой круговое движение. Призывая меня насладиться осенними красотами юга Италии.

— Да, очей очарованье... приятна мне твоя прощальная краса... — сказал он. — Но осень не только там, — он опять протянул руку, указывая на склоны гор, покрытые золотящимся лесом и багряным кустарником, — осень... вообще, она везде, — добавил он, этой же рукой проводя по абсолютно лысой голове. — Здесь очень красиво. Да. Но ко всей этой прелести привыкаешь легко и быстро... — Платон задумался. — Вот отвыкать, наверно, будет тяжелей. Не дай Бог дожить до этого...

Мне пришлось вежливо кивнуть.

— Я никогда не работал по специальности, а ведь я окончил Московский университет... — В его голосе надуманная печаль человека, довольного сделанным выбором. — Я проучился 10 лет в школе и пять — в университете. Спроси у меня сегодня... ах, лучше ничего не спрашивать!

Из школьной математики в голове осталась всякая чепуха, вроде таблицы умножения. Ну, еще — катеты и гипотенуза. Но что это такое, я и сейчас не знаю. Квадратные корни? Не смешите меня! Мне легче извлечь утопающего из проруби, чем — квадратный корень из сорока.

Из физики сохранились только штаны, которые во все стороны равны. И тело, погруженное в ванну. Тело, кажется, должно вытеснять воду. Но это понятно и без физики.

Из географии, истории, астрономии, зоологии, биологии, обществоведения — не осталось ничего. Словно этих наук вовсе не существует.

Все, что я вынес из школьной программы, можно выучить за неделю — максимум — за две. Зачем тогда эти 10 лет?!

С институтом та же история. Я учился на филфаке, на русском отделении. Учился из рук вон плохо. Меня три раза выгоняли.

Но плохое знание русской грамматики никак не мешало мне продвигаться вверх по служебной лестнице, вокруг меня было полно людей, включая больших и малых начальников, которые знали этот предмет ничуть не лучше меня.

Некоторые из них вообще не владели письменной культурой. То есть в буквальном смысле слова почти не умели писать. Не вру.

Мой шеф, заведовавший в Агентстве печати «Новости» редакцией международной информации, давая мне характеристику в партию, потел над ней несколько дней. Видел бы ты его каракули! Причем, замечу, «рыба» характеристики у него была: ему не надо было ничего выдумывать. Ему нужно было только переписать начисто то, что я ему подсунул — всякие там родился, учился, трудился во славу Родины и партии, активно занимался общественной работой, политически грамотен и прочая лабуда.

Но даже переписка давалась ему с невероятным трудом! Оказывается, мой шеф с трудом мог написать пару предложений. И это в журналистской организации! Но при этом — сколько гонора и фанаберии!

Я отнес характеристику секретарю парткома. Тот посмотрел на каракули и вернул назад. Оказывается, бумага была оформлена неправильно.

Слово «Партком» было написано с маленькой буквы, «шапка» же находилась не по центру страницы, а чуть правее. Партия строго следила за порядком во всем, что касалось формы.

Я поплелся к шефу. Когда он понял, что ему придется заново все переписывать, он чуть не сбесился. Прошло еще несколько дней. Из парткома меня поторапливали. Наконец, характеристика была составлена по всем правилам. И вот я вновь предстал пред очами секретаря парткома. Он мельком глянул на характеристику и опять вернул. Теперь на лице его отразилось недоумение, смешанное с брезгливостью. Словно парторг голой ногой наступил на змею. Оказалось — чернила не те! Надо — черными, а шеф на-карябал синими!

— Что еще?! — заревел шеф, когда я вошел к нему в кабинет. — Я уже жалею, что решил дать тебе характеристику. Таким, как ты, не место в партии!

Мы сидели на нижней палубе, у бассейна, в котором уже довольно долго плескался знаменитый эстрадный певец, прибывший накануне, уже под вечер, и тем не менее умудрившийся напиться до изумления еще до полуночи. Лицо и сейчас у него было страдающее. Четыре девушки из подтанцовки, прибывшие вместе с ним, застыли на лежаках в классических позах моделей, демонстрирующих любовное томление. Они поминутно припадали к стаканам с соломинками и метали на Платона взгляды, полные восхищения.

— Ну и рожи, — бормочет Платон. — Не успели приехать, а уже осточертели... Я недавно сменил капитана. Прежний был опытным и грамотным моряком. Он мне даже сначала понравился. Подтянутый такой, отутюженный, с голливудской сединой... Прямо картинка. Но он был несговорчив. А я не переносу, когда мне перечат! Он как-то сказал, что не намерен мне прислуживать, что, мол, его дело управлять кораблем, а не спички подносить к носу хозяина. Ну, я его и сплавил на берег. Взял другого, сговорчивого. Который не считает для себя зазорным дать мне прикурить. Хороший капитан, услужливый... Правда, я подозреваю, что он и не капитан вовсе, а кельнер...

— А он нас не утопит?

Платон хмыкнул и посмотрел на меня поверх очков.

— Думаю, он и этого не умеет.

— Надеюсь, на яхте имеется потребное количество плавсредств? — за-
волновался я.

— Имеется. И спасательные шлюпки, и катер, и вертолет, и наду-
вные плоты. И даже подлодка. На двоих. Как раз для нас с тобой. Ты удов-
летворен?

— Отчасти. Кажется, у меня начинается морская болезнь. Я хочу на
берег.

— Желание гостя — закон для хозяина. Сегодня ночью, под покровом
темноты, тайно, мы десантируемся на берег. Обещаю незабываемые впечат-
ления!

Опережая события, скажу, что впечатлений действительно было хоть от-
бавляй.

Появилась официантка, которая поставила передо мной новый стакан. Я
вытянул ноги и с наслаждением сделал глоток.

— Когда я приобрел яхту, — продолжал Платон, — то первым делом
устроил прием по случаю счастливой покупки. Распорядился накрыть сто-
лы. Выписал шеф-повара из «Арагви». Публика подобралась, скажу я тебе!
Так вот, моими гостями стали мои старинные приятели. Актеры, циркачи,
певцы. Но не только. Два генерала МВД. Без них нельзя. Торговец китай-
скими мехами Зяма Магазинер, уроженец Арбата, который знаком мне еще
с тех пор, когда он приторговывал шубами из крашенных котов, выдавая их
за баргузинских соболей. Ну, и прочие... Конечно, все перепились и усну-
ли где попало... Утром следующего дня проснулся я в своей каюте. Голова
трещит... точно я не «Хеннесси» трескал, а брюквенный самогон. Поплелся
в ванную.. Ну, думаю, стану под секущие освежающие струи, взбодрюсь...
Залез я под душ, а там водичка еле-еле течет.словно больной циститом пи-
сает. Ну, понятное дело — это же морское судно, во всем нужна экономия.
Но я страшно разгневался! Через неделю такую струю наладили, что меня
чуть в слив не смыло!

...День клонился к вечеру. Платон наконец-то умолк.

А я думал. Вот оно, мое метание по свету в поисках чего-то утраченного.
Сижу и слушаю празднословия Платона, multimillionera, одуревшего от
своих миллионов. Я не знаю, чем себя занять. Ведь все, о чем может только
мечтать человек, я совершил. Я сделал открытие, которое может прославить
мое имя в веках. Можно было подводить итоги. Я подумал о смерти. Без
страха. Возможно, утрата страха смерти — из-за утраты интереса к жизни?
Или — следствие моего пристрастия к виски. Виски как лечебный препарат.
Виски — вместо антидепрессанта.

Из-за болтовни Платона мы проскочили час обеда. Внезапно в меня во-
шло странное, тревожное чувство. Я ощутил знакомое с детства сосущее
чувство голодной тоски. Я ошупал впавший живот и сказал:

— Ты когда-то говорил, что у тебя отменная кухня...

— Черт бы меня побрал! Вечно я обо всем забываю! — он хлопнул в
ладоши, и тут же, как из-под земли, вырос капитан.

— Чего изволите, вашество?

— Что у нас на ужин?

— Да что пожелаете.

— Не фамильярничай.

— Простите, ваше сиятельство.

— Организуй-ка ты нам, братец, жареных белых грибочков, огурчиков
малосольных, да блинчиков, блинчиков с икоркой, разных там селедок, карто-
шечки молодой с укропом! Да украинского сала. Да подай чистого спирту.
И добавь в него для крепости, чтобы мороз по коже подирал, карбиду. И на-
ливочки! Наливочки всенепременно! Наливочка смягчит, дубит и оттягивает!
И, разумеется, заливного поросеночка! Того самого, о котором я тебе давеча
говорил. За которым я ухаживал, как за сыном, и которого воспитал на мо-

локе. Проверь, застыло ли желе. Если нет, болтаться повару на рее! Подсуетись, братец, прошу тебя убедительно. — Платон обратился ко мне: — Может, ты хочешь чего-нибудь добавить? Говори смело, мой капитан выполнит любое твоё желание. Не правда ли, капитан?

— Так точно, ваше сиятельство!

Я задумался. И тут я вспомнил, что недавно читал, как едали русские цари. Память у меня профессиональная, не хуже, чем у театрального актёра.

— Хочу жареного лебеда и мальвазии.

У капитана брови полезли на лоб. Он сделал шаг вперед и попросил повторить.

— Лебеда жареного, медвяного. Мальвазии в золотом кубке, — терпеливо объяснил я и добавил: — а также тетерева под шафраном, журавля под взваром в шафране, лососину с чесноком, зайца в рассоле.

Капитан втянул голову в плечи.

Платон сделал строгое лицо и обратился к капитану:

— Одолеешь?

— Не могу знать, ваше сиятельство!

— Не одолеешь, лично вздерну на рее! Вместе с поваром!

Через некоторое время Платон принялся опять за свою болтовню:

— В прошлом году, вертясь перед зеркалом и пристрастно оценивая состояние своего, как мне тогда казалось, неувядающего тела, я поднял руку и вдруг с ужасом увидел, что кожа около локтя обнаруживает старческую дряблость. Жена... кстати, моей последней жене нет и тридцати, так вот, жена тоже увидела. И сделала вид, сука, что не заметила. Но я-то заметил, что она заметила!

Я равнодушно пожал плечами. Дряблость мне не грозила. Пока.

— Подслушал я тут разговор, — сказал Платон. — Случайно послушал. Трепались две молодые бабы. Одна из них — моя нынешняя жена. Сидят, курят, прихлебывают кофе. Моя говорит: «Он на меня смотрит во время этого самого дела. Усы топорщатся, глаза выпучены! И сопит как носорог! У него это называется страстью! Умора! Я, как увидела, не могла удержаться от смеха. Он меня чуть не убил!» Я подумал — обо мне. Потом похолодел: ведь усов-то я никогда не носил!

— Опять анекдот. Ты уж прости меня, но у меня сложилось впечатление, что ты весь состоишь из анекдотов.

Платон улыбнулся.

— Не весь.

— Кстати, почему ты обходишься без охраны?

— На моем уровне она излишня. Если кому-то понадобится меня ухайдакать, никакая охрана не поможет. Подплывут под водой, поставят магнитную мину... Меня уже трижды пытались отправить на тот свет мои бывшие друзья. Кстати, ты ведь тоже без охраны.

— Мои охранники только делают вид, что меня охраняют. Да и потом у меня нет врагов...

— Враги есть у всех.

Неслышно подошел капитан.

— Ваше сиятельство, прибыл катер с его высокопревосходительством господином Касьяновым и ее сиятельством госпожой Хакамадой, — сказал он. Голос у капитана был какой-то ненатуральный.

— Покажи им их каюты, а когда отдохнут, тащи сюда, — сказал Платон и зевнул. — Будем играть в карты. В «пьяницу». На носики. Хакамада страшно любит! Она всегда выигрывает. Победительная натура! Поэтому у Касьянова всю дорогу нос сизый.

Платон жестом отпустил капитан.

— Касьянов? Какой такой Касьянов? Бывший предсовмина? — удивился я.

— Он самый. Носит его по морям-океанам, как бочку среди свирепых волн. Много перетерпел он по службе...

— Зачем он тебе?

— Да так, — Платон неопределенно пожал плечами, — может, пригодится, пробоину им затыкать... или, глядишь, позабавит. С грумом или с шутом всегда веселей. Странное дело, — добавил он задумчиво, — а ведь хорошо начинал, талантливо... Что делает с человек власть! В дурака превратился. Кто бы мог подумать! С шахматистами знается. Так опуститься!..

Но Касьянова мы так и не дождались. По словам капитана, он завалился спать и просил не будить его до третьих петухов. А Хакамада занимается каллиграфией и медитирует.

— Касьянов... неинтересный человек, — вдруг сказал Платон.

Меня потянуло на откровенность.

— Я всю жизнь знался с людьми малоизвестными, — сказал я, — среди них попадались удивительные умницы, искрометные, неординарные, оригинальные, талантливые и остроумные. Неужели, думал я, они не мечтают о славе, о триумфах, не грезят о том, чтобы их узнавали на улице в лицо... И вот что я тебе скажу, повидав за последнее время великое множество людей известных, влиятельных и богатых, я не встретил ни одного, кто бы мог сравняться с ними, с теми, кто не пробился, не стал известным...

— Это не совсем так. Прежде действительно... Хотя и тогда наверху были люди очень высокого класса, с интеллектом, оригинальные... И шутники попадались. Но им приходилось все это скрывать. Чтобы не отличаться от серой массы... А сейчас все совсем другое. Власть, деньги дают человеку возможность проявить себя в полной мере. Раскрепощают, так сказать, его скрытый потенциал... Сейчас наверху появилось немало интеллектуалов, остроумных и оригинальных... Все зависит от хозяина. Хозяин подбирает команду. Умный хозяин дурака возле себя держать не станет. А у нас, на счастье, сейчас умный хозяин. И, кстати, и с юмором у него полным ажур. Правда, порой от него потягивает дымком из семидесятых. Но какой он актер! Поверь, я повидал их на своем веку предостаточно. Но наш лидер — это что-то выдающееся!.. Про выдержку не говорю, это особая статья. Он мне очень нравится.

— Я ему об этом скажу...

— Я сам ему об этом говорил. Но он не терпит лести... Это такая редкость среди людей, познавших сладость власти.

Мы помолчали.

Платон уставился в темно-синюю даль. Туда, где на горизонте небо сливалось с океаном.

— Собственная яхта — это хорошо. Но... меня укачивает! Я приобрел яхту, когда об этом не догадывался. Я плохо сплю на новом месте, а если где и засыпаю сразу, крепко и без сновидений, (заменить на тире —) так это у себя дома. Та вот, я велел оборудовать на яхте спальню, точь-в-точь такую, как у меня дома в Москве... такая была у меня причуда. И чего я добился? Попали мы как-то в шторм... такой шторм, какой чертям не снился. Кое-как, поддерживаемый стюардами, добираюсь до спальни. А там, царица небесная! Все кружится, вздымается, дыбится, словом, кошмар. Охая и стеная, прилег, и тут такое началось! Велел привязать себя к кровати. Промучился пару дней, пока море не утихло. Но все это время глаз не сомкнул.

Вернулся я домой и понял, что и там уснуть не смогу. Как вспомню, что у меня на яхте точь-в-точь такие же шкафы, зеркала, ковры, портьеры, кровать с балдахином... Словом, пришлось все поменять к чертям собачьим. Не поверишь, велел все выбросить и установить посреди спальни раскладную походную кровать. Как у Наполеона. И уснул как миленький! А к яхте привык. Я специально выбираю маршруты, где в это время года не штормит.

— Перечитал я тут Андрея Белого, — не умолкал Платон. — Одного из властителей дум теперь уже далекого прошлого. Сто лет назад думающая часть общества искала истину. Не нашла. Но как искала! С каким энтузи-

азмом! А какие были гиганты! Какие изощренные умы, какие выдающиеся таланты! Какие мощные фигуры! Какие самобытные личности!

— Сейчас истину не ищут, — сказал я. — Правда, и в наше время был один такой...

— Подожди, дай угадаю. Уж не Веничка ли Ерофеев?

Я кивнул.

— Да, мы заменили поиски истины поисками наслаждений и удовольствий, — напыщенно сказал Платон. — Сами того не сознавая, мы вернулись к тем временам, когда душами и телами людей владел гедонизм — изощренное философско-этическое учение, придуманное лукавыми греками. Но те хотя бы знали, что грешат, придумав приятному образу жизни чрезвычайное милое — да к тому же философское — объяснение. Сейчас никто ни над чем не задумывается: живем, и слава Богу. И еще эти американцы со своим образом жизни!

Я почти во всем был с ним согласен.

— Кстати, — сказал я, — «америкэн модус вивенди» — это не стиль, а представление о стиле, которому якобы привержены американцы. В этом много надуманного. Американцы и наши представления об американцах — сильно разнятся. Очень часто мы судим об американцах по их дурацким фильмам. А разница между голливудской Америкой и Америкой настоящей примерно такая же, как между... как между Егором Исаевым и Анной Ахматовой.

Платон меня не слышал. Он был увлечен собой. Как все законченные эгоисты.

— Я болен, — тихим голосом сказал он. — Неизлечимо. И я старик. Лева, мне почти семьдесят! Страшно подумать! Но в душе я молод. Это самое страшное, что есть в старости: нести в себе неодолимое стремление к безумствам и знать, что твои мечты тщетны. Ах, эти мечты! Ты только посмотри вокруг! Неаполитанский залив, вид на Везувий, Сорренто, очаровательные девушки, нежный шепоток, влекущий «под сень струй», пленительные вечера! Казалось бы, что еще человеку надо? И над всем этим необозримое, как будущая жизнь, бархатное южное небо, мерцающее мириадами бриллиантовых звезд... ах, как все это прекрасно! Вернее, было бы прекрасно, если бы не те, кто дышит мне в спину и у которых впереди тысячи подобных чарующих вечеров... Знал бы ты, как я им завидую и как я их ненавижу! Будь они прокляты! Впереди у них нескончаемая молодость, полная любовных приключений... Роскошные машины, белые смокинги, тридцатидолларовые сигары, сказочные путешествия, встречи с удивительными людьми, такими же искателями приключений — все у них будет! Даже у этого придурка с противным голосом, чтоб ему утонуть в бассейне — есть прекрасное будущее. А у меня ничего этого впереди нет! И зависть точит меня, зависть, чернее которой нет ничего на свете! Зависть к тем, для кого эти мечты — реальность, для них это сегодняшний и завтрашний день... Правда, существует такая непредсказуемая вещь, как нелепая случайность, — загадочно закончил Платон.

Разглагольствования Платона были прерваны капитаном:

— Ваше высокопревосходительство, кушать подано.

Глава 11

Я бросил взгляд в сторону берега. На юге Италии темнеет быстро. Высокое небо над склонами синеющих гор переливалось колдовским сапфировым цветом. Берег сверкал огнями бесчисленных отелей и ресторанов. Улицы, все в холодном и манящем сиянии, змеясь, спадали к морю. Все кипело жизнью. Меня охватило странное предчувствие, мне показалось, что очень скоро для кого-то все это померкнет навсегда.

— Капитан, вели подать и этим... — Платон указал на девушек и певца. — Только им — в людской. Дай им пустых щей и перловой каши. Им и так хорошо, — сухо пояснил он, заметив на лице капитана тень удивления, — у них есть будущее. У меня его нет, поэтому мы со Львом Николаевичем будем ужинать одни. Без этих несчастных, которые даже не подозревают, насколько они счастливы.

Приятно было оказаться в тишине и прохладе кают-компания после нагретой за день палубы.

Стол был накрыт на двоих. Серебро и хрусталь. Свечи в золотых шандалах. Белоснежная скатерть. Изысканные закуски: омары, крабы, устрицы, икра, балыки и прочее. Шампанское в серебряном ведре. И среди этого аристократического великолепия — обсыпанный серой солью толстенный шмат сала.

Я усмехнулся. Платон погрозил мне пальцем.

Он остановился посреди кают-компания и с чувством продекламировал:

— «Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатолароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра, свежая семга и проч. Подтыкин глядел на всё это и жадно глотал слюнки... Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем...» Но жареного медвяного лебеда нет. Нет и мальвазии. Придется повесить повара и капитана.

— Хотя это и невежливо, да и не принято расспрашивать миллионеров... — начал я, усаживаясь за стол.

— Можешь не продолжать, — перебил меня Платон. — Расспрашивать миллионера, как он стал миллионером, это все равно что расспрашивать проститутку о ее первом сексуальном контакте. Сплошное вранье. Не секрет, что практически все современные крупные состояния нажиты самым бесчестным путем. Со времен Остапа Бендера ничего не изменилось.

— Я приобрел свое состояние иным путем... — обиделся я.

— Бывают, конечно, исключения. Ах, Лева! Дорогой ты мой! Я все знаю. И о твоём искусственном золоте...

— Оно не искусственное! — еще сильнее обиделся я.

— Поверь старому, опытному человеку, — сказал он, — я в этих делах разбираюсь: золота не должно быть слишком много, его должно быть ровно столько, сколько кому-то нужно. Учти, тебя могут отстранить. Чтобы не путался под ногами. Будь внимательней. Там такие акулы...

— У меня есть защитники, — сказал я не совсем уверенно. И подумал о тех, кто, возможно, станет меня защищать. Полковник? Вряд ли. Мои новые «друзья»? Еще менее вероятно. Тогда кто?

— Теперь о том, как богатеют некоторые индивидуумы, — продолжил Платон. — В АПН я умудрился стать комсомольским вожаком. Потом были райком и горком. И при этом не верил ни в Бога, ни в черта, ни в комсомол, ни в светлое коммунистическое будущее. Там все были такие. Я был одним из них. Почти. Почти потому, что морды их верноподданные мне скоро опротивели. Все эти их примитивные развлечения. Грудастые комсомолки, загородные базы отдыха, бани... Ты знаешь, в каких кабинетах мы, сопливые двадцатипятилетние комсомольские вожди, сидели? В каких лимузинах со сменными водителями раскатывали? Все гнило, я это видел. Перед распадом кое-кто успел пристроиться к золотому корыту. И мне посчастливилось оказаться одним из первых. Никто тебе сейчас не скажет, сколько было тогда разворовано партийных денег...

Долгое время я тайно вел двойную жизнь. Днем я был верным ленинцем, а вечера проводил в антисоветских разговорчиках со своими настоящими друзьями. Среди которых попадались даже диссиденты. Любопытные люди! — болтал с полным ртом мой новый друг. — И один из самых забав-

ных — это Сергей Львович Лифшиц, который в мрачные годы Безвременья боролся с режимом, причем боролся весьма своеобразно. Он свою будничную жизнь противопоставил глупости и жестокости жизни официальной. Не жалея сил и здоровья, он боролся с режимом, отстаивая свое право быть идиотом.

Расскажу тебе пару поучительных историй. Историй о дурацких развлечениях студенческих лет.

Студенты Манцевич и Цуцульковский, шаловливые сокурсники Сереги Лифшица, ночью проникли в институтский актовый зал, спустили огромную люстру на бронзовых цепях, накакали в нее и подняли снова.

Кстати, оба в дальнейшем сделали успешную научную карьеру.

Другой его студенческий приятель, Мишка Андреев, после успешного окончания первого курса, в саду «Эрмитаж» на радостях спьяну бутылкой крушил уличные фонари. Ныне — уважаемый университетский профессор и автор знаменитой монографии по... черт его знает по чему, но, знаю точно, что по чему-то очень умному.

И что?..

Я не отрицаю, что какать в люстры и разбивать фонари — хорошо. Я просто хочу напомнить, что говорил Набоков о том, что лежит в основе формирования личности. Наследственность, среда и нечто Х. Так вот, говорил Набоков, во всей этой триаде среда играет второстепенную роль. А вот наследственность и это загадочное Х...

Те же Манцевич и Цуцульковский наплели Сереге, что профессор Илья Иванович Панкратов, глава научной школы и автор капитального труда «Горное дело», очень любит нетривиальные ответы и простит студенту даже полное незнание, если тот сумеет остроумно вывернуться из сложной ситуации.

...Ночь перед экзаменом была посвящена изучению, вернее, тупому созерцанию килограммового «Введения в курс “Горного дела”». На большее Сереги Лифшица не хватило.

«Главное — продемонстрируй старому козлу свое остроумие, и твое дело в шляпе!» — напутствовали приятели.

И вот экзамен. На который Серега явился с сильнейшей головной болью и дрожанием в коленях.

Когда подошла очередь, Серега медленно приблизился к столу экзаменатора и принялся копать в куче билетов. Щупал билеты, закатывал глаза, шептал что-то...

«Прекратите валять дурака! — прикрикнул на него профессор. — И вообще отложите билет, он вам не понадобится. Мы сразу перейдем к сути, — зловеще улыбнувшись, сказал он. — Представьте себе, что вам дано задание заложить динамитный заряд, дабы открыть доступ к природным богатствам нашей великой и необъятной Родины... Идите к доске и возьмите мел. Рисуйте же гору, голубчик, рисуйте, что вы канителитесь!»

Серега начертил равнобедренный треугольник, долженствовавший графически изображать гору, и, прицелившись, поставил жирную точку на его вершине. «Это еще что такое?» — удивился профессор. «Дыра, ведущая вниз, к основанию горы». «И как вы заберетесь на эту гору, чтобы пробить эту вашу дыру?» — не скрывая презрения, спросил профессор.

Серега усмехнулся и, памятуя наказ друзей, уверенно сказал: «Нет ничего проще. У меня есть один знакомый пожарный, так тот за бутылку водки заберется куда угодно, хоть на Эверест! Что ему какая-то сраная гора...» В воздухе еще висели слова о «сраной горе», а профессор уже колотил Серегу по голове фолиантом «Горное дело». Глава научной школы наподдал ему ногой под зад и погнал по коридору в сторону деканата. Гнал и вопил во все горло: «Я тебе покажу «пожарный», сукин сын!»

Серега жил с женой в знаменитом доме на Набережной. Оттуда редко приходили какие-либо известия. Там всегда было тихо. Даже в далекие

тридцатые, когда люди из этого зловещего дома исчезали целыми этажами. Повторяю, из этого дома редко доходили до наших ушей какие-либо сведения. Но это дошло.

С Сергеем случилось несчастье.

Обидевшись на жену, которая во втором часу ночи встретила его не поцелуем, а пощечиной, Серега решил уйти из дома. Навсегда. И, перепутав спяну окно с дверью, «вышел» на улицу, вернее во двор, с эркерного, очень высокого, этажа.

Нелепо взмахнув руками, Серега вылетел из окна и упал на мокрый асфальт. Упал он плашмя. Так падают лягушки, если их подбросить и убрать ладонь. Всевышний ладонь не подставил, и Серега с высоты четырех метров с истошным воплем рухнул наземь.

Через полчаса он был в Склифе. Рентгенолог, к своему изумлению, не обнаружил никакой патологии: кости целы, внутренние органы — тоже. Но все остальное...

Перед докторами лежал не человек, а один сплошной синяк. И этот синяк постанывал, умоляя дать ему опохмелиться.

Дежурный врач не знал, что написать в медицинском заключении. Он долго чесал за ухом, и, наконец, из-под его пера выплыло:

«Ушиб всего тела. Нуждается в стационарном лечении».

После больницы Серега так исхудал, что не отбрасывал тени.

Через месяц он сидел у меня на кухне, с остервенением колошматил воблой по столешнице, наливался пивом и вовсю костерил советскую власть.

Теперь о его липовом диссидентстве. Сергей Львович Лифшиц был обладателем уникального паспорта. Он хранил его в «пистончике», так назывался маленький карман в брюках, под ремешком, рядом с гульфиком. Некогда «пистончик» служил местом, где приличные господа держали карманные часы. Карманных часов давно никто не носил — все перешли на наручные, — да и приличные господа перевелись, но странный обычай шить брюки с карманчиком для часов сохранялся вплоть до конца XX столетия. За неимением карманных часов многие держали в «пистончике» резервный кондом. У Сереги же карманчик служил местом хранения сразу двух чрезвычайно важных документов. Паспорта гражданина СССР и билета члена КПСС. Карманчик был слишком мал. И Серега, аккуратно переломив, сложил паспорт и партбилет в восемь раз.

«Это я сделал в знак протеста», — пояснил он.

Странички в паспорте держались, что называется, на честном слове. Весь паспорт был исписан номерами телефонов. Губной помадой.

Серега очень гордился своим еврейством.

«Под венец каждый, даже антисемит, — говорил он, — идет под звуки вальса еврея Мендельсона, хоронят его под траурный марш еврея Малера, Чарли Чаплин, Пол Ньюман, Майкл Дуглас, Эйнштейн, Ландау, Бор, Пруст, Штраус, Маркс, Фрейд, Троцкий — евреи... И еще тысячи и тысячи знаменитых евреев, которых знает весь мир. Опять же Христос. Апостолы. А шахматисты?... А главный знаток русского языка еврей Розенталь? А любимцы народа Фаина Раневская, Аркадий Райкин, Андрей Миронов, Владимир Высоцкий, Михаил Жванецкий? Евреи на каждом шагу... Мир засыпан евреями, как снегом.

Когда еврей слышит родные имена знаменитых людей, он не раздувается от спеси, как стал бы это делать татарин, украинец или даже армянин, а спокойно констатирует: «Ну вот, и этот из наших».

Кстати, величайшим просчетом Гитлера было то, что он поставил не на тот номер. Он ошибся с выбором. Евреи, иди они в одной с ним упряжке, уберегли бы его от фатальных промахов.

Евреев во всем мире всего-то несколько миллионов. Но посмотрите, сколько великих имен! Процент выдающихся людей у этой вечно гонимой нации неизмеримо выше, чем у любой другой».

Серегу отчислили с четвертого курса. За ненужное умствование, которое очень многим напоминало заурядный вздор. Замаячила армия. В военкомате его спросили о национальности. Он заявил, что он еврейский алеут.

— А это еще что такое?! — вытаращил глаза капитан.

— Это... это вроде итальянца. Вроде такого, понимаете ли, заполярного итальянца.

Капитану, одуревшему к концу дня от общения с призывниками, пришлось вступить в разговор.

— Знаешь, парень, не дури! Ты можешь представить себе кого-то, кто был бы вроде кого-то? Вроде француза, вроде русского, вроде немца? Можешь?

— Я не могу. А евреи могут. Они вообще все могут... Я еврейский алеут.

— Так и запишем, — сказал капитан, которому надоели все эти неразрешимые проблемы, — еврейский алеут, сокращенно евреут. А по профессии ты кто?

— А по профессии я клептоман.

— А это что такое? — опять удивился капитан.

— Клептоман, — пояснил Серега, — это специалист по серебряным ложкам и позолоченным вилкам.

— Отлично, — воскликнул капитан, — пойдешь в повара!

Мы с ним не виделись много лет. На днях включаю телевизор. Идет передача об истории диссидентства. Сидят убеленными сединами заслуженные правозащитники. Надтреснутыми голосами вещают о своем выдающемся вкладе в дело демократии. Не знаю, где набрали столько трепачей... И тут, к своему изумлению, среди этой шатии-братии нахожу постаревшего на тридцать лет Серегу. Вид у него до того благообразный, что в жизни не подумаешь, что это он когда-то спьяну шмякнулся об асфальт. И тут Серега принимается балаболить о своей диссидентской деятельности. У меня глаза на лоб полезли. Оказывается, его самими близкими друзьями были не алкаши с Большой Полянки, а Солженицын, Даниэль, Синяевский, Буковский, Сахаров и Ростропович, которые шагу не могли ступить без его мудрых советов. Ну, какой из Сереги, спрашивается, правозащитник? Вот колошматить воблой по столу — это пожалуйста. Кстати, Серега теперь заседает в Президентском Совете по правам человека. Даже не представляю, что он там делает...

А вообще давать советы Серега был мастак. Вот послушай. Когда мне было лет восемнадцать, я влюбился. Страшно страдал, сомневаясь в верности своей избранницы. В общем, рядовая история, которая может случиться с каждым. Но тогда мне казалось, что на всем белом свете только я один могу страдать от любви с такой сатанинской силой. Ночей не спал, изводил себя воображаемыми картинками, сам знаешь, какими. Вконец измучившись, решил поделиться своими бедами с Серегой, который был опытней меня и на год старше. Я надеялся получить профессиональный совет. Я целый час, стараясь достучаться до его сердца, говорил ему о своей неземной любви. Весь этот час Серега просидел неподвижно, с закрытыми глазами, в позе терпеливого уважительного ожидания.

Свою исповедь закончил вопросом:

— Скажи, что мне делать? — я замер, ожидая профессионального дружеского совета.

Серега долго молчал, потом открыл глаза да как рявкнет:

— Пошёл в жопу!

Вот так: ни больше ни меньше — в жопу.

Спасибо Сереге, он сделал все правильно. Во-первых, он вмиг излечил меня от любовной горячки. Во-вторых, отучил задавать глупые вопросы.

Я попытался вставить слово и сказал невпопад:

— Да, у каждого диссидента своя история борьбы с режимом... У меня все приятели были такие же. Но в наше время...

Он скривился и перебил меня:

— Наше время, наше время... Много пили, вот какое было наше время. Я всегда дружил с пьяницами. Такие были у меня компании. А как бездарно мы проводили время! Пили непрерывно! Правда, иногда ходили на футбол. Реже — в театр, да и то потому, что туда затаскивали жены, соблазняя буфетом. Пару раз ездили за город, за грибами. Один раз — на охоту, но там так перепились, что чуть не перестреляли друг друга. Один раз ездили на Север. Тоже на рыбалку. Так называемую рыбалку, потому и там только и делали что пили. Я там так напился, что танцевал польку-бабочку с лошадей и объесялся ей в любви...

Потом... потом вообще перестали куда-либо ездить. Только в гости. Что-бы напиться до посинения. Время проводили в пустых разговорах, в подначках и каверзах. Все превращали в шутку. Беспреданно валяли ваньку. Такой был стиль. Не спорю, острословов и шутников хватало. Были талантливые рассказчики и выдающиеся остряки. Но все заканчивалось пьянкой и девками. Потом, утром, плелись на работу, а вечером те, кто был женат, возвращались как побитые собаки под семейный кров, вымаливая у жен прощение. Я один раз вернулся домой после недельного пьянства, стоял на коленях, умоляя жену простить меня. А уже на следующий день пошел выносить мусорное ведро и опять исчез на неделю. Использовали любой предлог — только бы напиться.

Умудрялись при этом много читать, глубокомысленно рассуждать о политике, делать карьеру, кстати, некоторые стали крупными руководителями, видными учеными, журналистами. Даже писателями. Как это нам удавалось — уму непостижимо, это главная загадка нашего крепко выпивавшего поколения. Видно, Россия без пьяниц — это уже и не Россия, а что-то другое.

Да, чуть не забыл... На ту северную рыбалку я отправился с Серегой Лифшицем и еще тремя другими приятелями, большими любителя по пьянствовать на пленэре. Представь себе Север. Енисей. В первый же день, не смотря на беспобудное пьянство, мы сумели не только не утонуть, но еще и наловить рыбы и в огромном котле сварить уху. В дело пошло все — и лещ, и сиг, и окунь, и судак. Попал туда, в сборную уху, и налим. Кашеварил Серега. Мы не знали, что у аборигенов налим — сорная рыба. Они ее чуют за версту. Называют налима почему-то «другом».

Вечером нас навестили дружественные местные летчики. Они вошли в избу и закурили сморщенными носами:

— Зачем друга-то положили?

Сереге обиделся, он был уверен, что сварил лучшую в мире уху. Все легли спать, а он всю ночь пил спирт и назло летчикам закусывал ухой. К утру высадил пол-литра спирта и сожрал всю уху. То есть одолел котел ухи. Не пощадил даже рыбьих голов, оставив на дне только хребты.

— Смысл жизни — в самой жизни, — с восторгом говорил он летчикам утром. — Это открытие я сделал сегодня ночью. Потом, когда я уже добирал уху, я сделал второе открытие. Куда более важное, чем первое. Дело в том, что первое открытие сделали задолго до меня. Это общеизвестно. Я вспомнил, что Зинаида Гиппиус, которую вы, конечно, знаете, сказала, что эту истину о смысле жизни давным-давно знали и Платон, и Достоевский, и Толстой, и Мережковский, и Осоргин. Эти имена, вам, конечно, тоже хорошо знакомы.

Летчики слушали Серегу с большим вниманием.

— Таким образом, — продолжал он, — чем дальше, тем чаще я самостоятельно открываю истины, давно открытые другими. Что приводит меня к мысли, что я либо родился философом, либо просто плохо учился и вместо того, чтобы брать готовые рецепты, в муках изобретал то, что давно открыто... Что вы так на меня смотрите?

— Да был у нас тут один такой изобретатель, из Питера, — заметил один из летчиков и сплюнул. — Тоже варил уху черт знает из чего и болтал о всяких там Мережковских и Гиппиусах...

— И что же вы с ним сделали?.. — заподозрив неладное, спросил Серега.

— Сварили вместе с «другом».

Я засмеялся.

— Твой рассказ... знаешь, мне вдруг захотелось ухи.

Платон взял в руки колокольчик. Раздался мелодичный звон.

Открылась дверь, и в ней возникла услужливая физиономия капитана.

— На завтра уху, — повелел Платон.

— Из тунца?

— Я тебе покажу — из тунца! Стерляжью, с расстегаями и ростовскими раками! И вели подавать поросенка, мой адмирал!

— Адмирал?!

— Да, братец, мы тут со Львом Николаевичем посовещались и милостиво соизволили произвести тебя в адмиралы. Насадил орла на погон, общей себя галунами с ног до головы и навесил на чресла адмиральский кортик. Так, где же поросенок?..

— Прошу великодушно простить, ваше сиятельство...

— Только не говори, что поросенок не готов.

— Не застыл-с, Ваше высокопревосходительство! Желе еще...

— Протобестия! Каналья! — загремел Платон. — Разжалую в юнги!

Капитан исчез.

— Ваше высокопревосходительство?! Как это понимать? Как причуду? — спросил я.

— Увы, все забыли, — усмехнулся Платон, — что я полтора года занимал пост заместителя председателя правительства. Мне присвоили разряд действительного государственного советника 1-го класса. Что соответствует чину действительного тайного советника в царской России. А к действительным тайным советникам обращались именно так. Тогда умели относиться с почтением к слугам отечества.

— С сиятельством — та же история?

— Нет, это уже за деньги. Один чрезвычайно сообразительный пройдоха торжественно открыл в подвале на Неглинной балаган. Назывался он так: Международный Монархический Двор, или что-то в этом роде. Короче, пройдоха принялся за деньги раздавать дворянские титулы. Он ручался, что за три деревянных лимона он кому угодно, хоть свинопасу, хоть разбойнику, раскопает в древних архивах, анналах и летописях достоверную запись о том, что его предки произошли если не от Адама и Евы, то уж точно от Вещего Олега или Святополка Окаянного, а графство получили из рук самого Ричарда Львиное Сердце.

— И ты не устоял.

— Всем хотелось потешить свое тщеславие. От Березовского до Чубайса... Э, да что говорить! У пройдохи была такая такса: лимон — дворянство. Два — баронство. Три — графство. За четыре он твердо гарантировал герцогство или даже курфюрство. Это он сделал Лужкова светлейшим князем.

Занимался он и организацией развлечений для бизнесменов, не знавших, куда девать деньги. Пройдоха начинал вполне традиционно, занимаясь организацией вечеринок и банкетов для очень состоятельных людей. Однако вскоре искушенной публике наскучили светские рауты, они жаждали большего, хотели быть заинтригованными. Он стал устраивать развлечения всех видов — от экзотичных до непристойных. Он придумывал игры. Например, одевал клиентов как бродяг и вез их на вокзал. Они должны были просить милостыню. Кто наберет больше всего монет за утро, тот и выиграл. Жены этих бизнесменов тоже захотели играть. Их отправили работать официантками в забегаловки. Выигрывала та, которая получала больше чаевых. Иногда они должны были играть роль стриптизерш. Некоторые очень богатые женщины хотят играть роли проституток. Он организовывал и это. Конечно, они не идут до конца. Почему им хочется делать такие вещи? В глубине ими движет страх, что когда-нибудь они

могут оказаться нищими, проститутками... многие помнят, что начинали именно с этого...

— А зачем ты вообще полез туда... наверх?

Платон думал недолго.

— Я был вроде тебя... Такой же дурак, надеюсь, ты простишь меня. Я полагал, что могу что-то изменить. Я не экономист, не финансист, не производственник... я интеллектуальный бандит. Как я тебе говорил, я окончил МГУ. Причем филфак. А филологи работать не любят, это тебе каждый скажет, а вот о работе поговорить — тут они мастера, тут они первые! А там, наверху надо вкалывать, работать. Кроме того, нужны специальные знания. Конечно, при сильном желании и упорстве ими можно обзавестись. Кстати, наш президент обладает этими качествами. А я лентяй. Ну, не то чтобы совсем лентяй, но там надо работать от зари до зари. Я знаю, что высшие чиновники очень часто работают годами без выходных. В гробу я это видел. Надо честно признать, что там, наверху, сейчас работают крепкие профессионалы. И очень работоспособные. Там стало все очень сложно. Всякие программы, законы, решения... можно свихнуться. И я, финансово укрепившись, убрался оттуда к чертовой матери.

Послышался странный звук. Словно мышь скреблась. Приоткрылась дверь, и в ней появилась фигура певца. Хотя кумир миллионов был загримирован под Элвиса Пресли, он стал похож на разжиревшего биндюжника с Привоза.

— Можно? — дрожащим голосом спросил он.

— Заходи. Спой нам что-нибудь, типа песни!

— Без фонограммы?! — изумился певец.

— Тогда спляши!

— Я не умею...

— А что ж ты тогда можешь?

— Я ж девиц привез...

— Где ты их откопал? Одолжил у Прохорова?

Певец не ответил.

...До поросенка мы так и не добрались.

После обеда я отправился к себе. По дороге поочередно посетил каюты Хакамады и Касьянова. Я осторожно открыл одну дверь, затем — другую. Каюты были пусты.

Я попал в мир, в котором нельзя было верить никому — особенно тем, кто называет тебя своим другом.

Глава 12

...Обещание свое Платон выполнил. Под покровом темноты, в полночь, в сопровождении двух матросов и моториста, на малюсеньком катере, мы отчалили от яхты и спустя десять минут пристали к берегу.

А еще спустя пять минут мы уже беззаботно фланировали по набережной, полной праздного люда, который неизвестно когда спит. Я был облачен в летний костюм. Платон — в клетчатые шорты до колен и растянутую майку.

...Это случилось на рассвете, когда первые лучи солнца вызолотили набережную и суда у причалов. Мы с Платоном сидели в ресторане, за вынесенным на открытую веранду столом, и прекрасно видели, как взлетела на воздух его яхта. Вернее, мы увидели колоссальный столб воды, который поднялся в том месте, где еще мгновение назад стояла белоснежная красавица с черным стягом на флагштоке. Зрелище было фантастическое. Огромный столб черной воды устремился в поднебесье, словно хотел вобрать в себя всю воду Неаполитанского залива. Через мгновение на землю обрушился страшный грохот, от которого у нас заложило уши.

Земля под ногами заходила ходуном. Рюмки опрокинулись и скатились со стола. Тугая воздушная волна, поднимая тучи мельчайшего песка, пронеслась над нашими головами.

Я успел посмотреть на Платона. Он, широко раскрыв восторженные глаза, наблюдал за катастрофой.

— Я успел... я успел ее застраховать! Какое счастье! — воскликнул он.

— Платон! Там же люди...

— Разве ж это люди... Страшно терять не тех, кто тебя скрытно ненавидит, а тех, кого любишь ты, и тех, кто любит тебя.

— А матросы?

— Еще вечером я, как чувствовал, отпустил всю команду на берег, — произнес он, когда обломки яхты вместе с черной водой начали медленно опускаться в беснующиеся волны. Он покачал головой: — Хорошо, что нас там не было. Теперь ты понял, почему мне не нужна охрана?.. Магнитная мина, по всей видимости.

— Ты знаешь, кто это сделал?

— А ты как думаешь?..

До нашего слуха донеслись завывания пожарных сирен.

Официанты стояли у дверей ресторана и, размахивая салфетками, громко разговаривали.

— Эй! — гневно крикнул Платон.

Через минуту нам принесли водки.

— Если честно, больше всего мне жаль поросенка, — посетовал Платон. Было видно, как он на глазах обретает внутреннее равновесие. — Во всей этой Италии, насквозь провонявшей пищей, никто не знает, что такое заливной поросенок. Придется срочно лететь в Москву... Кстати, ты захватил документы?

Я похлопал себя по карманам. Бумажник с паспортом, кредитными карточками и некоторой суммой денег был при мне.

— Лева, надеюсь, ты меня не бросишь? — услышал я.

Я посмотрел на Платона, на его мятые шорты, линялую майку...

— Это все, чем я располагаю на данный момент, — сказал он и осклабился. Достоинно удивления, но, несмотря на все потрясения, он не потерял присутствия духа. Как, впрочем, и чувства юмора.

— Ты знаешь, как развлекался прежний владелец яхты? Он в холодильной камере держал свиную голову. Хотел привыкнуть. Чтобы потом засунуть туда человечью. Так делал Жан-Бедель Бокасса, африканский император-людоед. Он питался человеческим мясом. Особенно он любил блюда из мяса своих ближайших соратников. На заседаниях государственного совета он высматривал очередную жертву, тыкал в нее пальцем и велел повару к обеду приготовить отбивную из вырезки своего боевого товарища. А в детстве его любимой забавой было связывать хвостами двух котов. С этих невинных забав он начинал. Как я понимаю, таким образом он возвращал в себе негодяя. Я видел эту голову...

Платон не договорил, и я так и не понял, чью голову он имел в виду. Потому что в этот момент у меня зазвонил мобильник. Я услышал голос Полковника:

— Слава богу, вы живы! Господину Борису передайте наши соболезнования по поводу утраты яхты и поздравления в связи с чудесным спасением. По имеющимся у меня данным, это проделки оппозиции. Она перешла к терактам. Пришло время закручивать гайки!

Нам пришлось несколько дней проторчать в неаполитанском отеле «Ромео», пока помощники, переводчики и адвокаты Платона улаживали дела в связи с взрывом на яхте. Два раза меня таскали в полицию, где с меня снимали показания.

Платон умудрился избавиться от внимания папарацци.

— Как тебе это удалось? — спросил я.

— Деньги, — говорил он, многозначительно покачивая головой, — деньги, друг мой, решают многое. А большие деньги решают все!

Настоящий ученый творит потому, что иначе не может. Он, как дисциплинированный альпийский пастух, которому с молодых ногтей внушали, что его задача — это выгонять стадо баранов каждый божий день, ранним-ранним утром, чтобы успеть до полудня добраться до райских полей — туда, где небывало сочна трава и чист и прозрачен воздух. Ученый тот же пастух, только гоняет он по заоблачным высям не стадо, а собственный дух.

Ученый ничего никому не должен. У него ни перед кем нет никаких обязательств. Он свободен. Свободен как птица. Или, скорее, как смертельно больной, который со всей определенностью знает, что завтра, ровно в двенадцать дня, умрет. И неважно, от чего он умрет — главное, что умрет неизбежно. И ему, как тому пастуху, надо успеть... надо успеть до полудня добраться до райских полей.

Болтаясь без дела во времени и пространстве, я начал тосковать по работе. А не вернуться ли мне в свою лабораторию, думал я. Хотя бы на время. Каждый мыслящий индивидуум хотя бы иногда должен заниматься своим делом. И потом, мне еще хочется пожить. Зрелище поднятой на воздух огромной яхты произвело на меня неизгладимое впечатление.

Глава 13

В тот знойный августовский вечер я решил прогуляться по переулкам старой Москвы. Выбрал, естественно, те, которые были мне дороги с детства. Мне всегда нравилось ощущать себя мальчиком. Я решил, что самолюбование затянулось, пора было с ним распрощаться, а заодно и с детством.

Ускользнуть от телохранителей оказалось нетрудно. Я давно приучил их к тому, что вечером никуда не выбираюсь. Эти вконец обнаглевшие и обленившиеся боевые орлы, наверно, и сейчас, уткнувшись в экран телевизора, жуют бутерброды и смотрят прямую трансляцию футбольного матча.

...Я сидел на скамейке на Покровском бульваре и наблюдал, как воробьи воюют из-за огрызка яблока. Толстенький наглый воробушек на скакивал на врагов, и вот, когда он был в шаге от победы, тут-то все и случилось. Я почувствовал несильный удар по затылку. Словно меня ударили подушкой, набитой сахарным песком. Сознание я потерял лишь на мгновение. Больно мне не было. Я встряхнул вдруг отяжелевшей головой и оглянулся. Никого.

Я посмотрел перед собой. Толстенький воробушек победил и теперь яростно терзал огрызок.

Я проверил карманы. Все было на месте.

Я огляделся. Может, кто-то видел, что со мной произошло. Но бульвар был пуст. Только в самом конце его, метрах в ста, высокий и прямой, как палка, старик выгуливал пса. Старик неторопливо брел в мою сторону.

Я ощупал голову. Никакой шишки. Я замер, прислушиваясь к себе. Ощущение было странноватым — от вдруг возникшей пустоты. И безмерной сосущей тоски. Словно из меня изъяли душу. Похожее чувство посетило меня, когда Мишка выдрал мне зуб. И еще в раннем детстве, когда меня забыли накормить обедом. То же ощущение безысходной потери, смертной тоски и жалости к самому себе.

Окружающие предметы, даже очень далекие, обрели четкость, словно приблизились. И в то же время я видел себя как бы со стороны. Наверно, так сходят с ума, подумал я. Начинается это все с раздвоения личности. Тут на меня навалилась невероятная усталость, потянуло в сон. Прилечь бы сейчас,

закрыть глаза и уснуть. Но я знал, если поддамся слабости, то уже никогда не встану. Я сделал невероятное усилие и встал. Все поплыло перед глазами. Я опять опустился на скамейку. В горле пересохло от внезапно возникшей жажды.

— Вам плохо? — услышал я. — Да вы, сударь, как полотно!

Передо мной стоял высокий старик с собакой.

— Воды, я хочу пить, — сказал я слабым голосом. — Меня кто-то ударил.

— Никто вас не трогал. Вы, почтеннейший, все время, так сказать, были в поле моего зрения. Это от жары, голубчик. Или от перенапряжения. У вас, батенька, элементарное нарушение мозгового кровообращения. Это скоро пройдет. У меня так часто бывает, — старик вздохнул, — вот с водой вам помочь не могу. Впрочем, я живу рядом. Позвольте, я вас провожу.

Старик жил один. Он напоил меня холодным отваром из лепестков роз. Вкус у напитка был омерзительный. Но я выпил его с благодарностью. Старик смотрел на меня и улыбался.

— Берегите себя. Вы еще так молоды.

В голосе был намек на зависть. Но его забота тронула меня.

— Не так уж я и молод.

— Вы боитесь смерти? — вдруг спросил он.

— Да, конечно.

— Я — тоже. Поэтому у всех пожилых людей одно на уме: как бы быстрее сыграть в ящик, — он усмехнулся. — Чтобы страх испарился вместе со смертью.

Я кивнул, хотя и не понял, что он имел в виду.

Я пробыл у него недолго. В комнате, на стене, я заметил большую карту Солнечной системы. Старик перехватил мой взгляд.

— Сегодня 21 июля. Ровно через три месяца — Парад Планет, в три часа ночи, аккуратно 21 октября, так сказать «очко», — усмехнувшись, сказал он. — Я ведь по профессии учитель астрономии. Дожить бы до 21 октября... Я загадал, если доживу, значит, проживу еще пять лет. А для меня пять лет — это целая жизнь!

— Для меня тоже.

Почему-то мне врезалась в память эта цифра: 21 октября. «Очко». Планеты во время Большого Парада... Преходящая гармония... Уловить момент... Уловил, и ты в дамках... Уловил — и ты гений? Ему хочется дожить до 21 октября. А мне?..

Старик что-то порывался сказать мне, но не решался. Я догадывался, что рвалось из его души. Старик, конечно, недоговаривал. На самом деле у всех стариков одно на уме: не умереть в одиночестве. Одиночество, когда ты стар и когда тебе уже не на что надеяться, — непосильное, мучительнейшее из испытаний, подбрасываемое каждому из нас под занавес. Когда и сил-то бороться не осталось. Что может быть ужаснее? Но люди все сносят. Что их удерживает на этом свете? Страх? Или все-таки неизбывное желание жить? Надежда, что именно для тебя Господь в последний миг сделает исключение?

— Берегите себя, — повторил старик на прощание. — И непременно покажитесь врачу!

...Я проснулся глубокой ночью от ощущения катастрофы. Словно подо мной обрушился мост. Да он и обрушился.

Я позабыл Формулу.

Глава 14

Сразу же, как только поняли, что от меня пользы не больше, чем вреда, меня перестали воспринимать всерьез. Со мной перестали здороваться. А если и здоровались, то все как-то криво, в сторону, пряча глаза. Наконец в

один прекрасный день у меня отобрали все удостоверения, которые давали право беспрепятственного прохода куда угодно — от Думы до самых высоких кабинетов Совмина. Оставили только дипломатический паспорт, который был мне положен как высшему госчиновнику. Почему не отобрали? Забыли?

В один день я лишился лимузинов и охранников.

Мне, правда, оставили телефон правительственной связи, но это была обычная пластмассовая коробка, которая замолчала одновременно с исчезновением охранников.

Мне даже не позволили забрать свои вещи из кабинета с аквариумом и видом на Кремль. Тогда я робко напомнил о «золотом парашюте». Надо же было мне на что-то жить. Меня попросили назвать сумму. 200 миллионов рублей, сказал я. Я знал, что в этой цифре не было ничего необычного. Бывали парашюты и на порядок больше. В Минфине дама, увешанная брильянтами, возмутилась. Она сказала, что выплаты таких компенсаций компаниями с государственным участием в неадекватных уровню общего благосостояния населения размерах создают угрозу стабильности общественных отношений и подрывают доверие граждан к власти. Она пробубнила это, даже не заглядывая в бумаги. В результате я не получил ни копейки.

Я не стал никому звонить. Понял, бесполезно.

Полоса отчуждения. Изгойство. Атмосфера неприятия и даже травли. Мерзкие статьи в газетах. Меня отторгали. Все годится, когда чужака, вольнодумца и выскочку ставят на место. Очень трудно пережить, когда тебя не воспринимает всерьез ничтожество. А уж если ничтожество еще и презирает тебя!..

Не скажу, что все это меня радовало. Хотя я и знал цену тем, кто меня распинал, я не мог относиться к этому без обиды, равнодушно, с ироничной усмешкой. Как ни пытался, не получалось. Видно, тут-то и давало собой мое «величие замысла». Вместо того чтобы на все наплевать, я страдал. Видно, изначально не было во мне никакого величия. Что-то мешало мне быть «выше этого». Я не выдерживал испытаний. И я устал бороться: порох в пороховнице подмок, он нуждался в просушке. Открытие Формулы все-таки было случайностью, мне повезло. Формула попала ко мне по ошибке.

Лена не отвечала на мои звонки. Ее отца на посту директора музея сменил некий серенький мужичок с толстыми губами и глазами навывкате. Он был очень похож на шуку. Раз я видел его по телевидению. Он отвечал на вопросы интервьюера. Вопросы и ответы я забыл, а вот внешность мужичка врезалась в память, как гвоздь в бревно. Очень несимпатичный мужичок. И говорил он с провинциальным акцентом, взвизгивая в конце каждой фразы и ошибаясь в ударениях.

Мишка с Региной подались в Штаты. Неужели он пришел к выводу, что он больше еврей, чем русский? Процесс обустройства у него, по всей вероятности, затянулся, и поэтому от него нет ни слуху, ни духу.

Петька исчез. Как обычно. Наверно, огорождался батареей из разнокалиберных бутылок и никого ни к ним не подпускает. Никого, кроме разлюбезного Савелия-Бернардо, или как его там... Огорождался и думает думу. Высокую думу. Думу о том, как с помощью тихого пьянства внутренне встряхнуться, дабы духовно обновленным вернуться с (опечатка: надо «к»)) написанию своих замысловатых текстов.

Коля Чертилин умолк навеки. Умер. Жаль. Много ли осталось на свете людей, которые на танке раскатывали по продуктовым магазинам?

Полковник, само собой, утратил ко мне всяческий интерес.

Производство золота свернуто. Они не могли, как бы ни старались, без моего участия сотворить ни грамма золота. Прикрыли вообще все, что каким-то образом было связано с производством золота, а это были десятки больших и малых предприятий.

Прав был Платон: золота не должно быть слишком много, его должно быть ровно столько, сколько кому-то нужно. Трудно было в это поверить. Как-то, когда я сидел у себя на кухне и баюкал свою тоску, он мне позвонил.

— С тобой поступили скверно. Но ты наплой.

— Это правда, что ты купил новую яхту? — спросил я.

— Правда. И уже застраховал. Кстати, если у тебя есть свободное время... Короче, на этот раз заливной поросенок гарантирован. Отправиться можем хоть завтра.

— Спасибо, Платон, — сказал я дрогнувшим голосом. — Но у меня другие планы.

Мы помолчали. Потом он сказал:

— Помнишь, я тебе говорил...

— Чтобы я не лез наверх?

— И это тоже. Не расстраивайся. Эти компании не для таких, как ты. И так будет всегда. Это закон, который нельзя поменять по определению. Просто так должно быть. Это закон на все времена. Смирись. Занимайся своей наукой. Постарайся вспомнить свою Золотую Формулу. Вот это твое. Когда вспомнишь, не забудь обо мне.

— Не забуду, ручаюсь.

— Можно задать тебе неделикатный вопрос?

— Валяй.

— На что ты сейчас живешь? Мне хорошо известно, что умники, вроде тебя, не зарывают на черный день кубышек с золотыми червонцами в цветущих вишневых садах.

— Ты прав, — я усмехнулся, — кубышки нет. Но я не расстраиваюсь. Человек — игрушка бога. Этому-то и надо следовать. Надо жить играя.

— Превосходно! Кто это сказал?

— Твой тезка, в пятом веке до нашей эры...

Глава 15

...Теперь я целые дни проводил у телевизора. Чтобы отупеть и как-то успокоиться. Я смотрел сериалы. Наши, латиноамериканские, индийские. Какие подворачивались, такие и смотрел. Это были часы нечеловеческих страданий. Я скрипел зубами от злости. Но все это отвлекало меня от неприятных мыслей.

Сериалы, по моему глубочайшему убеждению, это сколок жизни. Аккуратно отломанный и тщательно обработанный сколок, без излишних шероховатостей, углов и неровностей. Впрочем, допускается и иной вариант. Жизнь — сколок сериала.

Сериалы повлияли на нашу жизнь. И жизнь большинства стала походить на бездарный дешевый сериал. Наша жизнь настроилась на сериалы, как настраивают телевизионный приемник на нужный канал. Все эти «Как ты мог?!», «Я в шоке», «Реально», «Мой друг по жизни» и прочая словесная шелуха вошли в наш разговорный язык, влияя на образ мыслей и поведение. Двадцать первый век — век фальшивых сериалов. И столь же фальшивой жизни. Скажу больше, мне кажется, наша жизнь — это вообще один сплошной сериал.

Я страшно страдал, но досмотрел-таки все сериалы до конца. И вот на что я обратил внимание. Все сериалы были слеплены из совершенно одинаковых блоков. Как дешевые панельные дома. Блок из одного сериала с легкостью встраивался в структуру другого.

Вам предлагают сериал, фильм, кинокартину, произведенную, вернее сфабрикованную, умельцами, которые к искусству не имеют ни малейшего отношения. Впрочем, сами создатели на причастность к искусству и не претендуют. Да от них этого и не ждут. Все это продукт, вроде соевого батончи-

ка или смартфона. Одно слово — шоу-бизнес. В котором господствует более или менее грамотный ремесленник.

Художник же — изделие Бога. Причем, изделие штучное.

Недавно в Голливуде бастовали сценаристы, требовавшие повышения платы за свои убогие тексты. Так бастуют таксисты, полицейские, почталоны...

Сценаристы сериалов, эти типовые пасынки нашего сумасбродного века, требовали, чтобы им за то, что они ловко научились прилаживать, подгонять один блок к другому, платили не меньше, чем серьезным драматургам и знаменитым актерам.

...Сначала я смотрел сериалы на голодный желудок. Потом решил совместить приятное с полезным и расположился у телевизора, обложившись бутербродами, фруктами и солеными орешками. Налил в стакан виски и постарался настроить себя на просмотр без эмоций.

Я уснул примерно через десять минут. В этот момент главная героиня и ее жених получали известие, что у них общий отец и что живет он под Лионом в собственном замке.

Из сферы бодрствования за мной в сон увязалась мысль, что теперь мне только и остается, что верить в загробную жизнь и воскрешение. Если бы не это, то не стоило бы и появляться на свет, решил я твердо.

Во сне я находился дома и сидел в том же кресле, пялясь в погасший экран, и размышлял о том, что не давало мне покоя тогда, когда я бодрствовал.

Стоит ли затевать всю эту свистопляску под названием жизненный путь, усеянный по большей части не лепестками роз, а колючками и шипами, если ты знаешь, что в конце этого страдальческого пути тебя ждет не бессмертие, о котором мечтает большинство, а полное, невозвратное забвение?

...Я всегда тешил себя надеждой, что когда-нибудь, после смерти, еще увижу всех тех, кто ушел из жизни раньше меня. И вот мне приснилось, что я умер и оказался на Том свете. И что же я увидел?

Да то же, что и всегда: то же осточертевшее застолье с давними друзьями, те же бесплодные разговоры ни о чем...

...Покой... Покой нам только...

Покой, в котором я нуждался, наверно, можно было выискать в книгах. Но то был покой скелета в шкафу, это был чужой покой, да к тому же покрытый пылью. Он не передавался мне. Такой покой был мне не нужен.

Найти покой в воспоминаниях... Можно. В далеком детстве.

Хотя там, в детстве, было столько волнений, страхов, что вроде бы было и не до покоя. Но в воспоминаниях, очищенных временем, которое бывает не только жестоким, но и целительно-милосердным, покой найти можно. У меня было хорошее, добротное детство, в котором было много любви, ласки и заботы. Оно, как ничто иное, подходило для этих целей. Хорошо, когда есть что вспомнить. Особенно перед сном. Легче засыпаешь.

...Я никак не мог разобраться в себе. Мне было сорок, а я не знал, в чем смысл жизни. В удовольствиях? В работе? В достижении неких целей? Каких? Известность? Богатство? Борьба за первенство в какой-то области человеческих знаний?..

Каждодневная жизнь, полная борьбы с самими собой, ответов не давала.

В СМИ просочилась информация, что США разрабатывают проект переработки свинца в золото. И, естественно, в промышленных масштабах. Американцы если уж разворачиваются, так во всю ширь. Какой-то американский китаец, будь он трижды проклят, проник в мою тайну. И теперь этому паршивцу светит Нобель.

Я попытался вернуться к себе в Институт. Но Института не было. На том месте, где прежде возвышались институтские корпуса, теперь расстилалась усеянная битым кирпичом кочковатая равнина, на которой сутились какие-то громко матерящиеся люди в спецовках и ярко-красных касках.

Я лишился всего. Особняк в Колпачном у меня отобрали. Последнее несчастье обрушилось на меня промозглым днем, когда я после невыносимо тоскливой прогулки вернулся домой и не смог открыть дверь. Какой-то негодяй сменил замок. Я давно хотел это сделать, но кто-то, видимо, более предусмотрительный, меня опередил.

Я звонил, стучал в дверь. Добился того, что из соседней квартиры вышел Борис Борисович Лурье. Он был в теплой фланелевой пижаме.

— Здравствуйте, Лурье! — обрадовался я.

— Лурье?! — возмущился он. — Какой еще такой Лурье?! Нет здесь никаких Лурье! Убирайтесь отсюда подобру-поздорову. Понаехали тут всякие... Любка, звони в полицию! — крикнул он.

За спиной мужчины возникла женщина с высокой грудью. Я узнал ее. Любка? Помнится, при первой встрече, когда я отдавал последние силы сборке платяного шкафа, который никак не хотел собираться, она назвалась Светланой Леонидовной. Но теперь она и не думала меня узнавать и устрашающе потрясала чугунной сковородой. И тут же рядом с ней оказался человек в белом халате, которого представили мне тогда как семейного доктора, патологоанатома и превосходного пианиста. Патолог-музыкант посмотрел на меня чрезвычайно недружелюбно и погрозил длинным костлявым пальцем, тем самым, которым, помнится, очень бойко выстукивал похоронный марш Шопена.

Я засмеялся. Все правильно, так мне и надо.

Глава 16

...И вот я во Франции.

Я очень похудел. Можно сказать, исхудал. С потерей веса пошел на спад мой безоглядный оптимизм. Мною довольно быстро овладел пессимизм. Потом пессимизм вяло перетек в безразличие. Безразличие — это уже неплохо. Это лучше, чем отчаяние. С безразличием можно жить. Главное, чтобы следом не припожаловала депрессия. Такое бывает. Безразличие же, чистое, свободное от наслоений, — плодотворно. Оно способствует философскому восприятию жизни: если тебе на все наплевать, все в мире подравнивается и на все легко приклеить оценочный или философский ярлык.

Живу я в Париже, упоминание о котором некогда так переположило мою последнюю жену. Да будет покойно ей на том свете. Аминь! О Париже, кстати, я всегда мечтал. Правда, живу я не в привилегированном 16-м аррондисмане, не в Пасси, не в роскошной квартире с лепниной, картинами Добиньи и Ксавье, хрустальными люстрами и усатой консьержкой на нулевом этаже, а под мостом. Под мостом Менял. Есть в Париже такой мост. К слову, находится он в центре, что говорит в его пользу. Мост Менял один из самых красивых, самых старых и самых надежных. Что тоже говорит в его пользу. По крайней мере, можешь спать без опасений, что в одну прекрасную ночь он рухнет тебе на голову. Пространство под мостом издавна облюбовано нищими со всех концов света. Живут они подаяньем или мелким, почти без-

обидным, воровством. Воруют в основном еду. Своруют, насытятся и задумчиво ковыряют в зубах.

Недавно мой новый приятель и сосед по ночлегу, спившийся историк, бывший директор Краковского этнографического музея пан Станислав Шиманский сообщил под большим секретом, что институт Пастера за приличное вознаграждение принимает мужские скелеты. Платят по весу.

— То, что вы так похудели, это даже хорошо, — одобрительно отозвался Шиманский о моей худобе. Он медленно обходил меня, оглядывая с ног до головы. — Мясо на костях изрядно обвисло и будет отходить от костей уже через пару часов после варки в чане, — с видом знатока сообщил он и тут же сокрушенно воскликнул: — Только где взять чан? Вот проблема!

Шиманский сумасшедший, в этом нет сомнений, таких здесь навалом.

Когда я смотрю на мост снизу, с того места, где видны крепления, грубые основания, быки, плотно увязанные пуки электропроводки, покрытые выцветшей краской трубы и прочие безрадостные атрибуты изнанки урбанизации, скрытые от взгляда туриста, я вспоминаю Генри Миллера и его слова о парижских мостах. И мне становится не по себе. Неужели со времен Миллера Париж так уж сильно изменился? Или у Миллера был свой Париж, а у меня — свой? У меня складывается впечатление, что Миллер, хотя и бедствовал, все же наблюдал Париж не из-под моста, а из окна кафе. Сидел себе в кафе, попивал кофе и, предвкушающее облизываясь, таращился на проститутку. Иногда посматривал в сторону Сены. А Сена — это река жизни. Так он это понимал. Когда это пойму и я, глядишь, в моей жизни что-то изменится. Я тоже смотрю на Сену. В надежде, что течение великой реки увлечет за собой мои мысли и устремит их в правильном направлении.

Если вспомнить мою прежнюю жизнь, то все беды, которые казались мне верхом страданий, ничто в сравнении с моей нынешней жизнью. Но мне здесь нравится. И под мостом, оказывается, можно жить. Первое время, кстати, я жил в дорогах отелях. Но деньги быстро подошли к концу.

— Скелет выкупают, естественно, до смерти его хозяина, — объясняет мне Шиманский. — Делается это так. Приходите, заполняете анкету, потом вас взвешивают. Целиком! То есть с мясом, кишками, костями, волосами, зубами, словом, со всякой мерзостью, которая и есть, собственно, человек. Не взвесишь же душу! Хотя какой-то умник-испытатель, кажется, пытался. А потом вы подписываете бумагу, которая намертво привязывает вас и ваш скелет к этому институту.

— А если я передумаю?

— Ничего не выйдет! — решительно крутит головой мой новый друг. — Они отберут у вас костяк насильственно. Им дано такое право. У них там, на стене, — продолжает он, — висит такая таблица, которая с точностью до десятых долей миллиграмма позволяет определять вес скелета еще при жизни клиента. Вот вы приходите, встаете на электронные весы, вас взвешивают, и на экране появляетесь вы, только уже без мяса. Одни кости. А внизу — цена. Зрелище завораживающее! Больше платят, разумеется, тем, кто, не мешкая, предъявляет скелет в чистом, так сказать, виде. То есть скелет, отполированный и освобожденный от живой плоти.

— Ничего не понимаю... Не могу же я под мышкой притаранить к ним собственный скелет!

— Я вам позже объясню. А теперь, Луи, давайте обедать. Можно я буду звать вас Луи? Это ведь так по-французски... будь они прокляты, эти французы. Я принес жареную баранью почку, Луи. Сейчас мы воздадим ей должное. Она, правда, немного подгорела. Поэтому ее и сбросили в мусорный бак. Но она еще очень даже ничего. И она теплая! — восклицает он с воодушевлением. — А это особенно ценно! Она вполне съедобна. А уж если

вспомнить, что именно такой подгоревшей почкой мечтал усладить себя джойсовский Блум, то трапеза обретет еще и некоторые признаки духовности! Я делюсь с вами по-братски, отрезаю половину.

Я вежливо отказываюсь. Он пожимает плечами и начинает есть. У Шиманского вставные зубы, и пережаренная почка хрустит, словно ее перемалывают в крупорушке.

— Что нам остается? — болтает он. — Человеческий скелет, слегка подгоревшая баранья почка и интеллектуальная беседа. Древние были правы, когда об этом говорили. Что мне все ценности мира! Что мне Гекуба! Дайте мне точку опоры, точнее собеседника по плечу, и я переверну весь мир! Вы станете моей точкой опоры, Луи. Я обопрусь о вас и с легкостью переверну землю! Это будет мне по силам: ведь наш насквозь прогнивший мир сильно потерял в весе, он весь источен червями! Вот бы чей скелет отнести к Пастеру! Приучайтесь мыслить абстрактно. Если все ваши помыслы будут заняты только завлекательными мечтами о девицах и белоснежных яхтах... вам конец. Вы упустите многое из того, что открыто пылливому и взыскательному взору. Мир несравненно богаче и интересней ваших представлений о нем.

— Вы противоречите сами себе, — замечаю я.

— Учтите, — упрямо продолжает он, — грядет бездумный век, век, когда мысль будет подменена имитацией мысли... все упрется в экран компьютера, и мысль там и застрянет... Никто не спорит: компьютер расширил наше представление о мире. Но он же и обеднил его. Фигурально выражаясь, компьютер сузил мир до размеров экрана монитора. Компьютер — это очень опасная имитация реальности.

Сказав это, Шиманский тут же перескакивает на другую тему:

— Сам себе я всегда казался Атлантом, поддерживающим огромное чистое небо. А на самом деле небо это не было чистым, как лицо девственницы, и не бескрайним, как вселенная. Оно было затянuto черными тучами и было размером с полотенце или сероватый лоскуток чужой свободы, который видит в зарешеченное оконце осужденный на смерть.

— Очень красиво. Очень! Странно, что вы не стали поэтом! Но Атланты, к вашему сведению, поддерживают не небо, а балконы. А небо, так повелось с древнегреческих времен, поддерживал Атлас. Вы все перепутали...

— Это вы все перепутали! Они, я имею в виду Атланта и Атласа, делали это по очереди. Когда Атланту надоедало держать небо, он отдыхал и лакомился яблоками Гесперид. А Атлас тем временем, потев от натуги и проклиная все на свете, держал небо и подглядывал одним глазом за волосами Медузы Горгоны. Таким макаром развлекались древние боги.

— Да, развлечений у них было маловато. Им не позавидуешь.

— Вообще эти древние греки запутались в своих богах. Они сами ни черта не знали. Но они пытались разобраться в строении мира и для этого, чтобы понять, что к чему, придумали философию...

— Господи, как же все сложно!

Когда-то Шиманский читал лекции студентам, и теперь, лишенный возможности часами болтать на исторические темы, невероятно страдает. Я становлюсь его каждодневной жертвой. Когда он бывает под мухой, его не остановить: его красноречие безудержно.

Но мне нравится его слушать. И вообще он мне нравится.

— Как вы здесь оказались, мой юный друг? В Париже, да еще под мостом? — спрашивает он, шелуша крутое яйцо.

— Тухлое? — интересуюсь я.

— Скорее всего, да. Но у меня от пьянства, к счастью, атрофировался вкус. И теперь без опасений срыгнуть я могу сожрать любую тухлятину, — тем не менее, Шиманский на всякий случай осматривает яйцо и даже пытается его обнюхать. — Кажется, не протухло. Так каким ветром вас сюда занесло, Луи?

Мне уже задавали подобный вопрос и совсем недавно, думаю я. Я вспоминаю землянку, жару, раненого бородача. Тогда я промолчал. На этот раз я не оставляю вопрос без ответа:

— Как я здесь оказался? Я о Париже всегда мечтал.

— Ликуйте, ваша мечта сбылась! — торжественно изрекает Шиманский и обводит рукой с зажатым в ней тухлым яйцом пространство под мостом.

— Я наполовину поляк, наполовину русский и наполовину еврей... — говорит Шиманский. В руке у него бутылка скверной водки. Он сидит на перевернутом ведре. Он с этим ведром не расстанется. Он говорит, что помечтал в Париже уже множество мостов, но ведро всегда при нем.

— Не слишком ли много половинок?

— Не слишком. Исходя из соображений целесообразности, я их тасую между собой, одну половинку держу за пазухой, из двух других сооружаю кратковременную наднациональную единицу. Когда надо, я наполовину поляк, наполовину русский, когда надо — наполовину русский, наполовину еврей и т.д. Очень удобно. Быть кем-то и одновременно не быть никем — в этом состоит высокий и трагический смысл космополитизма. Я вынужденный и непреднамеренный гражданин мира! — громоподобно орет он, и голос его разносится под сводами моста. — Я космополит! И горжусь этим! Демонстрируя разрыв с отечеством и моралью, я являюсь действующей моделью одной пошлой максимы, придуманной неким де Монбронем: мир подобен книге, и тот, кто знает только свою страну, прочитал в ней лишь первую страницу. Поэтому я здесь, в этой гнусной стране, под этим самым гнусным мостом в мире... — он валится на жесткую постель, состоящую из уложенных друг на друга разобранных картонных коробок, и тут же начинает храпеть.

...По прошествии нескольких недель меня стало тяготить отсутствие женской ласки. И дело не только в примитивной животной физиологии. Да и кто знает, где кончается физиология и начинается духовность? Словом, мне нужна была женщина. Неважно какая. Я был согласен на потрепанную проститутку. Но проститутка, даже вконец изношенная, стоит денег. А их-то у меня и не было.

И тут к нам под мост поздно вечером забрела пьяная цыганка. Шиманский, сидя на своем ведре, прихлебывал водку прямо из бутылки. Он с видимым наслаждением смаковал напиток, словно это было не дешевое пойло, а коньяк. Цыганка, ни слова не говоря, вырвала бутылку из рук Шиманского. Ее напор был столь внезапным и решительным, что Шиманский от растерянности привстал и открыл рот.

Цыганка пила, как заправский пьяница — словно в горн дудела. Я уже и забыл, как это делается. Прикончив бутылку, она вернула ее Шиманскому. Шиманский послушно принял бутылку и зачем-то перевернул ее горлышком вниз. Потом, прошептав что-то по-польски, размахнулся и швырнул бутылку в воды Сены.

Не прошло и минуты, как цыганка улеглась на его ложе из картонных листов и с блаженной улыбкой уснула.

Немного придя в себя, Шиманский отправился на поиски выпивки. Я же лег рядом с цыганкой и попытался уснуть. Шел дождь. Было слышно, как шуршат шины по мокрому асфальту и шумят на Сене прогулочные теплоходы. Я закрыл глаза. Сквозняк гулял под мостом и оведал потный лоб. Я лежал на проклятом картоне и вспоминал Москву, свою квартиру на Воздвиженке, особняк в Колпачном, в котором я короткое время был почти счастлив. Воспоминания входили в мое сознание легко и послушно. Словно и не было того рокового вечера и того рокового удара, когда из памяти было выбито то, что составляло главную, важнейшую ценность моей жизни, — Золотую Формулу. Вот тут память тормозила, намертво стопорилась.

...Ночью я прокрался к цыганке. Меня едва не вырвало от запаха прокисших лохмотьев и дешевого одеколона.

Господи, прости меня!

Шиманского я больше не видел. Трудно сказать, куда он подевался. Может, отправился к живодерам в Пастеровский институт? Жаль, если это так.

Цыганка тоже исчезла. Пропал и мой бумажник. Слава богу, в нем ничего не было. Из этого можно сделать вывод, что удача иногда отворачивается даже от цыганок.

Деньги у меня давно не водятся, а дипломатический паспорт, огрызок карандаша и сложенный вчетверо лист плотной бумаги я прячу на груди, в кожаном мешочке: это что-то вроде оберега, пепла моих разноязыких предков и ладанки на счастье. Зачем я таскаю все это на груди? С паспортом понятно. А вот с карандашом и бумагой... Если лист развернуть, то окажется, что он девственно чист. Но этот листок — моя последняя надежда, мой пропуск в будущее: вдруг Золотая Формула вновь оживет в моей голове и пылающей латиницей и цифирью взорвет ночной покой. И тогда я, ломая грифель, впишу в него волшебный код. И тогда для меня начнется новая жизнь, в которую я почти перестал верить. Трудно верить в свое счастливое предназначение, когда лежишь под мостом и мечтаешь о еде. Трудно верить в счастье на голодный желудок. И откуда я взял, что я оптимист? Да я никогда им не был!

Что искала у меня цыганка? Вряд ли она рассчитывала меня обокрасть. Грабить бездомного... Что-то здесь не так. Опять меня «пасут»? Надеются, что вспомню Формулу? И караулят, ждут, когда ко мне придет озарение?

Как раз в те дни, когда я всерьез подумывал, а не отдаться ли и мне живодерам из Пастеровского института, мне неожиданно повезло. Что наводит на мысль, что Тот, кто сверху внимательно отслеживает, что я вытворяю на земле, решил помочь мне в очередной раз. Видно, Господь приходит на выручку не только тем, кто верит в Него беспрекословно. Но и тем, кто верит в Него с оговорками.

Возможно, Спаситель, сжалившись надо мной, отобрал у покойного академика Бочкарева эстафетную палочку везения. И передал ее мне — на временное хранение. Своего везения мне явно не хватало. Лимит его, как говорится, был исчерпан.

...Я очень редко выбираюсь из-под моста. Делаю это, как правило, под вечер. Выхожу на мост и робко прошу подать мне хотя бы одно евро. Этого хватит на булочку с маком. Вернее, без мака.

Вот и на этот раз...

— Лев Николаевич! Вы ли это? — услышал я насмешливый голос. У меня подкосились ноги, и я упал в объятия Мишки.

Глава 17

Спустя несколько дней, отмытый от грязи, выбритый и модно постриженный, благоухающий лосьоном, облаченный в костюм от Бриони (образец респектабельности, элегантности и чуть небрежного изыска), я сидел в салоне авиалайнера, держащего курс в Лос-Анджелес. Рядом со мной расположился Мишка со своей очаровательной пассией. Мы развлекались спиртными напитками и услаждали себя беседой.

— Это же просто чудо, что я нашел тебя, это что-то невообразимое! — болтал Мишка. — Меня почему-то потянуло прогуляться именно по этому мосту. Невероятно! Шанс разминуться у нас с тобой был в миллиард раз выше шанса встретиться! Судьба! Рок! Фатум!

Да, моя персональная Фортуна вновь обратила на меня свое сияющее чело. Она поворачивается ко мне тогда, когда ей вздумается.

— Но ты нарушил мой отдых, помешал мне в полной мере вкусить блаженство от ощущения свободы, — ворчал Мишка. — Я воспользовался тем,

что Регина отдыхает на Шелтер-Айленде, под Сан-Диего, и махнул в Париж на конгресс стоматологов. Кстати, отправилась она в Сан-Диего не одна, — Мишка многозначительно посмотрел на меня.

Я промолчал. Кто его знает, какие у Мишки с Региной теперь отношения. Америка такая страна, где все возможно.

— Она там не одна, — повторил Мишка, — она отдыхает вместе с твоей Леной.

Оказывается, пока я занимался в Москве своими «государственными» делами, наслаждался новым домом, «делал» золото, тусовался (слово, мерзостнее которого трудно сыскать) с людьми, к которым не испытывал ровным счетом ничего, отодвигая Лену на третий план, она сблизилась с Региной и стала ее подружкой.

Мишка бросил взгляд на часы.

— Через три часа ты ее увидишь. Они с Региной будут встречать нас в аэропорту.

Я посмотрел на Мишкину спутницу. Она улыбнулась, едва не ослепив меня фарфоровыми зубами. Я узнал ее. Не только по зубам. Наташа стала еще красивей.

— А как ты объяснишь Регине?.. — я скосил глаза, намекая на Наташу.

— Его жена знает, что Михаил Львович живет на две семьи, — сказала девушка и равнодушно добавила: — Она смирилась.

— Не утомляй меня без ну-ужды, а утомляй лишь по ну-ужде-е, — фальшиво пропел Мишка. — Твой удел ждать, Наташка. Ждать и надеяться. Так велел Монте Кристо.

— А твой удел?

Мишка ответил не задумываясь:

— Мой удел — всю жизнь валять дурака.

Мишка повернулся ко мне.

— Кстати, что ты делал под мостом?

— Отдыхал.

— Странный отдых.

— Каждый отдыхает, где может. Кто-то — в Сан-Диего. А кто-то — под мостом.

— Убедительно, весьма убедительно! — кивнул головой Мишка. — А ты все такой же балагур, ничуть не изменился.

— Нет, — сказал я серьезно, — я изменился. Я очень изменился.

Глава 18

...Надолго мы с Мишкой в Штатах не задержались. Через пару недель, когда я отъехал, набрался сил и обрел надлежащую форму, Мишка неожиданно сообщил, что возвращается в Москву. Вместе с Региной и Наташей. Кстати, Регина и Наташа стойко переносят положение, в котором они оказались по воле своего легкомысленного повелителя. Что лишний раз доказывает, насколько женщины мудрей и дальновидней мужчин.

— Ну, не могу я здесь жить! — кричал Мишка. — Оказалось, что я больше русский, чем еврей. И потом, как бы я тут ни вертелся, мне не заработать столько, сколько я зашибу в Москве. Именно поэтому меня влечет к родным березкам. Что движет человеком, что заставляет его каждое утро вставать и заниматься обыденными делами? И так изо дня в день. От молодых лет до смерти. Привычка? Страх очутиться на улице? Или идея? Если человек напичкан идеологией, неважно какой, тогда все понятно. Он будет ради идеи резать, убивать, сжигать или строить дома, вырывать зубы, перекрывать реки. А если убрать идеологию? С чем останется человек? Есть что-то кроме всепоглощающей страсти к знаниям, желания повелевать миллионами, заниматься любимым делом, призвания служить чему-то или кому-то, что-

то, что досталось нам от далеких и не очень далеких предков. А им от кого? От Бога? Короче, ты как знаешь, а я уезжаю.

Странная логика. Иногда Мишку совершенно невозможно понять. Все смешал в кучу.

Его решение вернуться меня удивило. Он только-только начал вживаться в житье-бытье русской колонии, купил квартиру, получил патент, снял помещение для стоматологического кабинета. Они с Региной подумывали перебраться в пригород Лос-Анджелеса, где обосновались десятки стоматологов из России, понастроившие себе там виллы с искусственными гротами и маленькими фонтанами.

— В Москве я сам себе хозяин, здесь — униженный проситель, — ярит он сам себя. — Да провались она пропадом, эта их хваленная заокеанская демократия!

Лос-Анджелеса я почти не видел. Все время ел и спал. Смотрел русское ТВ. По просьбе Регины выгуливал пуделя. С тоской взирал на длинный ряд одинаковых домов. Далеко за домами возвышались трубы, по виду заводские.

Мишка возил меня по городу, я запомнил русский продуктовый магазин на оживленной улице, какого-то дядю Шуру в фартуке и с поварским колпаком на очень большой круглой голове. Дядя Шура угощал Мишку рыбой. Кормил он его так, как на Востоке гостя угощают пловом. С руки. Совал рыбу Мишке под нос и, выжидаяще приоткрыв рот, смотрел, как тот, облизывая пальцы дяди Шуры и расплываясь от блаженства, пожирал эту рыбу, от которой исходил запах болотной тины и индийских специй.

— Какой вкус! Какой волшебный вкус! — воспевал рыбу дядя Шура. — Специально для вас! Сколько вам взвесить? Пять фунтов? Десять?

В Америке я был впервые. Я даже не понял, понравилась она мне или нет. Скорее, нет.

Лена меня не избегала, но при встрече лишь мазнула меня губами по щеке и отошла в сторону.

Девушка с волшебным звездным взглядом прошла мимо. Упустил. И слава Богу!

Да и потом, кто я теперь? Брошенный на произвол судьбы неудачник? Безработный, уволенный со всех постов, бывший профессор с тремя пиджаками, развешанными по разным углам? Кстати, интересно, кто их сейчас носит?

Кому я нужен? Что я могу предложить Лене? Рай-ночлег в шалаше? Приют под мостом Менял? У меня же ничего нет! Где я буду жить в Москве? У меня нет даже двух квадратных метров для гроба.

...В Москву летели через Париж.

— Ты с ума сошел! — закричал Мишка, когда я сказал, что дальше не полечу. — Что ты будешь делать в Париже? Опять полезешь под мост?!

— Да, полезу, — ответил я запальчиво, — меня неудержимо тянет под мост. И не под какой-нибудь там Братеевский или Дорогомиловский, а под мост Менял. Под другим жить не желаю. Если хочешь, можешь составить мне компанию. Там совсем неплохо. Там всегда свежий воздух.

— Я не раз говорил тебе, что ты идиот. Но я тебя не отговариваю, ибо знаю, что это бесполезно. Если ты что-то вобьешь себе в башку... Тебя не переделать, ты упрям как осел.

Я посмотрел на Лену. Она даже не пожала плечами. Просто отвернулась.

...Что-то принуждало меня остановиться в Париже. Я не хотел и не должен был лететь дальше. Я этому порыву верил. Может, этот порыв — это все, что у меня осталось. Я верил, что со мной что-то должно произойти. И именно здесь. Я только не знал — когда. Перспектива же холода и голода меня не пугала. Как-нибудь продержусь.

На прощание мы с Мишкой поцеловались. Крепко обнялись и поцеловались. Чего не делали никогда прежде. Ни я, ни он не любим этих слюнявых старомосковских поцелуев. Поцеловался я с Региной и Наташей. Это было куда приятней. Лену я искал глазами, но не нашел. Она отошла в бар выпить кофе, и больше я ее не видел.

О чем я жалею? О том, что не поцеловался с Мишкой троекратно.

...Мы состоим не только из самих себя. Мы — это и наши близкие, и наши друзья, и наши враги. Без врагов ведь тоже нельзя: враги даны нам для равновесия. Чтобы лучше держать оборону. И все же без врагов я бы как-нибудь обошелся. А вот без друзей... Каждый раз, когда мы теряем друзей, мы не только сиротеем на одну боевую единицу, мы стареем на много лет. Друг забирает и уносит наши годы с собой туда, где нет ни времени, ни забот, ни печалей.

Глава 19

И вот он — мой мост Менял. Шиманского след простыл. Но свято место пусто не бывает. Теперь моя компания — это две крысы, наверно, это семейная пара, муж и жена. Они мне не мешают, утром куда-то исчезают, вечером появляются опять. Все время суетятся и что-то грызут. Надеюсь, они бесплодны.

Я опять исхудал. Я исхудал так, что ботинки приходится подвязывать, как молдавские постолы, — чтобы не спадали. Но больше всего меня изводит нечистота. Я страдаю не от голода, а от отсутствия каждодневного душа, чистых полотенец, душистого мыла и нормального сортира. Но я верю, что должен пройти через всю эту мерзость. Странное это ощущение — безоглядная вера в свое предназначение. И — в то, что это мое время, которое принадлежит мне и только мне, и что в это время я должен находиться там, где нахожусь. Я непрестанно чего-то жду. Голова у меня работает почти, как прежде, словно не было несчастья на Покровском бульваре, когда из моей памяти выветрилось то, что дороже для меня всего на свете.

Я брожу по осеннему Парижу. Я все еще облачен в костюм от Бриони (образец респектабельности, элегантности и чуть небрежного изыска). Я сплю под мостом на ложе из картонных коробок, доставшихся мне в наследство от Шиманского. Это не может не сказываться на состоянии костюма. Я сплю в одежде. То есть сплю, не раздеваясь. И это понятно. По ночам бывает холодно. Разденешься и к утру околеешь. И потом у меня нет ночной сорочки и дурацкого колпака с помпоном, как у Обломова. Не обзавелся. Нет даже сменных трусов до колен и майки на одной бретельке. В моем гардеробе много чего нет. Да и самого гардероба нет. Да, я сплю не раздеваясь. Помоему, моей верхней одежде это идет на пользу. Она лоснится, заминается, приобретает потертость и ту самую элегантность и даже стильную заношенность, которая «считается образцом респектабельности». Многие миллионеры так одеваются. Это стиль тех, кто делает вид, что им на все наплевать. Я их успел повидать, этих доморощенных ленивых снобов, которые стали снобами вчера. Они быстро освоились. Да, я их видел, я бывал с ними знаком, когда был перманентно богат. Было это так давно, что, кажется, видел их не я, а кто-то другой, кто много лет, прикидываясь Львом Николаевичем Старосельским, под моим именем шатался по белому свету.

Иногда я задерживаюсь у дорогих магазинов. Где-нибудь в центре. Елисейские поля, Авеню Монтень, Авеню Георга Пятого — вот мой излюбленный маршрут. Мой, так сказать, моцион. Внутрь я не вхожу, стыжусь: могут запросто указать на дверь — несмотря на мой шикарный костюм от Бриони. Я все-таки попрошайка, а не миллионер.

Я застываю у одной из витрин. Вижу себя, вернее, свое отражение в сверкающих зеркалах. Моя голова с больными глазами и хохолком на ма-

кушке мелькает за спинами разодетых в пух и прах манекенов. Так и хочется прицепить на хохолок ценник. Чтобы дать оценку не только отражению, но и оригиналу. Я верчусь, как обезьяна, разглядываю себя со всех сторон. И хотя в зазеркалье не я, а мое отражение, возникает дивная иллюзия моего присутствия в мертвом мире подделок под людей. Особенно хорошо я смотрюсь в витринах магазинов женской одежды. Мой отраженный зеркальный образ вторгается в застывший мир папье-маше, пластика, туфель на высоком каблуке, котиковых манто, шуб из норки и фальшивых драгоценностей, которые сияют ярче и убедительней настоящих. Высший свет, выставленный на распродажу. Котиковые манто из кролика. Норка из эрдельтерьера, умерщвленного в угоду бережливым декораторам и модельерам. Драгоценности из ограненного бутылочного стекла. Мой витринный двойник начинает чувствовать себя там как дома. По всей видимости, ему там нравится. Вижу это только я. Я единственный свидетель своего перехода в другую реальность. Меня занимает мое отражение. С каждым днем мой облик меняется. Каждый новый день старит меня на год. Наверно, из-за отрастающей щетины и глаз, которые день ото дня все глубже влипают в глазницы. А может, еще почемуче-то. Каждый новый день неотвратимо приближает меня к вожденной смерти. Велик соблазн исчезнуть из этого мира, незаметно перебравшись в мир призраков.

От души налюбовавшись своим отражением, я не прихватываю его с собой, а оставляю в зазеркалье, за узкими спинами имитаций живой жизни, и медленно бреду к себе, в свое логово под мостом Менял. Там меня ждет удобный ночлег. Я придумал, как сделать свою постель еще удобней. Для этого я облагородил ее кипой старых газет. Постель стала значительно мягче, а мой сон покойней и глубже.

По утрам я долго валяюсь на своем ложе и смотрю в сторону реки. Над Сенной стелется легкий туман. Цвет у него, как у всего Парижа, серо-голубой. Говорят, зимы в Париже не холодные, но пережить их удается не каждому. Парижский зимний воздух смертоносен. Особенно если спишь под мостом. Надо было выбираться отсюда, уезжать туда, где солнце светит приветливей и где нет промозглого воздуха. Да, надо было уезжать. Или — что тоже неплохо — попытаться умереть до наступления холодов. Нет-нет, мне сейчас не до шуток о смерти, я должен, должен выжить! Я слишком много пережил за этот год, чтобы позволить себе с легкостью распрощаться с жизнью.

Я знаю, путь мой длинен, но спешить мне некуда: жизнь почти не задевает меня своими шестеренками, она не вовлекает меня в свое равнодушное монотонное вековечное движение, и вообще, пока ей не до меня. Я бреду, опустив голову, и не смотрю на прохожих. Бреду и думаю, каково ему, моему покинутому одинокому отражению, там, в скорбном мире манекенов?

...Один раз мне показалось, что меж манекенов мелькнул горестный лик Черной Старухи.

Глава 20

Смерть — это не сон понарошку. За сном следует пробуждение, а вот со смертью дело обстоит сложнее и хуже. К такому выводу я пришел, когда отправился за очередной кипой газет. Во дворе дома, неподалеку от моего пристанища, стоят контейнеры для бумажного мусора. Там я нашел газеты недельной давности, придирчиво отобрал те, что посолидней и потолще: «Фигаро», «Паризьен», «Монд», «Франс-Суар» и «Либерасьон». Теперь мое ложе будет много мягче.

Я разложил газеты на крышке контейнера и, поскольку спешить мне некуда, решил из любопытства их полистать. В каждой газете на первой полосе было одно и то же — кричащие заголовки о страшной авиакатастрофе. И тут фотографии поплыли у меня перед глазами. Я опустил на

землю рядом с контейнером. Газеты выпали у меня из рук и веером легли на асфальт.

...Ах, если бы Мишка мог знать! Ах, если бы мой дорогой друг мог знать, что произойдет с его самолетом через какие-то полтора часа после нашего с ним расставания, он бы ни за что не полетел этим проклятым рейсом и непременно остался бы со мной под мостом Меня! Да и все остальные — тоже. Ибо лучше прожить всю жизнь под мостом, чем мгновенно превратиться в кровавую пыль на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря. Мишка, Мишка, друг мой... Господи, с ними же была Лена!! Лена, почему она не поцеловала меня тогда там, в аэропорту? Лена, Лена, Лена...

...Что-то случилось с моим сердцем. Я не потерял сознание, нет. Но я сразу постарел на тысячу лет.

В больницу меня доставили ночью.

Издавна я изводил себя интеллигентскими вопросиками о смысле жизни, всеми этими «зачем» и «почему». Естественно, как ни ломал голову, как ни потел от натуги, никаких ответов не получил.

Понял все только перед смертью, за мгновение перед тем, как... Словом, за минуту до околеванса. Тараща глаза в окно, за которым черная ветка, подзуживаемая осенним ветром, похоронно стучала по стеклу, успел еще подивиться: ведь все так просто! Почему ответ, примитивный и тривиальный, не приходил в голову прежде?..

Хотел приостановить движение к смерти, чтобы начать жизнь сызнова, уже зная, как ответить на все эти «зачем» и «почему», но не тут-то было. Хотел ухватить жизнь за хвост, но она не давалась, выскальзывала, терялась в туманных закоулках между явью и смертным сном: похоже, окольными путями уходила к другому смертному, свежее и моложе годами. Я уже видел его, этого счастливица: у него были пышные усы, ярко-рыжая шевелюра и белозубая улыбка любимца женщин. Ах, как же я завидовал ему!

Время уходило, и я решил, что настала пора крикнуть, поделиться — хотя бы с медсестрами — своим вдруг обретенным знанием, но сил не было. Хватило их лишь на то, чтобы самостоятельно закрыть глаза. Я еще услышал, как кто-то с жутким марокканским акцентом сказал: «lit le matin est libre». «Койка к утру освободится...»

И тут же вечность навалилась на меня.

Вернее, так мне показалось. Вечность осталась для меня загадкой. Но вечность навалиться попыталась, это точно. Я уже видел... Да-да, был, был этот проклятый тоннель, в конце которого я узрел удивительный свет, такой яркий, какого на земле не бывает. Но до источника света я, хвала Создателю, не добрался.

Только там, в больнице, когда из-за бессилия предсмертной немоты уже не мог ни с кем поделиться знанием, я понял, зачем Господом затеяна вся эта свистопляска с загадкой рождения, мукой жизни, длящейся несколько десятилетий, и смертью, которая столь же загадочна, как и рождение.

Это никому не нужное знание пришло ко мне тогда, когда я готовился к самому худшему, когда мир на две части разделила стена в палате, стена, крашенная серой масляной краской, ах, эта стена, будь она проклята! Стена, стена разделила весь белый свет на две части, части равные, не уступающие одна другой по изначальному смыслу и силе воздействия на сознание.

И вот теперь я лежал, распростертый на больничной койке, раздавленный гнусной немочью... По ту сторону стены была жизнь, недостижимая и прекрасная. А по эту — жизни не было...

Я беззвучно засмеялся. Банальная мысль, — странно, что она не приходила мне в голову прежде! — мысль о том, что напрасно прожита жизнь, которую я как подарок получил от Господа. Мысль была настолько мучительна, что я с удовольствием помер бы прямо сейчас, если бы мог ускорить приход смерти без чужой помощи, без насилия над телом. Но я был бесси-

лен, руки и ноги отказали. И только голова работала как часы... Я думал, а не слишком ли часто я повадился умирать? Должно же это рано или поздно чем-то закончиться?

И тут, как когда-то...

В какой-то момент все вновь, как и в первый раз, вытянулось в струнку. Выровнялось. Выстроилось. Как планеты во время Большого Парада. Что сказал старик, поивший меня отваром из лепестков роз? «Преходящая гармония. Надо уловить момент. Уловил, и ты в дамках. Уловил — и ты гений!»

...из тьмы выплыли слова из книги Папы Иоанна XXII, в миру Жака Дюэза.

Для приготовления сего эликсира 3 вещи потребны, суть они 7 металлов, 7 элементов и много прочее...

7 металлов суть Солнце, Луна, Медь, Олово, Свинец, Железо и Ртуть; семь элементов суть Серебро, Сода, Аммиачная соль...

Потом все это опять потонуло во мраке.

И тут же вспыхнула Золотая Формула! Она, формула, — цифры и латынь — запыхала перед моими глазами столь ярко, что я едва не ослеп.

Затем перед моими глазами возникла вся схема процесса. От первой страницы до последней.

Эпилог

Через открытое окно в палату вместе с парижским ветром, неповторимым ветром Сены, слегка отдающим болотом и увядающими платанами, вривалась жизнь...

Когда-нибудь смерть погасит все, думал я. Да, да, смерть покроет абсолютно все своим безразмерным черным покрывалом. Со смертью в бытие уйдут твои несовершенные, до конца не додуманные мысли о целесообразности, нравственности, красоте и ужасе. Смерти безразлично, каким ты был при жизни. Она невозмутимо уравнивает всех: и святых, и негодяев. Оставляя от тех и от других лишь слабое, почти неслышное эхо и кучку пепла. «Тогда о чем сожалеть? — подумалось мне. — В чем сомневаться?»

В моем пребывании под мостом не было никакой логики. Отдавшись течению, я на самом деле подчинил себя некой силе, которая решала за меня, каким должен быть мой следующий шаг, я, так сказать, вверился Судьбе, Времени и Месту. И я угадал. Видимо, именно так и следует изредка поступать. Мои поступки были похожи на безумства сумасшедшего. Здравому человеку так и покажется. Наверно, я мог восстановить формулу и в иных условиях, например, посиживая в шезлонге на палубе новой яхты Платона: в конце концов, он же не отказывал мне в дружбе. Или еще где-нибудь, где покойное течение правильных мыслей настроило бы меня на нужную волну. Но я выбрал мост. И мост не подвел меня.

Какой ей быть — моей новой жизни? Думаю, она должна стать похожей на раннее весеннее утро, с влажным ветром с юга. Еще звенит капель, еще журчат ручейки, по которым уплывают в неведомые страны бумажные кораблики, еще не прилетели теплолюбивые пташки, но уже тревожно и радостно стучит сердце, оно предчувствует новую жизнь и говорит мне, что впереди меня ждут события, полные самых невероятных приключений. Без приключений я уже не могу. Я вдруг почувствовал, что обручи, сдавливавшие сердце, опали, и я ощутил невиданную, безграничную свободу. Свобода... Я ведь всегда мечтал о ней.

Под утро я забылся глубоким сном. Проснулся от нежного прикосновения к губам. Я лежал с закрытыми глазами, боясь спугнуть наваждение.

— Я забыла поцеловать тебя на прощание, — услышал я голос Лены. — Не пугайся, я не страшный сон. Я не полетела тем рейсом... тогда. Я решила, что мы будем вместе жить под мостом Менял.

Я лежал и плакал.

— Нет, — нашел я в себе силы возразить, — мы не будем жить под мостом Менял... Какое сегодня число?

— 21 октября.

— 21 октября?! — я привстал на постели.

— Да, любимый, — очень тихо и медленно произнесла Лена, — сегодня ночью был Парад Планет.

Как сквозь пелену, передо мной возник иконный лик Черной Старухи. Губы ее силились что-то сказать. Я напряг слух. Но тут лицо старухи стало гаснуть, гаснуть, расплываться, таять и через миг исчезло. Я так ничего и не услышал.

Слезы высыхали, я смотрел в распахнутое окно и уже знал, что через неделю вернусь домой. Пора было ставить крест на моем анабазисе: он слишком затянулся. Пусть под мостом ночуют другие.

В моей руке покоилась ладонь любимой женщины. Кажется, я был счастлив.

Прожита половина жизни. По большей части она прожита не так, как хотелось. Но до конца было еще далеко.

...Вот и перевернута последняя страница дневника профессора Льва Николаевича Старосельского. Вероятно, многострадальный профессор сумел-таки добраться до столицы и даже умудрился вновь проникнуть в свою квартиру. Видимо, он какое-то время жил здесь и писал книгу воспоминаний.

Как-то сложилась его жизнь? Почему он покинул квартиру и не прихватил с собой записки? Где он сейчас? Жив ли? Передо мной расстилось необозримое поле неясностей и предположений.

Справок я решил не наводить — не следует тревожить то, что уже успело улечься на дно моей впечатлительной натуры.

Как хочется думать, что сбылась мечта профессора — и он приобрел остров в Тирренском море, женился на прекрасной Елене и увез ее туда, на этот сказочный остров, утопающий в роскоши кипарисов, пальм и вечно-зеленых дубов. Поселился с ней во дворце, перестроенном из средневекового замка, с мраморными колоннами, пороховыми башнями, зубчатыми стенами и подъемным мостом.

И сейчас, когда я перечитываю эти строки, он, наверно, любуется пламенеющим средиземноморским закатом и прижимает к груди прекрасную девушку, в глазах которой «нашел пристанище звездный ветер».

К 40-летию Свердловского РОК-Клуба

Анастасия Берсенева

Целовать слова

Звезда-сестрица

Одно лишь между нами
Несказанное слово
Застыло над землей
Печальною звездой,

И согревает светом,
И не спешит с ответом.

Мой путь тебе известен —
Я остаюсь на месте
И буду ждать тебя,
Не погасив огня,

Заглядывая в окна
Небесного монокля.

А вдруг звезда-сестрица
Решится мне открыться,
В ладони упадет
И превратится в мед,

Уста позолотит,
Обманет, пощадит.

Анастасия Берсенева (1973) — автор двух книг стихов и шести музыкальных альбомов. Родилась в г. Богдановиче Свердловской области. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и экономический факультет Уральского государственного университета. После того как родители купили гитару, стала сочинять песни. Однажды нашлись музыканты, которых заинтересовало песенное творчество Анастасии. Это были Андрей Васильев и Александр Брыкин. Так появился проект «Намбату». Позднее появился ещё один музыкально-поэтический проект SHORTDRINKS совместно с Иваном Баженицким, Дмитрием Дураковым и другими музыкантами.

Несчетно звезд на небе,
Сияют что есть сил,
Быль превращают в небыль,
А небылицы в быль.

Старые связи

Старые связи
с запахом нафталина,
с липкостью пластилина,
с въедливостью грязи

меня окружают
во тьме опустевших комнат,
все мои страхи помнят,
мною меня пугают.

Старые страхи
в образе брадобрея
с бритвой у тонкой шеи,
с торжественностью плахи

множат и нежат
сонмы воспоминаний,
неумолимых знаний
невыносимый скрежет.

Кислые мины
некогда мне знакомых,
некогда мной искомых,
полых, неуязвимых.

Белым платочком,
скомканным и сопливым,
машут, с надрывом
просят не ставить точку.

Точка! Искусным
росчерком поперечным
кончено и, конечно,
пусто.

Письма в пустоту

Я пишу по ту
Сторону, по ту,
Письма в пустоту
Через немоту,
Через океан,
Через темный лес,
Я пишу по ту
Сторону небес.

Мне не объяснить,
Мне не изменить
Слабости своей,
Глупости своей.
Если я пишу,
Значит, я дышу,
И в один из дней
Ты ответишь мне

Серо-голубым
облаком, ручьем
Вешним, озорным
Солнечным лучом,
Громом колесниц,
Шорохом шагов,
Чистотой страниц,
Вереницей слов.

Сказка — это боль.
Сказка — это быль.
С неба льется смоль.
Мне не жаль чернил.
Я пишу в бреду,
И выходит бред.
Для меня, мой друг,
Больше счастья нет,

Чем писать по ту
Сторону, по ту,
Письма в пустоту
Через немоту,
Через океан,
Через темный лес,
Через стыд и срам,
Через что, Бог весть.

Целовать слова

Каждый выдох твой вдыхаю
Каждый миг,
И в груди моей витает,
Гнезда вьет,
Не умолкает
Птичья
Стая —
Каждый шепот твой
И крик.

Что твои шептали губы,
Ясно мне как дважды два.
Как же щекотно и любо
Целовать твои слова.

Юрий Санберг

Растворяясь в дожде и в ландшафте¹

Рассказ

Приглушённые краски. Серая река вдоль серо-зелёных берегов. Серое небо подсвечено изнутри сумеречным светом. На горизонте — вытянутое вдоль воды бесконечно длинное облако, которое можно принять за тёмно-серую горную гряду. Там нет суши, там океан. Мы на острове.

Нет здесь сырых колдобин и колеи, заполненной водой. Девственно нетронутые места.

Мир ветров, скудная земля.

Тишина, изредка крики птиц и шум волн, всегда одинаково серых, потухших.

Плотная вата тумана, безмерное отчаянье пространства, не способного справиться с собой.

Дистанция здесь — как плавкий предохранитель, спасает от перенапряжения, заполняет любые свободные места разряженной тоской.

Раскисла земля, отсырели голоса.

Первобытная земля не жестокая к людям, она просто к ним равнодушна.

Прогулка в тундру за бивнем мамонта — для меня. Сезонная работа — для них.

Их семеро: Матвей, Семён, Владик, Василий, Саян, Сатал, Туйгун. Им от двадцати пяти до сорока.

Василий — самый крепкий, матёрый бугор, он распоряжается. Безусловный авторитет.

Матвей ближе всего к нему по возрасту, правая рука. Очень хорошо водит всю мототехнику и в ней разбирается. В армии его должность называлась бы помпотех.

Семён — человек вдумчивый, негромкий. Мастер — золотые руки, ремонтирует всё. Матвей и Семён много времени проводят друг с другом, по долгу колдуя над железом. Чаще всего молча. Даже полуслова им не нужно.

Юрий Санберг — родился в 1961 году в Балашове Саратовской области в семье военнослужащего, работал в войсковой части, служил в Советской армии. Окончил Саратовский госуниверситет по специальности «Филолог. Журналист». Имеет степень PhD. Печатался в журналах «Диалог искусств», «Дружба народов», «Кольцо «А», «Петербургском театральном журнале». Победитель и призер ряда российских и международных литературных и журналистских конкурсов. Живет в Подмоскowie.

¹ В рассказе использованы некоторые мотивы и сюжеты из фильма Кристиана Фрая и Максима Арбугаева «Генезис 2.0» (2018 г., Швейцария, Китай, Россия, Южная Корея, США).

Владик постоянно смеётся и что-то напевает на своем наречии.

Туйгун самый высокий. Выше меня.

Саян мягкий и очень быстрый, «раззудись, плечо!» и «размахнись, рука!». Иногда от переизбытка сил штурмует пупок не очень высокой сопки и рассматривает окрестности в бинокль. Бывает, бивни вылезают на поверхность. В этом поисковом сезоне так нашли несколько штук.

Сатал — вот его я не понял, не узнал совсем. Очень закрытый. Кажется, совсем не интересуется внешней суетой, которая вообще-то у других жизнью зовется.

Все они якуты и потомки от смешанных браков (сахалар и сахаляры), у всех типичные азиатские черты, за полевой сезон успели отпустить усы и бородки. Очень много курят. У них хорошее взаимопонимание, не первый год вместе.

Деликатно при мне стараются говорить по-русски, чтобы я, упаси боже, не думал, будто они меня обсуждают. Обсуждают, конечно.

Для промыслового дела я человек бессмысленный и откровенно бесполезный.

Попросил их потерпеть недельку дядя Миша, человек известный и важный, местный учитель на пенсии. Собирателем фольклора. Старатель в прошлом. У него вездеход и маленькая флотилия лодок. Часто работает фиксером² для съемочных групп, приезжающих в тундру снимать экзотику.

Я снимаю док на телефон. Мне не нужны оператор, звукорежиссер и осветитель, помреж и гримеры. Мне не нужны артисты. Всё у меня имеется.

Камуфляжные куртки, шапочки на голове, высокие массивные резиновые сапоги, у пяти из них — ружья, перекинутые за спину, в руках — гладкая, хорошо вымоченная в воде ветка с примотанным ремнями острым металлическим щупом, выглядит как посох или большая трость.

Холод забирается через рукав, делая кисть руки деревянной, потом начинает неметь замерзший локоть, затем вся спина, и вот уже всё, приветики, — ты целиком вмерзаешь в пейзаж.

Нужно двигаться.

Однообразные действия весь день: шагнул — воткнул щуп, вытащил щуп — ещё шагнул, воткнул щуп, вытащил, шагнул.

Свихнуться можно.

Если щуп натывается на что-то, лежащее в земле, то по раздающемуся звуку опытный промысловик понимает сразу: если тонкий звук, звенящий — бивень, а глухой — деревяшка.

Сегодня пока одни деревяшки.

Утомившись, туча прилегла на землю. Самому хочется упасть. От щупа немислимо болят руки и спина.

Я ношу очки, их заливает мелкий дождь, сегодня любая одежда набухает влагой, как промокашка. Видимость — метров семьдесят, если насухо протереть стекла. Через десять секунд окружающее пространство снова растекается, ничего в себя не вмеща.

² Фиксером в журналистике принято называть местного координатора или информатора, хорошо знающего местность, культуру, обычаи, языки территории и имеющего полезные связи и знакомства, помогающие найти нужных героев и локации для съемки сюжетов. Фиксер также обеспечивает логистику и безопасность передвижения, чаще всего лично сопровождая съемочные группы и разрешая возникающие конфликтные ситуации. (Прим. автора)

— Денька три пробуду ещё у вас, — почему-то сказал я, обращаясь неизвестно к кому. Что-то ещё хотел добавить, не получилось, скомкал.

Ситуация здесь как в космосе — летишь, к примеру, на недельку, а застрянешь надолго. Запросто.

Погода нелетная между тем уже третий день.

Идем, растянувшись цепью по распадку. Ходят здесь обычно небольшой группой, присматривая друг за другом, помогая.

Под ногами мокро и чавкает грязь.

Здесь русла рек всё ещё проложены природой, а не гидростроителями. Или подводными мамонтами — копателями русл, как считают якуты.

У всего происходящего внезапно обнаруживается особая брутальная вещьественность, которую можно даже пощупать руками, — твоя жизнь и здоровье зависят от простенького двухтактного движка, у которого износились поршневые кольца.

Ночлег, еда, возможность просушиться, тепло и свет, нормальная жизнь — всё это отодвигается и к вечеру становится нереальным. Все расстояния увеличиваются, на душе муторно и тревожно.

Бивненосный берег поделен между родовыми общинами. Аборигенские этносы — долгане, эвены, эвенки, чукчи, юкагиры (огулы и вадулы) — вынуждены договариваться.

И это очень правильно.

Здесь в последнее десятилетие стало опасно. Лихие люди на вездеходах промышляют. Имеющие судимость, часто не одну. Очень жестко ведут себя.

Вдобавок они изобретательны. Водяной помпой разрушают обрывы, вымывая бивни, хотя такое запрещено. Только кто ж следит? И кто сладит?

Люди живут без мамонта последние четыре тысячи лет. И всё время боятся огромных костей. Если не видишь рисунков древних охотников, то мамонта вообразить себе трудно.

Греческий миф о существовании одноглазого циклопа-великана возник из-за находок черепа мамонта в пещерах, уверены одни исследователи. Его большое носовое отверстие древние посчитали глазницей.

Другие специалисты возражают — циклоп произошел от сицилийско-мальтийского карликового слона, который в холке высотой всего-то метр.

Какая-то в этом злая ирония: гигант, произошедший от карлика.

Мамонт в центре споров всегда. Он живет под землей, считали одни аборигены. Мамонт живет под водой, возражали им другие аборигены. Трещит лед — мамонт рвется наружу.

На Севере свои представления о размерах. Карликовые здесь не слоны, а березки. Хотя карликовые мамонты — поверить невозможно! — водились на острове Врангеля, от нас, правда, очень далеко.

Мне придется в фильме рассказывать о бизнесе на бивнях. Очень коротко, по-другому нельзя. Всегдашняя моя проблема — всё кажется важным и нужным, нет ничего второстепенного, чем легко можно пренебречь. Детали важны.

А приходится сокращать. Всегда приходится сокращать.

Видел на материке одного китайского перекупщика: ходит уверенно, указывает, какой бивень ему показать, развернуть для осмотра так или этак; кивнет небрежно — дескать, да-да, тот самый — его поднесите. Черная кожаная

курточка, рубашечка розовая в рубчик. Смотрит не презрительно, но всё же свысока: так человек состоятельный рассматривает бессмысленную суету нижних классов — «всюду жизнь». Но он заинтересован в этих добытчиках. Два передних крупных зуба делают его похожим на бобра. Много курит, под мышкой держит блок сигарет. Вокруг шестерит какой-то мутный усатый тип, ему главный негромко отдает приказ, и тот тут же бежит к якутам.

Груза слишком много. При перебазировании в новый лагерь тащить за собой приходится все: палатки, шкуры оленей, одеяла, спальники, кастрюли, сковородки, чайники, плиту с газовым баллоном, лопаты, лом, кирпичи, спутниковую тарелку, дизель-генератор и многочисленные канистры.

Мотонарты снова встали. Ремонт двигателя и сцепления.

Все в белом дыму, ничего вокруг не видно. Зато отчетливо видны: лопата, привязанная поперек заднего сиденья, и узловатая веревка саней.

Найдем мы бивни, не найдем — мне есть о чем снимать фильм. Северная экзотика полна неподдельности. Только из нее и состоит.

Несколько раз меня серьезно предупреждали до поездки. Тишина здесь, в отличие от других мест, не означает безмятежности и спокойствия. Скорее, наоборот — она сеет тревогу и сводит с ума.

Тусклый мир, дающий мало света. Сама территория отбирает трезвый взгляд.

Убедился, не все мысли, которые здесь приходят в голову, следует додумывать. Иногда их лучше просто заморозить, завалив сверху грунтом и всяческим мусором. Не все вопросы следует задавать себе.

Мысли здесь могут оказаться пагубнее реальной опасности.

Владик нашел бивень. Прыгает вокруг него, точно исполняет ритуальный танец. Кричит от радости. Его «второй номер» Тугун тоже очень доволен. Из земли, проросшей бледно-желтыми цветочками, достали невероятно длинный бивень. У основания обломанный и расщепленный — как ствол дерева. Бивень не самый лучший, желтый, вдобавок он с трещиной.

— Сколько весит? — подхожу я.

— Да не меньше полусотни килограммов. Сам попробуй. Спина болит, — счастливо смеется Тугун.

— Нет, сорок, — уточняет Семён, явный скептик. Или реалист.

Увесистый бивень уложили в сани, он занял почти всё свободное место.

Канистра с маслом веревками привязана к головкам саней. Большая канистра с бензином укреплена на задке. В середине возлежит трофей.

— Пусть следующий бивень будет большим, тяжелым, увесистым, длинным и белым-белым — как я этого хочу! — закатывает глаза Туйгун.

Есть люди, искренне верящие, будто желания управляют реальностью.

У бивней богатая палитра. Цвета: белый, молочно-белый, розоватый и бело-голубой — самые дорогие. Есть оттенки коричневого — я видел очевидную охру, кофейный, каштановый и красно-коричневый оттенки с оливковым отливом; есть коралловый, апельсиновый и насыщенно оранжевый, имеется бурый, изумрудный, фиолетовый и сине-фиолетовый оттенки, несколько оттенков серого и черного.

Бивень лежит рядом с минералами, они окрашивают его, создавая вкрапления и прожилки разнообразных оттенков.

Считается, что мамонтовые бивни лучше сохраняются в глине, чем в песке. Они долго не теряют первоначальный цвет, кость остается мягкой и податливой, резчику удобно.

Каждый промысловик раньше помечал кость своим клеймом, вырезая метку-тамгу. Перевозили бивни в сыромятных мешках, чтобы защитить от солнца и влаги. Небольшие обломки перевозили не россыпью, а в сумках с пушниной.

Теперь просто собирают в мешок и подписывают, чтобы не перепутать собственника. А перед этим закатывают в пленку, чтобы не повредить сам бивень.

Бивень продают китайским перекупщикам. Последние всегда остаются в явном выигрыше.

Наутро ищем возле реки. Первобытным охотникам на обрыв реки мамонта гнать было проще, чем рыть яму. Да и сами мамонты, вероятно, могли вести себя неосторожно.

Лишь часа через четыре оживляемся благодаря Семёну.

— Я думал — кусок дерева. Ткнул его, а это бивень! — произносит в горячке Семён, однако очень осторожно окапывая торчащую из земли верхнюю, острую часть бивня. Основание, кажется, где-то очень глубоко.

— Второй бивень должен быть здесь, рядом! — Не вижу, кто говорит, кажется, Саян. Снимаю бивень на камеру смартфона.

— Почему это? — возражает Василий. — Здесь не кладбище мамонтов. Кроме того, бивень могло просто смыть потоком. Второй бивень мамонт мог потерять где угодно!

— Не пора ли сменить землекопа? — кричит Семён минут через десять довольно интенсивной работы. Кажется, расхожая фраза работает чем-то вроде пароля: всё, баста, больше не вмоготу. — Мне кажется, ты хочешь покопать? Я ошибаюсь? — Он выставляет лопату с короткой ручкой перед Саяном.

— Давай-ка Туйгун продолжит, а то он заскучал, — распоряжается Василий.

Туйгун берет лопату, рассматривает, хорошо ли заточен штык. Кайло, или кирка, — здесь главный инструмент. Потом уже лопата.

— Природа с трудностями рождает. И отдает тяжело. Такое поверье есть. Чем больше трудностей испытал, тем вероятнее, что бивни найдешь, — как-то уж слишком по-заученному выдает мне Туйгун разъяснение. И с нарочитым энтузиазмом принимается за дело.

Туйгун и впрямь заметно заскучал.

— Его духи покусали, — категорично разъяснил Василий.

И не понять, всерьез ли говорит или в шутку.

Вначале Туйгун шатался, сумрачный, туда-сюда по базовому лагерю, потом стал подолгу подпирать плечом армейский кунг заброшенной метеостанции. До того как замолчать, быстро и почти бессвязно говорил о видениях большой беды, которые его посещают.

Домой по спутниковому телефону не звонит. Если мы в лагере, он идет на край суши и сидит на корточках у воды, беззвучно что-то бормочет.

Василий советует:

— Не беспокой его. У него «арктическая болезнь». Наблюдай издали. Если начнется настоящее мерячение — это очень опасно. Для всех нас.

Я сижу в кунге за столом, гуглю через спутниковый интернет «арктическую болезнь», а потом «меряченье» и «пиблокто». Всё это синонимы. Считаются неврозом, имеющим связь с культурной спецификой. Болезнь обнаруживает социальную окраску, однако само содержание невроза — это внутренние переживания и конфликты.

Разнообразные источники этиологию объясняют по-разному. Одни — влиянием возмущенной магнитосферы во время северного сияния, или сенсорной депривацией. Другие — вселением в человека злого духа.

В течении болезни выделяют четыре стадии: социальное отчуждение, возникающее за несколько часов или даже дней до приступа, само возбуждение (одержимость, крик, плач, истерика, ненужная беготня), затем конвульсии со ступором, а потом выход в относительно нормальное состояние.

Многие верят, что болезнь заразна. Стараются избегать общения с заболевшими.

Туйгун транслирует отчужденность, стараясь увеличить дистанцию.

Древние сибирские народы воспринимали землю цельно. Вместе с верхним, средним и нижним мирами.

Мамонт — существо из подземного мира, нижнего. Неподобающим занятием считалось отбирать у мамонта бивни.

Все охотники за бивнями рискуют. Преодолевают «проклятье мамонтов», ибо нужны деньги кормить семьи.

Тот, кто нашел тушу, вмерзшую в лёд, обязательно умрет скоро — если не он сам, так умрут его родные. Такое табу, увидел, разглядел, наткнулся — сразу беги. Старались не прикасаться к туше.

«Это суеверие, предубеждение!» — с застенчивой полуулыбкой дезавуировал уверенные якутские установки известный ученый-палеонтолог Семён Григорьев, директор Музея мамонта. Он раскопал самую сохранныю тушу мамонта, найденную его братом Петром. Семён на камеру пробовал сырое мясо мамонта. Мы, дескать, много едим сырого мяса. Испытываю непреодолимое желание попробовать на вкус. Пусть я буду первым современным человеком, который через четыре тысячелетия попробовал мясо мамонта.

Мечтал ещё клонировать мамонта.

Ничего не вышло, вскоре скоропостижно умер. В 46 лет.

Можно рациональным образом объяснить его смерть. Видел в известном фильме: вот он с трудом выбирался из ледяной пещеры через узкий лаз. Кристаллы льда свисают, как шерсть у длинношерстного мамонта. Белые и сиреневые — так отвечает лед цветом на освещение фонариком телефона. Вокруг глина, выглядевшая подтаявшим масляным брусом, он в ней барахтался, тяжело дыша. Явно имел давние проблемы со здоровьем.

Тогда в почти двухметровой яме он организовал проведение обряда. Развели костёр из щепочек. Чтобы умиловить духа, ленточки положил, еду. Раздал всем участникам экспедиции стеклянные бусины, и они по очереди подносили их духу.

Но подарки, судя по всему, духу не подошли.

«Проклятье мамонтов» временем проверено, не вчера появилось.

Старики — держатели знаний. Самого первого известного мамонта («мамонт Адамса», он же «сибирский слон»), скелет которого находится в зоологическом музее Петербурга, нашел тунгус-охотник Осип Шумахов. Не избежал болезни и тоски. Старики ему в красках расписали, как вымирает вся семья нашедшего сие чудовище. Им ещё предки предков рассказывали.

Так и повелось.

Свидетельства выживших — будто под копирку. Пары торчащих из-под земли бивней обычно оказывалось достаточно для панического бегства всей семьи. На первой же стоянке умирает и стар и млад, кроме одного мальчика, донесшего эту замечательно правдивую историю.

Говорят о гибели целых селений, топонимы, правда, не называются.

На берегу правого притока Индигирки — речки Тирехтях — Христофор Михайлович Стручков в 1970 году нашел мамонта, скелет которого считается одним из самых крупных в мире (2 метра 78 сантиметров в холке). Президиум Якутского филиала СО АН СССР вручил ему почетную грамоту и премию в 700 рублей, немалая в то время сумма. А он возьми и умри. Сын и дочь вернули деньги.

Загадочные смерти пытаюсь объяснить рационально. Психологический шок — достаточное основание для преждевременного ухода. А сохранившиеся в мерзлоте вирусы и бактерии, к которым у аборигенов теперь нет иммунитета, провоцируют ураганное развитие болезни.

Если не пытаться истолковать, пусть самостоятельно, неуклюже, путано, — значит, принять. Принять — тогда я сам немедленно окажусь в опасности.

Заговариваю вечером об «арктической болезни», смотрю на реакцию.

Семён, выстругивая из дерева какую-то бобышку, рассказывает историю. Рассорился парень, которого, как мне показалось, здесь неплохо знали, со своей бригадой. Приехал искать бивни один. Нашел сразу же три превосходных бивня. Потом у него закончилась еда, а затем он заблудился, потеряв ориентировку. Бродил в отчаянье, менял направления, выбился из сил. Соорудил из трех бивней нечто вроде арки и на ней повесился. Так и его нашли, очень скоро.

Серая вода, ржавый мох, чёрные отвалы.

Рубят мерзлоту топором. Один немного порубит, передает топор второму. Будто перераспределяют горе — на всех поровну, немного, по чуть-чуть. Чтобы оказалось выносимо.

Четверо присели на корточках вокруг ямы, двое стоят, опираясь на лопату или шуп, по отвалу разбросаны инструменты.

Бивень торчит из ямы, как последний оставшийся стариковский зуб.

Зуб мамонта, кстати, тоже нашли — рядом. Похож на большую рифленую подошву ботинка.

«Арктическая болезнь» у Туйгуна какая-то вялотекущая, не буйная. Не прогрессирует. Ну, бормочет человек что-то вполголоса. Я тоже себе под нос бормочу, когда слова ишу.

Стал Туйгун менее разговорчив, апатичен. Хочет скорее уехать.

Забавно, но так у всех. Траектория — от энтузиазма к длительному, изматывающему ожиданию окончания работ. Все устали.

Я — не исключение.

Может, Туйгун чувствует беду. Не забыть бы спросить какую.

Дождь с ветром, ветер все сильнее, море штормит.

Погода нелётная, им тоже надо уходить, ждут лодок.

Третий день играют в карты — на маленький интерес. На кон ставят «приму» с фильтром — я таких сигарет раньше не видел, кладут на стол столбиком, одна на одну. Как фишки в казино.

Стародавние русла рек с началом осенних дождей вспухают.

Стали заметно реже ходить в ледник, в котором хранятся на глубине трёх метров продукты. Еда заканчивается, требуется рацион урезать и держать что-то в качестве неприкосновенного запаса.

Если повезет, можно подстрелить канадских казарок или белых гусей. Или поймать рыбу бреднем. Рыбы много, и она вкусная.

Потолок кунга превратился в картину древних мастеров: покрывшись кракелюром трещин, он потемнел от копоти и высохших разводов воды, и что изображено — не понять, только гадать, пристально разглядывая невнятные, малопонятные пятна, развивая воображение. Окна задёрнуты плотной тканью, всё одно светло, тусклый свет, как вода, просачивается через щели.

Не могу уснуть. Сосет под ложечкой, не от голода — там у меня всегда живет тревога. Верный индикатор, когда что-то пошло не так.

Закинув руки за голову, я лежу в спальнике в кунге и всё пытаюсь считать устно. Я плохо считаю устно. Счет меня дико утомляет.

Может, усну.

Есть оценка: 80 процентов мировых запасов бивня мамонта находится в Якутии. Бивень ископаемого мамонта спасает живых слонов. Запретили охоту и продажу слоновой кости — индустрия переключилась на мамонтов.

Ну, этим никого не удивишь.

Более-менее крупных краеведческих музеев в стране 852. По два, ну, пусть по четыре бивня, нет, пусть по пять для ровного счета — на каждый музей.

Ежегодно добывается до 60 тонн бивня (средняя, ближе к консервативной, оценка). Если взять опять же средний вес хорошего бивня в 40 килограммов, то извлекают 1500 бивней в год. Нам требуется 4260 бивней. Ясно, что за три года, полностью перекрыв нелегальные каналы, все музеи страны получат свою коллекцию бивней.

А дальше-то что с ними делать — забивать им запасники?

Вывоз из страны бивней принято рассматривать как катастрофу. Куда ж девать кость?

Мировой спрос на бивни сформирован Китаем. Традиционное декоративное искусство — вырезание фигурок на бивне. Очень дорого, интересно, ярко.

Еще много говорят о японских костяных печатях, внезапно ставших модными. Но и здесь резчик по кости местный.

Отделку из бивня мамонтов для товаров премиум-класса делают явно не в Якутии.

Самим продавать сырье за рубеж? Придется создавать госкомпанию — по типу Торгсина, Амтора, Внешнеторгового объединения, сформировав сеть торгпредств. Госструктура издержками управлять не захочет. Аборигены здешних мест в перепачканных глиной комбинезонах, с ладонями, в которые вьелось машинное масло, выжатые досуха к концу полевого сезона, будут содержать чистеньких клерков в офисах в Китае, Японии, США. И вряд ли разбогатеют.

Может, по льготным ценам в счет покрытия будущей добычи им станут продавать мотонарты, мотобуры, ружья, современную легкую экипировку, рюкзаки, спальники, им будут выдавать ссуды, чтобы закрыть дыру в семейном бюджете, пока глава семьи вгрызается в мерзлоту.

Благие пожелания всегда разбиваются о реальность.

Реальности я везде нагляделся.

Ирреального куда меньше. Но не здесь.

Небольшое внутреннее пространство для посредничества между душой и духами тщательно охраняется. И никогда не раскрывается.

Современная техника, думаю я перед тем, как всё-таки заснуть, вполне себе сочетается с древними верованиями.

Громада прошлого подавляет, находясь вне нашей власти; на этом фоне действительность оказывается неустойчивой и хрупкой, зависящей от вещей малообъяснимых. Мамонты — страшные исполины, лишь только смельчаки или отчаявшиеся бросают им вызов; так было и так есть.

Ветер стих. И тут же пришли лодки. Два дня пути: частью по реке, частью по морю. Что-то около четырех сотен километров.

Пришли три лодки вместо четырех. Лодки одинаковые: из ПХВ, надувные, двухбаллонные, грузоподъемностью 800 килограмм. Высоко поднятый нос с носовым тентом. Установлен мощный четырехтактный японский лодочный мотор Yamaha, самый легкий и компактный в классе, а не 30-сильный, как предполагалось конструкцией.

Лодки обратно пойдут неизбежно перегруженными. Вдруг выяснилось: в вертолете, который я жду, оказалось свободным ещё одно место. Выбор пал на Саяна. Его вместе с огромным 100-литровым немецким рюкзаком и подписанным мешком с найденными им бивнями перебросят вертолетом вместе со мной. Так решил Василий, предварительно всё согласовав.

Я знаком с командиром воздушного судна Дмитрием Валерьевичем, пару лет назад мы с ним в одной занесенной под самую крышу гостинице провели две недели, ожидая погоду. Он меня сюда забросил и отсюда заберет. Наши договоренности в силе.

Мы должны улететь сегодня, охотники за бивнями уйдут на лодках завтра.

— Скажи: уже очень скоро приеду! Пусть пару дней сын потерпит! Дай ему трубку, пусть мой голос услышит! — кричит в спутниковый телефон Василий.

Техника жутко дорогая, а слышно всё одно плохо.

В лагере Туйгуна теперь можно найти только на берегу. Он заметно боится выхода в море. Лететь он тоже боится. Василий волевым решением распределяет его во вторую лодку. На материк лодки, перевозящие экспедиционную партию, пойдут небольшой эскадрой. Будут присматривать друг за другом.

Туйгун сидит на корточках, похожий на нахохленную птицу, кутается в куртку, шапку натянул на брови, одной рукой держит сигаретку, а другой рукой поддерживает кисть. Если б не сигаретка, решил бы, что молится.

Вглядывается вдаль, будто гипнотизирует море.

Сел оранжевый вертолет с голубой широкой продольной полосой. Большие нестандартные баки внутри салона.

Вертолет заполнен пассажирами. Добродушная собака с издевательским именем Анапа дает себя погладить.

Сверху реки похожи на темно-синие вены. Вода мутная, много ила, иногда она дегтярно-чёрная, но чаще темно-коричневая. Если вблизи.

Сопки прыщами выдавлены вверх, поверхность бугристая.

Мне как-то неуютно. Туйгуна не расспросил, к лучшему. Беду нельзя называть по имени.

Уже на Большой земле узнал: после выхода в море промысловиков внезапно настиг сильный шторм со снежными зарядами. Легко представить — лодки взлетают вверх, потом падают в воду снова. И так удар за ударом.

Лежавшие на самом дне бивни проткнули надувные борта у одной лодки, она на глазах начала сдуваться. Владика вытащили, Туйгуна нет.

Такое уже случалось лет семь назад. В конце сезона на перегруженные лодки внезапно налетел шторм. Две лодки повредило, но до берега моря они дошли, а потом сумели подняться и вверх по реке. Медленно, осторожно. Вместо двух дней шли четыре. Тогда никто не погиб.

В этот раз потерянные мамонтами бивни вернулись — из земли под воду. Утащили за собой и человека.

Улетая домой, в аэропорту в сувенирном киоске увидел кружку с изображением мамонта, бредущего по тундре, с аляповатой надписью: «Я выжил там, где мамонты замерзли».

Почему-то не купил. А спустя время внезапно пожалел.

Владимир Сандалов

День сегодня

День сегодня какой-то не хрупкий, не злой.
Есть постель, и свеча, и вода;
А фанерные стены и в холод, и в зной
Защитят от любого врага.

Потянуться к окну — вспыхнет пламя свечи.
Но огонь и фанера — друзья.
Одиноко и гулко — кричи, не кричи...
Встать и выйти из дома нельзя.

Воду в кружку налить. Выпить всё — и прилечь?
Но хожу от стены до стены.
Вечер, ночь напролет буду звёзды стеречь,
До утра, до дождя, до весны.

Упереться бы в двери руками и лбом,
И бежать, а весну под залог.
Или просто закрыть этот маленький дом
На огромный железный замок.

Долго, долго, дни и ночи
Ждал, искал и строил мир.
Мной не созданный кумир
Затерялся в междустрочье.

Трудно. Трудно жить без чуда.
Тратить час, жалея рубль.
Третья смена, пятый дубль.
Старость в завершение круга.

Владимир Сандалов (1961) — хирург-онколог. Окончил Свердловский государственный медицинский институт. Печатался в региональных и городских газетах и журналах, поэтических сборниках. В 2006 г. выпустил сборник стихов. В 2011 г. сборник стихов и рассказов «День сегодня». В настоящее время работает в Свердловском областном онкологическом диспансере.

Мир живет, добро и лихо.
Ты уходишь, ты забыт.
Дождь под вечер. Зонт открыт.
Собираюсь тихо, тихо.

Какая полная огромная луна
И близко, близко будто шепчет что-то...
Поэтам и художникам работа,
Влюбленные романтики без сна.

А что огромная притихшая страна?
Все в ожидании — что будет, что пребудет..
А время всех расставит и рассудит?
Какая полная безмолвная луна.

Научи меня, Господи, слову
Чтобы внемлить и суть донести.
Чтобы тихое слово — Прости
Как молитву принять и основу.

Научи меня, Господи, видеть
Сумрак дна и блестящую даль,
Звездный свет и людскую печаль,
Чтоб дорогу идущим осилить...

Чтоб в пути и понять, и простить
Всё отдать, никого не обидеть,
Всё сказать, обрести и увидеть,
Научи меня, Господи, жить.

И вдруг поймёшь, и горечь от лекарств
Подступит к горлу, приморозит темя,
И, оглядываясь не в лучшем из пространств,
Увидишь снег, как выпавшее время...

Это лето — замок из песка,
Свет размыт осенними дождями.
Камыши лесного озера
Шелестят прощальными словами.

Холода приносят облака.
Пляж осыпан желтою листвою.
Это лето — замок из песка —
Не поправить детскою рукою...

Жене
9 декабря 1983 г.

Черные глаза — ночь.
Ссорные слова — бред.
Только улыбнись — прочь.
Слезы и тоску — вслед.
Сколько в пироге свеч,
Сколько впереди лет.
Мы с тобой в одном — дочь.
Черные глаза — свет.

В микроскопе Левенгука
Мир простейших — мир простой.
Жизнь кипит, вперед — наука.
Капля, город, шар земной.

Высоко сижу — всех вижу,
Только чувствую порой
Взгляд чужой, и где-то выше
Линзу, сталь над головой.

Как и прежде, боюсь высоты.
Когда небо летит под ногами,
Я пытаюсь присесть, я пытаюсь залечь
И за воздух хватаюсь руками.

О стёкла шуршит сосна.
Не грусти. Ты мне приснилась.
Твоя грусть в потоке сна
Отразилась, заблудилась.

В полутьме, в тревоге сна
Я всей кожей верю жизни.
Вот и ветка у окна
Под луной преобразилась.

Бродит осень без меня.
Пусть не станет утро пыткой.
Приходи как свежесть дня,
Разбуди своей улыбкой.

Андрей Мальков

Встречный взгляд

История одного волка

Порождение, вернувшееся в источник,
становится порождением нового источника.

Волчья скала возвышалась над окружающим пейзажем метров на сто. На восток она смотрела отвесной стеной серого растрескавшегося гранита, из расщелин которого то тут, то там прорастали чахлые берёзки. Они никогда не вырастали большими, когда корни не выдерживали возрастающего веса, деревца падали в тёмные воды пробегавшей под скалой быстрой неглубокой реки.

Чусовая-река в незапамятные времена силой, какую сейчас невозможно представить, пробила своё русло поперёк огромного горного хребта. Она сточила до основания горы поменьше, а крупные подмыла, частично обрушила в себя, перетерла гранит в песок, а песок разнесла по округе на многие дни пути. Река смыла бы их все, постепенно выпрямляя своё русло с востока на запад, только для того, чтобы утренний солнечный луч бежал, преломляясь в её чистых водах, нигде не встречая препятствий. Но реке не случилось завершить своей работы, она состарилась, устала и обмелела. Теперь, в насмешку над её несбывшейся мечтой, выстоявшие в той битве скалы-бойцы, полуразрушенные, но победившие, — заставляли реку извиваться в своём течении, кидали в неё чахлые деревца и прочий лесной мусор.

Но старая река уже не хотела ничьей гибели, на своих изгибах, каждый из которых напоминал о незаконченном деле, заботливо выталкивала молодые деревья на берег. Иногда им удавалось зацепиться за землю и продолжить свою жизнь на новом месте. Их кривые, нависающие над водой стволы были живым, но никому не понятным отголоском прошлой битвы великих стихий. А на скалах никакая подходящая расщелина не пустовала долго: через пару лет молодой росток, упорно стремясь стать могучим деревом, прорастал из холодного гранита, подставлял первые листья утренним солнечным лучам.

Западный склон скалы был местом суровым и деревьям не нравился, на нём выросло несколько невысоких, измученных сосенок, но в остальном это было место травы и камней. Невысокие гранитные глыбы, серо-разноцветные от мха, нечасто выпирали из травы причудливыми формами. Склон был достаточно крут, и даже летом полуденное солнце освещало его вскользь, и лишь к вечеру в ясные дни наступало несколько часов долгожданного тепла. Однако за эти короткие часы камни не успевали прогреться, и, когда солнце склонялось к горизонту, а затем скрывалось за большим, но не топким

Андрей Мальков (1969) — родился в поселке Монетном Свердловской области. Окончил радиофак УПИ. Служил в Советской армии. Тридцать лет работает в IT-бизнесе. Живет в Екатеринбурге. Публиковался в интернете. В «Урале» печатается впервые.

болотом, прохлада снова ложилась на пустынный западный склон. Осенью и зимой холодные ветра беспрепятственно разгонялись над болотом, с лёгкостью пронзали неширокий редкий березняк на его краю и упруго били в западный склон, выглаживая его и выхолаживая всё, что на нём могло вырасти.

Северный и южный склоны раскинули свои пологие, поросшие лесом крылья вдоль реки, и если северный уходил в бескрайнюю тайгу, то южный через смешанный лесок открывался широкими лугами, за которыми горбились шиферные крыши нескольких домов и сараев. Селок этот был частью посёлка средней руки на другом берегу, соединялся с ним шатким подвесным мостом и именовался Заречьем. Почему некоторые люди отбивались от основного народа и уходили неудобно жить за реку — никто не разбирался, хотели там поставить дом, хозяин — барин. Причина же была в лугах, на которых можно без хлопот пасти скот — выгнал корову за ворота, вот и пастбище, тут же под рукой и покосы. Заречные все держали скотину: коров, овец, а чаще — тех и других вместе.

Вот на это Заречье они и совершили свой роковой набег. Он, два брата, мать и отец. Семья пришла издалека, с другой стороны болота. Последние годы волчицы приносили много щенков, волчье поголовье стремительно прирастало молодыми, активными псами, и лес уже не мог прокормить всех. Волки не знали, что егеря, видя, как стремительно сокращается поголовье зайцев, косуль и лосей, запланировали по первому снегу большой отстрел серых хищников. Голод выгнал их на новые земли всего за несколько дней до этого первого, а для многих последнего снега. Придя сюда, к человеческому жилью, и увидев, как на лугу беззаботно пасутся, подъедая жухлую траву, овечки, голодная семья азартно задрала трёх. Два дня в лесу продолжался пир, а на третий им пришлось бежать.

Нападения волков на скотину в Заречье случались далеко не каждый год, но, если это происходило, люди знали, что делать. Охотники засветло на лодках выплывали к Волчьей скале и занимали номера за гранитными валунами западного склона. Загонщики выстраивались широкой дугой, отсекая путь к болоту, и гнали серых разбойников на скалу. В этот раз охотников, желающих тряхнуть стариной, собралось много. Поселковые мужики охоту как таковую по большей части забросили много лет назад, даже охотничьих собак уже не осталось, одни дворовые пустолайки. В магазинах еды было и всякой, и разной, многие держали свиней и кур да рыбачили в охотку. Опять же заречные никогда не отказывали ни в молоке, ни в мясе.

Работа на лесопилках кормила надёжней и разнообразней, чем лес. К пятнадцатому году в посёлок провели газ, по всем улицам, кроме заречной, протянулись серебристые трубы, печи в домах разобрали, и зимний воздух перестал ежедневно наполняться уютным печным дымом. Люди ещё собирали грибы и ягоды, а вот гонять по лесу зайцев стало уделом городских изнеженных любителей, жадных до брутального досуга.

Но ружья со старых времен сохранились у многих, и, когда разлетелось известие, что в округе объявились волки, поселковый народ пришёл в известное возбуждение, предвкушая забаву и разнообразие в монотонной поселковой жизни. Ружья доставали из шкафов, чистили, смазывали. Проверяли и доснаряжали патроны. Охотники ходили по дворам, выбирая охотного старосту, готовили лодки. Мужики азартно спорили за номера, вспоминая и превознося свои прошлые охотничьи заслуги, в вечер перед охотой наступал негласный сухой закон. Женщины и любопытные подростки должны были гнать волков, к ним тоже приставляли нескольких мужичков с ружьями. Волк — зверь непредсказуемый, бывало, что выскакивал и на загонщиков. Командовать «бабьей армией» доставалось, конечно, старикам: славу подстрелить волка им уже было не сыскать, но тут, как водится, — у каждого своё время для подвигов.

Утро началось с ленивой грызни с братьями за остатки еды. Щенкам уже исполнилось по семь месяцев, размером они были, почти как взрослые волки, но организм ещё рос и еды требовал много. Организм был красив, молод, упруг и наполнен силой. Волки на секунду замерли, когда раздался сигнальный выстрел, означавший начало охоты. Уши точно определили, откуда прозвучал громкий звук и откуда идёт множество звуков потише. Звуков было много — стуки, свисты, крики. Люди приближались широкой дугой, прижимая волков к реке. Река днём — это опасно, волки реки переходят по ночам. Отступить можно было только путём, которым они пришли два дня назад. Волки побежали. Сначала спокойно, не торопясь, сытые животы сделали зверей ленивыми. Шум был сзади и слева, надо пробежать немного вперёд, обогнуть его и уйти прочь от реки, к болоту, там можно разогнаться в полную силу, разбежаться в разные стороны и спастись.

Но обогнать шум не получалось, он словно бежал вместе с ними в ту же сторону, всё больше прижимая волков к реке. Лес стал подниматься, волки подбегали к Волчьей скале, бежать у самой реки было трудно — там крутизна была максимальная, волки взяли чуть левее. Между деревьев стали появляться первые гранитные валуны, и, перемахивая через такой валун, один из молодых волков чуть опоздал, на самую малость прыгнул позднее брата, который тоже решил проскочить этим путём, и, ударившись мордой в брата бок, не смог точно приземлиться, споткнулся и со всего налёта ударился о ближайшую берёзу. Взвизгнув от боли, поднялся на неверные лапы, помотал головой, разгоняя туман перед глазами, и продолжил бег, как ему показалось, за своей семьёй. На самом деле он бежал к реке. И тут слева от себя он услышал выстрелы, а позади визг. Выстрелов было много, и визги погибающих волков смолкли быстро.

Охотники на номерах слышали приближающуюся погоню и были готовы к тому, что из березняка слева на западный склон выбежали волки — два матёрых и два подпёска. Звери уже подустали, из пастей вывалились розовые языки. Им нужно было сделать последний рывок — поперёк пересечь неширокий лысый склон, за ним начинался спуск и спасительный лес. Горячая картечь остановила их бег навсегда.

Охота удалась на славу. Туши волков за хвосты стащили в кучу, выпили за удачу, долго и шумно спорили, чей выстрел был точнее. Дети тыкали палками в раскрытые волчьи пасти. Подъехал бортовой уазик, волков закинули в кузов и увезли в посёлок. Там вывалили на маленькой поселковой площади, где стоял памятник погибшим в Гражданскую, а потом и в Великую Отечественную односельчанам. Была у поселковых мужиков задумка — сделать из волков чучелá и продать городским, в ресторан или музей, а может, кто и дома поставит. Такова сельская натура, всегда ищущая способы любое событие употребить к своей пользе. Но дед, который умел делать чучела и при наличии подходящей природы с удовольствием за это дело бравшийся, осмотрев волков, лишь махнул рукой: мол, мех не вылинявший, да и дыр в собачках охотнички понавертели, что в том дуршлаге, — хорошего товара не выйдет. После такого вердикта мужики потеряли интерес к добыче и стали расходиться кучками по домам, продолжать отмечать удачно сложившуюся охоту, а по сути — забаву. Волки же достались в полное распоряжение народу помоложе, который ещё не утерял интереса к играм: вооружившись плоскогубцами и стамесками, вырвали из волчьих пастей клыки, из лап когти и, отрезав хвосты, скинули изувеченные тела в реку. Когти и клыки на две недели стали местной детской валютой.

За спиной грохотали выстрелы. Выскочив на обрывистый берег, он чуть было не сорвался вниз, находясь примерно на середине пути к вершине скалы. Вниз не прыгнешь, бежать дальше некуда — надо прятаться. Он пометался по берегу и заметил небольшую полку на почти отвесной восточной стене скалы. Встав на неё передними лапами, пытался разглядеть, куда ведёт эта узкая дорожка, прижатая к скале, но видел только серый камень и солнечные блики на речной воде далеко внизу. До него доносились приближающиеся людские голоса, это поднимались загонщики. Он сделал шаг, другой, ещё пять шагов, упёрся носом в гранит, полка закончилась тупиком, но продолжилась немного выше его головы. Он встал на дрожащие задние лапы, посмотрел: тут полка была шире, и если туда забраться, то можно было развернуться. Запрыгнув на верхний уровень, обнюхивая каждый сантиметр, волк сделал ещё несколько шагов и увидел в скале углубление — небольшое, но пара таких, как он, могла поместиться здесь свободно. Сюда не доносились голоса людей. Дрожащий молодой волк лёг, прижался к каменной стене и затаился.

Ночью он вышел из своего укрытия, очень осторожно прошёл на западный склон. Там всё пахло людьми и кровью его семьи. Он видел по запахам, где бежали его родители и братья и где их след остановился. В этом месте земля пропиталась кровью, но это была другая кровь, не та, которая приятно щекочет ноздри и радует живот, от этой крови хотелось бежать, поджав хвост. Люди оставили множество плохо пахнущих следов, он запомнил их все вместе и каждый в отдельности, все они отпечатались в его мозгу как нечто даже не просто опасное, а что-то невозможное. Устав от этих невыносимых запахов, он пошёл туда, где чище, — наверх. Забравшись на самую вершину, куда не поднялись сегодня люди, он отдышался чистым воздухом и первый раз завыл, высоко задирая морду к тёмному пасмурному небу. В ответ с неба летели первые белые снежинки.

Он пошёл туда, где родился. Снежная крупа засыпала его свежие следы, но и простывшие следы его семьи она засыпала тоже. Холодный ветер с болота трепал загривок, приходилось подолгу принюхиваться, иногда разгребая лапой снег. Шёл он медленно, осторожно ступая по незнакомо белому лесу. Успокаивало то, что во всём остальном лес почти не изменился. Становилось меньше запахов растений, но зато запахи еды стали контрастнее, они словно проявлялись на белом снегу. Старые, ненужные следы, по которым нет смысла идти, исчезали быстрее, зато новые, свежие, пахли очень ярко. Звуки не изменились вовсе. Вечером он наткнулся на стайку тетеревов, беспокойных и растерянных по случаю снегопада, потерявших всякую осторожность. Впервые поел в одиночестве. Он шёл большую половину ночи. Перед рассветом устроился и вздремнул под стволом огромного, вывернутого с корнем дерева.

Разбудили его далёкие выстрелы и еле слышные визги погибающих волков. На этот раз стреляли долго, ближе и дальше. Вечером, когда стемнело и лес успокоился, он выбрался из-под дерева и пошёл обратно. Так обозначилась его территория — от Волчьей скалы до дальнего края болота. День туда и день обратно, немного, но зато других волков тут не было, спорить за еду было не с кем. Так он стал волком-одиночкой.

С тех тяжёлых дней прошло почти десять лет. Его морда и спина стали седыми, жизнь оставила немало отметин на его теле. Он прожил длинную жизнь. Забрал жизнь многих животных и птиц, и никто не хотел отдавать

своё тело просто так. Единственное, чего он не делал, это не подходил к человеческому жилью и не трогал того, что принадлежало людям.

Вчера с трудом запрыгнул на верхнюю полку, неверные лапы разъезжались на скользкой наледи. Зимой он редко бывал в своём логове на скале. Камень и ветра делали это место неудобным, в лесу было теплее. Приходить сюда он начинал в конце зимы, возможно потому, что утреннее солнце раньше, чем лес, освещало скалу, и чёрный нос чуял его тёплое дыхание, как когда-то, ещё слепым щенком, он чувствовал тепло материнского живота, тянулся к нему, загребая непослушными, слабыми лапами. Сейчас его ноги тоже стали слабы и глаза почти ничего не видели. Он свернулся в калач и закрыл морду хвостом.

Ему снилось, что он снова молод, силён и упруг. В те годы он легко, даже по глубокому снегу, мог догнать косулю. Он играл в смертельную игру со свирепым кабаном, намеренно подставляя ему свой бок, и лишь за мгновение до удара бивня отпрыгивал, выматывая несчастного до полного изнеможения. Он гонял стремительного зайца не потому, что был голоден, а просто потому, что мог его догнать. Мог и догонял. Его тело никогда не подводило, оно слышало и видело, оно чуяло всё на километры вокруг. Даже когда он спал, его нос непрерывно анализировал запахи, а уши — звуки, едва проснувшись, он точно знал, кто и где находится на его охотничьей территории.

Мир ему виделся ярким разноцветным туманом, где каждый цвет обладал своей плотностью, направлением и качеством. К картине запахов много оттенков, продолжительных, а иногда совсем коротких, добавляли уши и глаза. Цвета были разные, он видел нейтральные запахи растений, их было много, они были прозрачными — сквозь них можно было видеть другие цвета. Были цвета съедобные: они становились очень яркими и плотными, закрывая всё вокруг, когда он был голоден. Были цвета опасные, как след от проползшей недавно гадюки или блеск молнии. Ещё был сложный цвет человека, его машин, мелких вещей, которые он разбрасывал везде, метя свою территорию. Волк жил в этом мире, в калейдоскопе цветных потоков и вспышек, он был хозяином этого мира. Почти единственным.

Люди догадывались, что в окрестностях скалы живёт волк: слышали вой, кто-то видел следы на песке у реки или на снегу. Поначалу боялись, несколько раз пытались выследить хищника. Ставили капканы, но волк не попадался, он не трогал ничего, что пахло человеком. С другой стороны, зверь не нападал на скотину и вообще не подходил к посёлку, со временем люди привыкли, успокоились. Волк стал чем-то вроде поселкового фольклора. Вреда от него нет, ну и ладно. Зато всегда можно приврать соседу, что ты его видел, когда по грибы ходил: «Вот прям нос к носу. Здоровый, клыки во-о-от такие!»

Волк же людей наблюдал постоянно. Он быстро понял, что люди чем-то похожи на птиц, в темноте они его не видят, но на свету видят хорошо. Ещё они нюхают землю глазами, которые почти всё время смотрят вниз. Часто люди похожи на кабанов: они любят ходить по протоптанным тропам, собирать грибы и редко ходят по одному. Зимой люди, как зайцы, могли ходить по снегу, не проваливаясь, а следы их становились длинными, непрерывными, как след змеи. Летом они могли плавать по реке, как утки. А ещё люди солёные.

Однажды маленький человек отбилсЯ от других маленьких людей. Уже темнело, маленькие люди ушли в сторону посёлка, а один сначала шёл от реки вдоль болота, а потом сел у дерева и больше никуда не двигался. Волка

это очень беспокоило, он чувствовал, что скоро в лесу будет много неприятностей.

Такое уже случалось: один старый человек ходил по лесу, собирал грибы, а потом лёг на землю и больше не вставал, по его спокойному лицу ползали муравьи. Наутро лес превратился в растревоженное осиное гнездо. Людей было очень много, они ходили взад и вперёд, прочёсывали лес и болото. Люди привели с собой собак. Собаки были разные, одни пытались найти след пропавшего, но несколько глупых тварей, не приученных искать людей, а привыкших охотиться на зверей, упорно пытались вывести людей с ружьями на него. Волку тогда пришлось побегать.

Он знал: если что-то случается с одним человеком, то приходит много людей, это всегда опасно. Волк подошел поближе. Человек был размером с небольшую косулю, он мог легко перекусить ему шею, но он не станет убивать то, что принадлежит людям. А ещё от человека пахло солью. Это был очень спокойный и соблазнительный запах. Волк не встречал соль, которую можно кусать, соль можно только лизать. Он сел перед человеком и осторожно лизнул его морду. Морда была солёная. Человек открыл глаза, резко встал, но не кричал и не побежал, а ненадолго показал маленькие, неопасные зубы, и из глаз потекли солёные капли. Волк снова их слизал, а человек отворачивался и гладил волка по голове. Волк встал и пошёл, поскуливая, как скулят маленькие щенки, призывая мать. Человек пошёл за ним, он был почти слеп в темноте, спотыкался и падал, а когда терял волка из вида — звал его. Позже он схватил волка за шерсть на загривке, и они пошли рядом. Маленький человек держался пальчиками за холку взрослого волка, а тому вспоминалось, как его, ещё маленького щенка, мать осторожно брала зубами за ту же холку и вытаскивала из их родного логова на яркий солнечный свет.

Дойдя до самых лугов, волк увидел множество огней и услышал шум человеческих голосов. Он оставил человека и тенью скользнул обратно в лес. Потерявшийся мальчик рассказал, что его вывела из леса добрая собачка, но взрослые-то знали, что никаких добрых собачек в лесу не бывает. С тех пор волк стал легендой и чем-то вроде доброго лесного духа. Женщины, ходя в лес по грибы или на болото за ягодой, стали оставлять волку гостинцы — круг колбасы или кусок хлеба. Мужики больше не пытались его поймать и заезжим любителям пострелять во что ни попадя без шуток наказывали, мол, если встретят, — не вздумали палить по зверю ни в коем разе.

Последние два года мир, в котором жил волк, стал выгорать. Яркие цветные потоки бледнели, некоторые исчезали совсем. Просыпаясь, он уже не мог понять, пробегал ли где-то недалеко заяц. Он помнил места, где на болоте любят гнездиться куропатки, но есть они там или нет сейчас, он не понимал. Чтобы найти еду, приходилось долго искать, принохиваться и прислушиваться. Случалось голодать по несколько дней.

Звери тоже менялись, они переставали его бояться. Заяц не убегал от него со всей стремительностью, на которую был способен, — он отбегал от волка на сотню-другую метров и снова садился на снег как ни в чём не бывало. Недавно семья кабанов прошла мимо, и никто не обратил на него внимания, ни секач, ни даже поросята. Они спокойно прошли мимо, а он не почувствовал желания сразиться. Он помнил, что кабан — это хорошо, вкусно, его надолго хватит. Можно будет лежать на одном месте, грызть замерзшее мясо, обгладывать кости, лениво отгоняя настырных ворон, великодушню дела добычу с весёлыми синицами. Но эти кабаны пахли едой не так сильно, чтобы возникло желание принять опасный бой.

Внизу подо льдом текла река, в сознании волка под остывающими чувствами текли воспоминания:

Когда-то в таком же месяце, на исходе зимы, но больше половины жизни назад, за болотом он встретил пару волков, они были старше его. Самец уже начал сесть, а самка слегка припадала на переднюю лапу. Он же был молод, силен и чувствовал это. Он услышал запах самки, и этот запах окрасил весь мир в очень опасный, тревожный цвет. Сама же волчица была окружена самыми приятными ароматами из его детства: матери, молока, маленьких щенков. Её надо было защитить от любой опасности, особенно от этого старого самца. Его присутствие рядом было настолько невыносимо, что шерсть сама собой встала дыбом, клыки оскалились, и из глотки раздался утробный рык такой ненависти, что этот рык сам по себе сделался почти физическим оружием, направленным на соперника. Пожилой волк почувствовал, что проигрывает этот бой, и отступил. Волчица досталась ему.

Когда сошёл снег, он привёл волчицу сюда, на скалу, и тут появился их первый выводок, а через год второй, потом третий. Место было не самое удобное, но зато оно было безопасным. И ещё тут почти не было комаров, которые доставляли немало беспокойства родившимся в лесу щенкам. Он вспоминал, как раннее солнце вставало из-за далёкого горизонта, освещало и согревало их логово. Он лежал на краю и следил, чтобы волчата не подползали к обрыву. Это были хорошие дни — дни, когда он жил полной жизнью: охота, подруга, щенки.

Во второй половине лета с подростками щенками они уходили на болото, подальше от посёлка, а затем и за него. После памятного отстрела поголовье волков сильно снизилось, а дичи становилось больше. С пропитанием трудностей не было, щенки с матерью на зиму оставались там, а он по первому снегу убегал в окрестности своей скалы. Он не понимал почему, но, как только земля становилась белой, в его голове что-то вспыхивало, и он, бросив подростков и волчицу, убегал на скалу. В конце зимы возвращался, находил свою подругу. Так случалось три раза, в четвёртый она пришла сама.

Она была стара и худа, хромала сильнее и уже не могла долго гонять добычу. Зиму пережила с трудом. Они встретились, обнюхали, узнавая, друг друга, но волчица не проявила прежней игривости и подпустила его к себе не сразу, долго рычала, скаля жёлтые клыки. Он точно знал, что это его волчица, но она стала другой, много спала и неохотно делилась с ним его же добычей. А ещё подолгу сидела в логове, глядя на утреннее солнце, наклонив голову набок, в сторону раненной когда-то лапы. Щенки в тот год не появились. В конце этого холодного, дождливого лета, когда утром выглянуло долгожданное солнце, спустившись утром к реке, она долго стояла на берегу, глядя на восходящее светило. А потом медленно пошла по воде. Она никогда не переходила реку, а сегодня шла и уже не слушала его призывы. Он видел спящую солнечную дорожку на воде, в которой исчезала его волчица. В ту ночь он особенно долго и отчаянно выл на скале, оповещая весь мир о снова постигшем его одиночестве.

Другой подруги в его жизни не появилось. Пару лет назад в конце зимы он ходил за болото. Ему встретилась молодая пара, им было года по четыре, волки были в самом расцвете сил, у самки начиналась течка, и пара оторвалась от стаи, чтобы побыть вдвоём. Волчица тревожно пахла, но не так сильно, как пахла его волчица пять зим назад. Её запах не затмил весь мир, не заставил позабыть об осторожности, а вот молодой скалил свои белые клыки и рычал так, что у волка сам собой поджимался хвост. Он тоже рычал и скалился в ответ, но его рык был не такой уверенный. Соперник это почувствовал и бросился на него. Бой был коротким. Боль от укусов и запах своей крови перебили аромат волчицы, и, когда противники остановились перевести дух, он уже почти позабыл про ту, что сидела чуть в стороне и равнодушно наблюдала за дракой самцов. Соперник был молод, силен, но излишне горяч и даже безумен в своей ярости. С ним можно драться и можно победить, он бы взял его измором, как кабана, он опытной. Но победа,

если она и будет, будет дорогой, возможно, даже слишком. В тот день он уступил не только эту волчицу, он уступил их всех.

Две луны назад он снова ходил за болото. Его потянуло к старому, давно обрушившемуся логову, где он появился на свет. Волк долго бродил по родным местам и почти ничего не узнавал. С каждым годом волков становилось больше, их следы встречались тут и там. В это время самки должны были пахнуть, окрашивая мир в тревожные, но такие волнующие цвета, но они не пахли. Молодые самцы ещё дыбили шерсть на загривках и скалили клыки, но волк не чуял самок, принюхивался, проходя мимо, но интереса к ним не проявлял. Его отгоняли, но уже не трогали. Побродив по волчьим тропам, несколько раз повстречавшись с излишне возбуждёнными по случаю гона сородичами, одинокий волк вернулся на свою скалу.

Неделю он уже не охотился, но несколько дней и не чувствовал голода. Вчера вечером пришёл в свое логово на скалу. Ночь была безветренная и ясная, подморозило. Холодный камень выхолаживал пустой живот, но волк не чувствовал уже и холода, то засыпая, то приоткрывая глаза, он дожидался рассвета.

Камень вокруг, река, скованная льдом, морозный воздух ничем не пахли. В предрассветной темноте окружающий мир не издавал никаких звуков, глаза не видели на черном небе звёзд. Тело уже не могло сделать движения и тоже ничем себя не проявляло в сознании волка. Его мир, начавший затухать пару лет назад, сначала незаметно, потом быстрее и быстрее, в эту ночь погас окончательно. Покрытая инеем морда лежала на вытянутых лапах, и только мигающие веки указывали на то, что некогда могучий зверь, хозяин этого леса, ещё жив.

Розово-жёлтое в ореоле морозного воздуха солнце взошло над горизонтом. Его луч нащупал вершину Волчьей скалы и плавно заскользил вниз, искрясь и преломляясь в мириадах ледяных кристаллов изморози, в темноте ночи украсивших серый растрескавшийся гранит. Луч опустился до маленькой выемки на середине скалы, в которой лежал одинокий старый волк, осветил его.

Волк вздрогнул, открыл глаза, и их взгляды встретились. Во мраке последних часов волка вспыхнул яркий, тёплый свет. В этом свете не было ничего, что можно было бы выделить отдельно, но в нём было всё, что он увидел, услышал, почуял и испытал за годы своей жизни. Все узоры, что возникали в его сознании, минута за минутой, день за днём и год за годом сложились вместе. Спрессовались до короткого мгновения и стали вспышкой ослепительного розово-жёлтого пламени. За краткий миг он увидел и заново испытал всю красочную радость, упрямую неудержимость жизни. Он, словно маленький резвый щенок на мощных лапах взрослого волка, упруго оттолкнулся от земли, прыгнул из мрака навстречу свету... В этот миг время остановилось.

Ничтожная частичка солнечного луча навсегда пропала в чёрных стекленеющих зрачках волка. А луч, не заметивший этой потери, скользил дальше. Он освещал и согревал кружащие вокруг солнца планеты миллиарды лет, но что значат эпохи, если в тебе за это время ничего не изменилось? И на этих планетах тоже, на всех, кроме одной. Лишь на третьей он заметил слабый, необычный для космоса свет. Сначала он появлялся только на освещенной им стороне, как уголёк, на который осторожно дуют. Затем планета засветилась вся, его собственным светом, но другим. Планета вбирала луч в себя, превращала его в сложный, широкий, постоянно меняющийся спектр. В переливающиеся узоры помещались самые многоцветные гармонии, от отчаяний до восторгов, простые звуки низменных желаний и сложные аккорды несбыточных надежд, яркие вспышки рождений и темные сгустки

предсмертных агоний. С каждым миллионом лет свет планеты, иногда затухая, разгорался всё ярче и ярче. Солнечный луч любовался своим отражением, восхищался им, он мог это делать, потому что там, на маленькой третьей планете, он, неожиданно для себя, стал живым.

В те годы волчья скала среди людей и стала называться Волчьей. На картах-то у неё совсем другое имя. Сначала поселковые стали называть её так промеж собой, потом кто-то рассказал про спасённого волком мальчика туристам-сплавщикам, коих с каждым годом на реке становилось всё больше. Словоохотливые проводники подхватили и, сидя вечерами у костра на вершине скалы, развлекали туристов на ходу придуманными легендами, изо всех сил прибавляя важности себе и интереса к Чусовой-реке. В их рассказах волк прямо сейчас смотрел на людей из ночного леса. Люди охотно верили, иногда видели в темноте два светящихся огонька. Утром повязывали на ближайшую сосенку тряпочку, какую не жалко, и сплавлялись дальше. Разъезжались по своим городам, пересказывали знакомым походные байки. Молва о Волчьей скале разнеслась далеко за пределы Чусовой-реки и всех Уральских гор. Волчья скала, она ведь потому и волчья, что на ней, по человеческому разумению, и сейчас живёт волк.

Кузьма Курвуазье

Вдохновенно и стремительно

Смех на похоронах

На первых же похоронах
Я был так неопытен,
Что искал покойницу
Не внутри гроба,
А за крышкой, стоящей
Прислоненной к забору.
И тем насмешил могильщика
И музыкантов похоронного оркестра.

А потом, когда умер дед
И десятки людей пришли его провожать,
Я, чтобы смягчить горе,
Которое я не пережил и спустя 30 лет,
Пошёл к его мордовским братьям,
Изрядно набравшимся в огороде
И громко смеющимся над чем-то.
Но шутили они на своём, эрзянском.
Наверное, что-то скабрезное.
Так что смешно стало только
От звучания незнакомого языка,
Языка, на котором дед при жизни
Запрещал говорить в моем присутствии.

Малые формы

Пьяные в апрельском лесу
В цветных одеждах
Ищут клещей друг у друга
При свете луны.

Кузьма Курвуазье (1984) — родился и живет в Самаре. Автор книги стихов «Наивная Брутальность» (2025). Публиковался на сайте Polutona.ru и в изданиях областного значения.

Дикость — иногда нежность.

Самара — станица русского верлибра.

Остановись, развитие, ты прекрасно.

Часть речи — непредсказуемое.

Вечером к нам пришел жигулевский краб.
Долго чавкал огненной пастью.
Поперхнулся и сгорел.

Незрелые пельмени

Пельмени растут на деревьях.
Сначала это хищные цветы,
Потом зеленые плоды,
Потом они белые и сырые,
Потом замороженные
И наконец вареные.
Садоводы собирают с веток
Вареные пельмени.
А если эти пельмени остынут,
То микроволновка в дупле старого дуба,
Но только в момент удара молнией.

Заказал восемь пельменей,
Принесли семь.
Пельмени как цветы:
Четное количество только на похороны.
Пельмени — цветы жизни.

Моя младшая дочь
Горько заплакала.
Я купил вместо фарша
Уже слепленные котлеты:
Набор из восьми штук.
Она хотела лепить сама,
А мама чтобы помогала.
Вот как-то так в результате

Пришлось эти восемь котлет
Смять обратно в фарш,
А потом заново
Вдохновенно и стремительно
Из фарша слепить
Семь котлет, а ведь было восемь.
Но эти семь немного крупнее,
И это похоже на случай
Когда я заказал восемь,
А мне принесли семь пельменей.
История повторяется
В виде фарша.

Почему это поэзия

Один чувак сел за стол
И, заглянув в лежащую бро-
шюру,
Заказал самсу, лук, спички и
лимонад.
Но эта брошюра — это ника-
кое не меню.
Это сборник стихотворений.
«Чувак, к тебе подошел не
официант,
А поэт...»

ДРАМАТУРГИЯ

Алексей Бухаровский

Огарки

Действующие лица:

Подросток — 15 лет, но выглядит на 12.

Танкист — сколько лет ему, по виду и не сказать.

Бабы в очереди — разные.

Картина первая и единственная

У обшарпанного здания, чьи ядовито-зелёные стены местами покрыл такой же зелёный мох, стоит очередь. Выцветшая вывеска «Хлеб» не радовала глаз, но людей в очереди было много, все желали поскорее отоварить свои карточки. Шёл 1944 год.

По деревянным тротуарам застучала чья-то нехитрая обувь. В очередь влетел подросток в засаленном ватнике с подвёрнутыми рукавами, на ногах его были брезентовые ботинки на деревянной подошве, носить такие ещё то удовольствие. Зато на голове красовалась кепка, новенькая, суконная, с сатиновым подкладом и дерматиновым подтулейником.

Подросток. Кто крайний?! Быстро очередь идёт?!

Бабы в очереди забурчали что-то вроде: «За обед поспеешь, а нет, так в столовой заводской отоваришься. И чего бегаешь? Опоздаешь же, вот мастер-то с него спросит, не упустит!» Трудно понять, чего эти бабы ворчали, то ли сочувствовали пареньку, то ли ругали его за разгильдяйство. Хотя почём они знали, кто он и откуда. Но они знали, парнишка заводской. Глаз у этих баб намётан.

Подросток. За вами буду.

По тротуарным доскам загрохотало. Звук этот было ни с чем не перепутать. К магазину катился инвалид. В ровной, аккуратно обитой железом коробке с подшипниками вместо колёс к очереди причалил безногий. Примечательно было то, что на голове его был танковый шлемофон, армейский, фронтовой. Да не это, конечно, главное было в нём. Не это. Совсем не это. Лица на инвалиде не было. Вот в самом прямом смысле. Белый такой блин с двумя прорезями глаз без век и, понятно дело, без ресниц и бровей. Нос не нос, кнопка какая-то, только ноздри — две чёрные точки да безгубый рот, в

Алексей Бухаровский — драматург, киносценарист, писатель, режиссёр, продюсер. Победитель национальной литературной премии «Золотое Перо Руси» (2007), лауреат всероссийского конкурса сценарного мастерства «Метод» (2023), лауреат международного конкурса имени Сергея Михалкова (2024). Окончил магистратуру ЕГТИ по специальности «Сценарное мастерство» (мастер Н.В. Коляда).

котором блестели два ряда железных зубов. Бабы, увидев его, вздрогнули, начали поправлять на лицах платки, отворачиваться. Старухи тайком перекрестились. Инвалид, оглядев очередь, впился глазами в подростка и задорно выкрикнул.

Инвалид. За тобой, что ли, паря, мне держаться?!

Подросток. Ага.

Среди баб пошёл ропот. Типа пропустить бы инвалида надо, чего ему маяться? Но инвалид, услышав такие разговоры, упредил сердобольных.

Инвалид. Ничё, ничё! Погода нынче хорошая! Погуляю маненько!

Лицо, вернее, то место, где когда-то было лицо, действительно напоминало блин. Кожа была неестественно белой, бугристой, местами с подтёками, как у стеариновой свечки. Подросток с любопытством разглядывал инвалида и заключил, что инвалид — не пропойца. Безногих в Тагиле было полно, они всё больше жались к питейным заведениям. Там калеченым частенько наливали сочувствующие граждане. Давали мелочь. Угощали воблой и хлебцем. Воняло от таких инвалидов перегаром и мочой. Часто передвигались они прямо на жопе, натянув на культы свои рогожу или холщовый мешок. Этот инвалид был иного рода. Складный. Аккуратный. Пахло от него одеколоном. Тележка прям мастерски сбита, и на руках — подушки для того, чтобы отталкиваться при езде, и не абы какие, на ремнях для полного удобства.

Инвалид. Заводской?!

Подросток. Я-то? Ага.

Инвалид. С танкового?

Подросток. Ага.

Инвалид. Сводку сегодняшнюю слушал?

Подросток. Громим! К Нарве подходим! Уничтожили немецкий полк и улучшили свои позиции.

Инвалид. Так их, фрицев! Закурим по этому поводу!

Инвалид достал папиросы из внутреннего кармана телогрейки, и тут подросток разглядел, что у инвалида на левой руке было всего четыре пальца, и то — обрубыши, большой палец отсутствовал, зато на правой руке большой палец красовался в гордом одиночестве.

Инвалид. Угощайся!

Подросток. Не. Я некурящий.

Инвалид. При горюче-смазочных служишь? Не куришь, значит? Это правильно. Плохая привычка. Я вот, видишь, курил! И чем кончилось?!

Инвалид залился звонким хохотом, демонстрируя свои стальные зубы.

Подросток. Где вас так?

Инвалид. Под Курском. Я мехвод. Аккурат под меня снаряд прилетел. Ноги зажало. Соляра хлещет. Как пыхнет! Думал, всё! Но обошлось. Вытащили. Потушили.

Подросток. А я испытатель. С пушки стреляю.

Инвалид чуть не выпрыгнул из своей модной коляски от радости.

Инвалид. Так ты, считай, тоже танкист?! Братуха!

Инвалид протянул подростку свою правую руку с одиноко торчащим пальцем, и они скрепили своё танкистское братство долгим рукопожатием.

Подросток. Солярка если загорится, хрен потушишь. Полтонны топлива в восьми баках — это не баран начхал. Катки чугунные плавятся.

Инвалид. Верно. Видал, как меня подплавало! Зато живой!

Инвалид вынул из накладного кармана модную латунную зажигалку. Подросток было хотел помочь ему прикурить, но инвалид, отмахнувшись, ловко крутанул колёсико, и кремний дал обильную белую искру, запалив фитиль. Смакуя процесс, инвалид неспешно закурил, проворачивая во вставных зубах папироску, поджигая табак равномерно по всей окружности.

Инвалид. Какими снарядами стреляешь?

Подросток. Всё как положено. Бронебойным, картечным, осколочно-фугасным, шрапнелью.

Инвалид. Ай, молодца! Мажешь небось?

Подросток. Вот ещё! Я за год так приноровился, один в один сделать могу. Только вот газы пороховые, мать их, горло шибко дерут. На кашель меня срубает. Я оттого и не курю. Лёгкими слаб.

Инвалид. С рождения хворый?

Подросток. Не. Когда с Ленинграда эвакуировали, машина наша под лёд провалилась.

Инвалид. Так ты блокадник?

Подросток. Ага.

Инвалид. Ох и натерпелся ты, паря...

Подросток. Поначалу-то ещё ничего было, а зимой вообще худо стало.

Инвалид. Родичи-то спаслись?

Подросток отрицательно помотал головой.

Подросток. Не-а. На отца в первый месяц похоронку получили, а мама... Мама уже от голода.

Инвалид. Хорошо, что хоть сил хватило из полыньи вылезти.

Подросток. Так не хватило. Машина медленно так в воду погружается, понимаю, что потону сейчас, а сделать ничего не могу. Сил пошевелиться не было. Вот. Почти что утонул. Из воды меня уже вынули и в другую машину пересадили. Оттого и пробрало холодом насквозь. Всю дыхалку льдом сковало. Долго в больнице после лежал.

Инвалид. Жуть какая. Мороз прям по коже.

Подросток. Как на поправку пошёл, в ФЗУ определили.

Инвалид. В учениках, значит, ходишь?

Подросток. Здравсьте! Я обученный уже! Полная рабочая! Во! Восемьсот грамм! *(С гордостью демонстрирует хлебную карточку.)*

Инвалид. Законно! А меня, вишь, подлатали в госпиталях-то — и на вольные хлеба. Пенсия, конечно, есть, всё честь по чести, но в деревню я возвращаться не стану. *(Замолчал, вспоминая родной дом.)* А в деревне у нас хорошо. Особенно в покос. Жара. Трава свежескошенная сок даёт, прям дурманит. Я этот запах с малолетства помню. Косы знай только ширк, ширк. А то ещё бабы песню заведут. Протяжно так. Душевно.

Подросток. А я вот помню, как мамина помада пахла. Розами, розами она пахла! Мама у меня красивая была. Артистка. На сцене пела. И танцевала.

Инвалид. Да ну!

Подросток. Да! Она даже в Ленинградском мюзик-холле работала. Чечётку била. Как начнёт! Глаз не оторвать!

Подросток, весело подпрыгнув, демонстрирует несколько элементов степа. Благо обувь у него для этого подходящая. Подошвы деревянные, стучат как надо.

Подросток. В блокаду мы всю мамину помаду съели.

Инвалид. Разве же она съедобная?

Подросток. Съедобная. Мы всё тогда ели. Пока было, что есть.

Инвалид. Дома хорошо. Но не вытянуть мне в деревне. А тут вроде как артели инвалидские налаживаются. Я же и зажигалки паять могу, и на пресе работать. Шуму-то я не боюсь. В танке попривык. Там как бахнет, только рот открытым держи, а то оглохнешь!

Подросток. Я тоже... Тоже уже привык! Оно сперва только шибко закладывает, а после уже и не пугаешься даже. И слышно всё, только глуховато малость. Будто бы уши ладошками прикрыл.

Инвалид. Верно.

Подросток. Я стрелять могу цельными сутками. Руки уже сами всё помнят. Спамши, не спамши, всё одно дело сделаю.

Инвалид. По десять часов, поди, робите?

Подросток. По двенадцать. А если аврал, и по пятнадцать приходилось. Меня ещё к погрузке привлекают. Глазомер-то у меня хороший, а там танк ровно на платформу ставить надо. Допуск по три с половиной миллиметра с каждого края.

Инвалид. За переработку-то хоть премия есть?

Подросток. А то! Однажды нам после работы в столовой накрыли, всей бригаде. Каждому по полной тарелке макарон дали с сахарином! Вкуснота!

Инвалид. Я такое не пробовал. Зато, знаешь, однажды случай у нас был. Из боя три дня не выходили. Подъели всё до последнего сухаря. Я чую, откуда-то жратвой пахнет. Ну, прямо кашей с мясом тянет, хоть ты тресни. Командир из люка вылез, в бинокль осмотрелся и углядел-таки. Немчура в лесочке полевую кухню замаскировала. Мы переглянулись — и туда! На всём ходу ворвались в рожицу, те врассыпную, а мы кухню на трос и к себе уволокли! Ох, и поели мы тогда! Ох, поели! У них кухня полевая не как наша, на три отсека поделена, значит. Первое. Второе и третье. Красота!

Подросток. Я картоху люблю мёрзлую. Ежели её кипятком обдать чутка, она прям сладкая. Грызть — одно удовольствие. Главное — зубы не сломать.

Инвалид. А я зараз могу хоть гвозди грызть! Видал, какие зубы себе заимел! *(Озорно хохочет.)*

Подросток. Это от жары, когда горели, зубы треснули?

Инвалид. Не. Это уже по дороге. Меня же как из танка вытащили, я сознание потерял. Очнулся. Не вижу ничего. Морда-то от ожогов заплыла. Рук-ног не чую. А меня подбрасывает и подбрасывает. Это нас в полуторку раненых загрузили и в медсанбат отправили. А немец, тварь, из танка лупит прям по санитарной машине. Видно же: крест красный. А он долбит. Санинструктор кричит: «Держись, ребята! Может, выскочим!» Один снаряд рядом рванул, тент снесло. Подбросило, не знаю уж на сколько метров. Вот зубами на кабину и приземлился. Эх! Зубы — что... Вот ноги — жалко. *(Затянулся папироской. Затянулся глубоко, вдумчиво. Немного помолчал.)* Хорошо, что вы танков много делать стали. Знаешь как их на фронте ждут! Ой, что ты! Только вот чего вы пушки-то такие слабые ставите? Ведь у немцев-то орудия куда дальноточнее. Вчетверо! Вчетверо, мать их! Я пока к нему подкрадусь, он меня, как в тире, бронебойными за два километра охаживает!

Подросток. Это они новую модель погнали. «Тигры». Здоровенные. Но их тоже подбивать можно. Нам такой с фронту присылали для изучения. Если в бок ему дать...

Инвалид. То-то и оно! Я об том и толкую! Маневрировать надо постоянно, чтобы позицию нужную занять. Маловата пушка! Семьдесят шесть миллиметров против «тигра» несерьёзно!

Подросток. Так мы же уже на восемьдесят пятую пушку перешли!

Инвалид. Да ну! Давно?!

Подросток. Уж с месяц как!

Инвалид. Вот это — другое дело! Давно надо было!

Подросток. Да мы сейчас столько танков с новой пушкой отправим, кабзда всем «тиграм» придёт! У нас даже своё самостийное соревнование есть. Стенд такой в цеху повесили. Кто норму перевыполняет вдвое, тот на самолёте, кто в полтора — тот на танке, кто только норму делает, тот на лошади.

Инвалид. А ежели кто оплошал?

Подросток. На тот случай такой в калоше будет, а ещё хуже — на улитке поползёт!

Подросток смеётся, смеётся громко и долго, пока на него не наваливается кашель. Кашель нехороший, как будто лёгкие наружу рвутся.

Подросток. Только отстающих у нас давно уже нет. Неохота никому ни в калошу попасть, ни на улитку. Все понимают, не в игрушки играем. Фронту танки нужны.

Инвалид. Это хорошо, что понимание есть.

Подросток. Я через три года тоже на фронт пойду. Обучу себе замену и сразу на фронт. Я бы и сейчас пошёл. В военкомате сказали: только по году призыва.

Инвалид. Тебе бы в танковое училище. Да на командира танка выучиться. Я вот семилетку всего окончил и на курсы трактористов поступил, с них меня и призвали. А поучился бы с полгода в училище, на фронт уже офицером бы пошёл.

Подросток. А офицером лучше?

Инвалид. Да как сказать. Самостоятельнее. Ответственности в стократ больше. Там уже за всех отвечаешь, не только за себя. Но и смерть ближе ходит.

Подросток. Как это?

Инвалид. Так экипаж-то всегда под бронёй, а командир с открытым люком на поле боя смотрит.

Подросток. Не положено с открытым же?

Инвалид. В бою не все предписания и наставления работают. Шесть щелей смотровых. Обзор тринадцать градусов, а надо видеть на все триста шестьдесят.

Подросток. Понятно.

Инвалид. А если осколками или пулей не цепанёт, фашисты казнят. Командиров в плен не берут. Был у нас случай. Подбили в роте два танка из десяти. Мы отступили. Немцы к танкам на бронетранспортёрах подкатили. В одном-то весь экипаж погиб, боеукладка сдетонировала. Во втором танке экипаж уцелел. Так фрицы командира за ноги к бронетранспортёрам привязали и надвое разорвали.

Подросток. Суки! Я им отомщу! За всё отомщу! Ничего не забуду!

Инвалид. Вот это верно. Прощать их нельзя. Ни при каких обстоятельствах нельзя. Я даже письмо товарищу Сталину про это написал.

Подросток. Самому Иосифу Виссарионовичу?!

Инвалид. Ему. Написал, чтобы не верил он немчуре. Когда они мира просят, на их уговоры не поддаваться. До конца их бить, до Берлина до самого. И чтобы после войны они только на лошадях пахали.

Подросток. Отчего же только на лошадях?

Инвалид. Да чтобы не получилось, как в Первую мировую. Им же запретили оружие делать, а после слабину дали, вот и получили новую войну. Я так полагаю, они после нашей победы начнут тихохонько трактора делать: для посева, мол, они необходимы. Землю, мол, пашем, и не придерёшься.

А там втихую и танки клепать станут. Так что никак нельзя им этого допускать. Пусть на лошадях пашут!

Подросток. Верно!

Инвалид. А ещё во всей Европе надо наших людей в управление поставить. Вот кончим войну, и в каждый город главным — нашего генерала. Ты вот думаешь, мы с Германией одной воюем? Вся Европа против нас.

Подросток. Прямо все?

Инвалид. Все! Я, в госпитале пока лежал, со студентом одним познакомился. Умнейший парень. Только вот в первом же бою на мину наступил. Ногу ему оторвало до колена, но он не ропщет: говорит, дальше учиться пойду. В науке, говорит, и одной ногой широко шагать можно. Вот он мне на всё глаза-то и открыл. Через что Гитлер силу набрал? Он же, как паук, одну за другой к себе эти страны притянул и на себя работать заставил. Они и самолёты, и танки ему дают, и вместе с немцами против нас в бой идут. Всё почему?

Подросток. Почему?

Инвалид. Не могут они пережить, что есть такая русская земля! Хотя под Гитлером, но нас укусят норовят. На всё готовы ради нашей гибели! Ты вот это крепко запомни, нет у нас среди них друзей, они только силу уважают! Дашь слабину, сожрут!

Подросток. Запомню.

Инвалид, разволновавшись, расстегнул ворот гимнастёрки. Шея под воротом, как и лицо танкиста, была в ожоговых шрамах. Подросток с сожалением оценил увечья собеседника.

Подросток. Долго заживали?

Инвалид. Ты про что?

Подросток. Про ожоги.

Инвалид. Да с год, наверно. Хорошо, что стрептоцид изобрели. Без него бы хана. Да ты не смотри, что рубцов полно, это жизни не помеха. Вот в госпитале я на такие ранения посмотрелся, не приведи бог. Когда пуля нижнюю челюсть сносит, к примеру. Язык на груди висит, и слюни, как с крана, льются. До конца жизни через шланг питаться. Вот горе так горе. А то ещё бывает, попадёт человек под миномётный обстрел или бомбёжку. Осколочек один, малюсенький кусочек железа, в спину прилетит, и привет. Тело как мёртвое. Лежит человек годами на кровати. Целёхонький! И всё, что может, — это глазами хлопать да разговаривать. Ни рукой, ни ногой не шевельнёт.

Подросток. Лучше бы сразу насмерть.

Инвалид. А про то не нам решать. Каждому своё определено. Остался в живых, будь любезен живи! А кто пялится или жалеет меня, так я к этому привыкший и внимания не обращаю. Тут девчонки молодюсенькие с фабрики шли. Подсобили мне через лужу перебраться. Я им говорю: а вы куда, красавицы, идёте? Они говорят: на танцы. Я им: возьмите меня с собой! Они ржут, кричат: какие танцы тебе, огарок?! Не со зла кричат, так, для смеху. А я и не обижаюсь. Лучше смеяться, чем горевать. Так, нет, браток?!

И тут инвалид снял со своей головы танкистский шлемофон, чтобы утереть рукавом пот со лба. Из-под кожного шлема на свободу вырвалась непослушная копна кудрявых рыжих волос. И только сейчас подросток понял, что собеседник его — такой же молодой парень, как и он, может, на три-четыре года постарше. Сердце его внезапно защемило. Он присел, чтобы урavnяться с инвалидом в росте.

Подросток. Ладная у тебя тележка.

Инвалид. Сам делал.

Подросток. И подшивники хорошие.

Инвалид. Так я же их смазываю каждые три дня. Чтобы не заржавели. Всё как положено. Техника особой заботы требует. Эх! Как я танк свой наладил. Ты бы слышал. Он у меня пел, а не тарахтел. Послушный был, понимающий. Сколько раз нас спасал. Эх! Жаль мне его прям до слёз!

Подросток. Танк?

Инвалид. Конечно. Он же как родной мне был.

Подошла очередь за хлебом. Бабы кликнули подростка. Он наскоро отоварил карточки и, прижимая к себе хлеб, снова присел на корточки перед инвалидом.

Подросток. Счастливо.

Инвалид протянул к нему обе калеченные руки и пожал на прощание руку паренька.

Инвалид. А ты, паря, на фронт не спеши. Может, и без тебя успеют эту гадину добить?

Подросток. Нельзя без меня. Я им... я им...

Паренёк еле сдерживал слёзы. Ему хотелось крепко обнять инвалида и многое ему рассказать. Но он сдержался. Кашель снова стал рваться наружу из его изувеченных лёгких. Да и бабы из очереди и так уже тихо плакали. Поскуливали, утирая глаза кончиками своих выцветших платков.

Инвалид. Беги. А то опоздаешь. Там танки уже в очередь собрались. Только тебя и ждут.

Подросток выпрямился и, не оборачиваясь, побежал, гулко стуча деревянными подошвами своих ботинок. В те годы таких людей, как этот паренёк и инвалид, было много. Не щадя своей жизни, они сжигали её на фронте и в тылу. Кто-то сгорал дотла, кто-то превращался в огарок. Огарки, они думали, что эта война станет последней.

ПЕРЕКЛИЧКИ

Павел Глушаков

От Гоголя до Шукшина:

Из историко-литературных контекстов

*

В.Ф. Одоевский писал в 1866 году: «Но солнце не без пятен и в семье не без уroda... Вокруг великого дела, свершающегося в России, стоят Митрофанушки, Простаковы, Скотинины; с досадным изумлением смотрят они на тружеников и думают думу крепкую... Было бы ошибочно предполагать, что Простаковы и Скотинины вымерли и духа их не стало — они все живехоньки, только умылись и принарядились... Митрофанушка съездил в Париж, воротился в пиджаке и гневается на мировых, что заставляют его платить долги портному...»¹

До чеховского лакея Яши из «Вишневого сада» оставалось тридцать семь лет.

*

Истоки распространенного мифа о «бессребреничестве» вождя народов имеет, видимо, литературную основу. Сравним описание личных вещей Сталина, сделанное в день его смерти: «Блокнот серого цвета. Красная записная книжка. 67 листов заметок на отдельных страницах. 5 курительных трубок, 4 коробки с табаком и другими приспособлениями для курения. 2 белых кителя. 2 серых кителя. 10 пар брюк. Коробка нижнего белья. Будильник в форме лисы (без уха)»².

Гоголь «Шинель»: «Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, Бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть».

Павел Глушаков (1976) — родился в Риге. Выпускник Латвийского университета, доктор филологических наук. Автор книг по истории русской литературы: «Шукшин и другие», «Мотив — структура — сюжет». Постоянный автор «Нового мира», «Нового литературного обозрения», «Знамени».

¹ Одоевский В. Ф. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1981. С. 332.

² <https://kulturologia.ru/blogs/141120/48135/>

*

Фраза Сталина «Сын за отца не отвечает» была произнесена на совещании в декабре 1935 года. Это выражение могло возникнуть не без литературных аллюзий: монолог Гамлета (в переводе А. Кронеберга) часто читал со сцены В.И. Качалов. Монолог был записан на радио и передавался в многочисленных передачах:

Совершено проклятое злодейство.
Я трус? Кто назовет меня негодным?
Кто череп раскроит? Кто прикоснется
До моего лица? Кто скажет мне: ты лжешь?
Кто оскорбит меня рукой иль словом?
А я обиду перенес бы. Да!
Я голубь мужеством; во мне нет желчи,
И мне обида не горька; иначе
Уже давно раба гниющим трупом
Я воронов окрестных угостил бы.
Кровавый сластолюбец, лицемер!
Бесчувственный, продажный, подлый изверг!
Глупец, глупец! Куда как я отважен!
Сын милого убитого отца,
На мщенье вызванный и небесами,
И тартаром, я расточаю сердце
В пустых словах, как красота за деньги:
Как женщина, весь изливаюсь в клятвах.
Нет, стыдно, стыдно! К делу, голова!

В таком случае — смысл этой фразы Сталина не только в «милости», но и «призыве» отказаться от мести за прежние «обиды», за «проклятое злодейство», воздержаться от «мук совести», примириться с реальностью, новой действительностью³. Покориться, в конце концов: этот смысл мог быть понятен Сталину — Джугашвили, который помнил горские традиции кровной мести.

Не исключено, что именно этот неявный для современников смысл уловил в поэме «По праву памяти» А.Т. Твардовский:

Сын за отца не отвечает —
Пять слов по счету, ровно пять.
Но что они в себе вмещают,
Вам, молодым, не вдруг обнять.

Их обронил в кремлевском зале
Тот, кто для всех нас был одним
Судеб вершителем земным,
Кого народы величали
На торжествах отцом родным. <...>

И вдруг:

Сын за отца не отвечает.
С тебя тот знак отныне снят.
Счастлив стократ:
Не ждал, не чаял,
И вдруг — ни в чем не виноват. <...>

³ В таком прочтении по-иному видятся причины нелюбви Сталина к этому шекспировскому произведению: он не столько видел себя в роли узурпатора-короля, сколько опасался мести сыновей за гибель их отцов.

(Да, он умел без оговорок,
Внезапно — как уж припечет —
Любой своих просчетов ворох
Перенести на чей-то счет;
На чье-то вражье искаженье
Того, что возвещал завет,
На чье-то головокруженье
От им предсказанных побед.)
Сын — за отца? Не отвечает!
Аминь!
И как бы невдомек:
А вдруг тот сын (а не сынок!),
Права такие получая,
И за отца ответить мог?

Поэма Твардовского, завершенная в 1969 году, вызвала, как известно, острую реакцию и запрет власти. И именно в том же 1969-м был написан роман Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю», вторая часть которого носила такое вызывающее название — «Мстите, братья!».

*

Стихотворение Владимира Набокова «Расстрел» (1927) испытало, как представляется, влияние двух предшествующих ему текстов. Во-первых, начальное набоковское «Бывают ночи: только лягу...» отсылает к стихотворению Анны Ахматовой «Перед весной бывают дни такие...», в котором явственен мотив неузнавания собственного дома (у Набокова — перенесение лирического героя в иное пространство).

Во-вторых, в ритмическом биении набоковского текста различимо блоковское «Ночь, улица, фонарь, аптека...»: здесь и мотив умирания (расстрела у Набокова), образ ночи, а также сам ритм; ср.:

<...>
Чтоб это вправду было так, —
Россия, звезды, ночь расстрела —
И весь в черемухе овраг!

И у Блока:

Все будет так. <...>
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

«Проявление» блоковской «аптеки», кажется, объяснимо еще и тем, что Набоков, страдавший от бессонницы в течение всей своей жизни («только лягу <...> проснусь»), мог вспомнить об освещенной в ночи аптечной вывеске, замененной в его тексте «горящим циферблатом». И, наконец, образ «весь в черемухе овраг» может быть прочитан не только как торжество весенних жизненных сил, а как образ, связанный с мотивом бессонницы: цветущая черемуха, как известно, имеет определенно дурманящий эффект, лишает сна. Образ кровати, «поплывшей в Россию», определенно указывает на корабельную ассоциацию, которая с уже отмеченным мотивом бессонницы отсылает к тексту Осипа Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. / Я список кораблей прочел до середины...»

*

А. Фет «Музе» (1857):

Надолго ли опять мой угол посетила,
Заставила ещё томиться и любить?
Кого на этот раз собою воплотила?
Чьей речью ласковой сумела подкупить?

Дай руку. Сядь. Зажги свой факел вдохновенный.
Пой, добрая! В тиши признаю голос твой
И стану, трепетный, коленопреклоненный,
Запоминать стихи, пропетые тобой. <...>

А. Фет «Музе» (1882):

Пришла и села. Счастлив и тревожен,
Ласкательный твой повторяю стих...<...>

Всё та же ты, заветная святыня,
На облаке, незримая земле,
В венце из звезд, нетленная богиня,
С задумчивой улыбкой на челе.

А. Ахматова «Муза» (1924):

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль⁴ Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Так на череду вопросов, заданных Музе еще Афанасием Фетом, та ответила, пусть и предельно односложно, Анне Ахматовой.

*

Финалы «Ревизора» и «Вия» очень похожи: буквальное окаменение фигур, пораженных неожиданным известием.

А начинается все с невербальных угроз; вот реплики и ремарки последнего восьмого явления: «И руки дрожат, и все помутилось». «(Грозит самому себе кулаком)», «(Расставляя руки)», «(Показывает на Добчинского и Бобчинского)», «(Все обступают их)».

А вот уже «Вий»: «Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова». Или: «Но, не видя ничего, с бешенством — что выразило ее задрожавшее лицо — обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столп и угол, стараясь поймать Хому. Наконец, остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб». Или: « — Вот он! —

Аналогичное словоупотребление было в тексте П.В. Шумахера «Российская муза» (1879):

«Ты ль это, муза? Что с тобою?
Ты вся в слезах? Ты где была?»

закричал Вий и утавил на него железный палец» Или: «...нечистая сила металась вокруг его».

Городничий прямо теряет зрение («Ничего не вижу»), будто Вий («— Подымите мне веки: не вижу!») или ведьма («...не видя ничего...»).

Завершение известно: «Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святости и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги».

«Ревизор»: «Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменявши положение, остается в окаменении».

Вся эта чудная компания ловила и не поймала своих героев — Хому Брута и Хлестакова. Они, эти молодые люди, ускользнули от них: Хома превратился в дух, который, как известно, дышит, где хочет («...тут же вылетел дух из него...»), а Иван Александрович также превратился почти буквально в вольный звук, стал чуть ли не мелодией, самой музыкой: «Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю».

Любопытно, что Хлестаков, собственно, сбежал из-под венца, скрылся от уже решенной свадьбы. Хома же, настойчиво преследуемый ведьмой, вполне возможно, тоже избежал нежелательной участи. Что, собственно, нужно было мертвой ведьме и ее многочисленным родственникам, упырям и чудищам, в оскверненной ими церкви, как не «антисвадьба», ведьминское бракосочетание, которое известно, кажется, разве только из пушкинских «Бесов»:

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

*

4 ноября 1968 года Лидия Корнеевна Чуковская записала в дневнике: «Сегодня я узнала, что в редакции “Огонька” повесили портрет Сталина». Жест этот был не только знаком идеологического дрейфа «по направлению к сталинизму», но и данью естественной знаковости, которая заложена в самом названии этого журнала. Символика, даже эмблематичность, огонька от знаменитой сталинской трубки всячески культивировалась на страницах журнала и изданиях его библиотечной серии книжек.

В стихотворении Степана Щипачева «Родня» описывается комната «простой ткачихи». На стенах многочисленные фотографии:

В комнате живет она
И одна и не одна:
В фотографиях стена.

Вот с рабочей кепкою в руке,
В праздничном суконном пиджаке
Муж — давно покойный — с нею рядом,
С нею — молодой, нарядной.

Вот — внучонок, снявшийся в Артеке,
Вот — весь в лентах пулеметных брат
На ступеньках Смольного. Навеки
Светел и правдив солдатский взгляд. <...>

Много карточек...
И среди них одна,
Где закуривает трубку Сталин.
В скромной рамке под стеклом она.

И далее Щипачев предлагает «творческое переосмысление» ленинского выражения «Из искры возгорится пламя», только теперь предлагается «мирный» вариант — сталинский. В нем вождь обогрывает огоньком своей трубки весь мир:

Поднесенный к трубке по привычке
Жаркий огонек на тонкой спичке —
Нашего спокойствия порукой —
Вспыхнул, словно белый лепесток,—
И его над этой мирной трубкой
Видит Запад и Восток.

Всем известно —
Никакой на свете
Потушить его не сможет ветер⁵.

Поистине чудесные смысловые координаты приобретает «огонек» в стихах Дмитрия Кедрина — это уже неугасимый огонь веры, вечный огонь, который горит... в трубке Сталина:

— Нет ли спичечки, послушай? —
Командир спросил стрелка.
Рядовой достал «катюшу»,
Вздул сержанту огонька.

Спичек не дали пехоте
Интенданты в тот денёк,
И пошёл гулять по роте
Негасимый огонёк.

Услужил боец сержанту,
Фитилёк свой поднесся.
От сержанта к лейтенанту
Огонёк перебрался.

От него добрался скоро
В полковой командный дот —
До товарища майора
Огонёк бродячий тот.

А боец пошёл в дорогу
С папирскою во рту.
И скосила рядового
Вражья пуля на лету...

⁵ Стихи о Вожде. М.: Правда, 1949. С. 81–82. (Библиотека «Огонек», № 49–50).

Говорят, товарищ Сталин
В эти дни на фронте был,
Говорят, товарищ Сталин
У майора закурил.

Рядовой в могиле братской
Спит, позёмкою прикрыт,
Огонёк его солдатский
В трубке сталинской горит⁶.

Пройдет менее года, и в «Огоньке» появится статья с выпадами против «Нового мира». Авторы «Огонька» будут писать о том, что «появились кощунственные материалы, ставящие под сомнение героическое прошлое нашего народа и Советской армии», статьи, «глумящиеся над трудностями роста <...> общества». Огоньковцы заявят, что в критических статьях «планово и целеустремленно культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям <...> общества, к его идеалам и завоеваниям...»⁷ Этим текстом они подтвердят верность тому, кто взирал на них со стен редакционного кабинета.

*

Из поэтического «монтажа»: Пушкин («Сцена из Фауста») и Лермонтов («Парус»).

Ф а у с т
Что там белеет?

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..

Ф а у с т
Все утопить.

*

В рабочих записях Василия Шукшина: «Я — сын, я — брат, я — отец... Сердце мясом приросло к жизни. Тяжко, больно — уходить»⁸.

Этот комплекс будет развернут в фильме «Ваш сын и брат», центром которого стал рассказ «Степка»: сбежавшего из тюрьмы всего за три месяца до полного освобождения героя расспрашивает обескураженный таким поступком милиционер. Но в ответ Степан по преимуществу молчит: «Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался. <...> Долго шли молча, почти до самого сельсовета. <...> В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. <...> Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал. <...> Степан не слышал его».

«На язвительные реплики милиционера («— А по лицу не скажешь, что дурак») Степан никак не реагировал. <...>

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку».

Этот эпизод какими-то тонкими нитями связан с гогаевской «Шинелью» — когда Акакий Акакиевич произносил только одну фразу в ответ на «невыносимые шутки» чиновников: «Молодые чиновники подсмеивались и

⁶ Там же. С. 26.

⁷ Против чего выступает «Новый мир»? // Огонек. 1969, № 30. С. 26–27.

⁸ Шукшин В. М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М.: Panprint publishers, 1996. С. 220.

острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия <...> Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?” И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменялось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?” — и в этих проникающих словах звенели другие слова: “Я брат твой”. И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...»

«Я брат твой» летит эхом сквозь время и подхватывается шукшинским «Ваш сын и брат». А образ лишенной дара речи сестры Степана («А по деревне серединой улицы бежала, спотыкаясь, немая и горько плакала. Она торопилась всем сказать, закричать всем, которые пляшут и не знают, что брата опять зачем-то хотят увезти. Она торопилась») является отражением гоголевской птицы-тройки — из «Мертвых душ»: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа».

*

В образе профессора Преображенского из «Собачьего сердца» многое от характера В. И. Немировича-Данченко: определенная категоричность, неприятие расхлябанности, непрофессионализма, желчность суждений, особенно рискованная для своего времени. Конечно, образ Преображенского складывался многими линиями, но, кажется, одна из них — линия режиссера МХАТа (с которым, к слову, у Булгакова были более чем непростые отношения).

Сравним страстные монологи Преображенского и Немировича-Данченко:

«Какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? <...> Что такое эта ваша “разруха”? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует! Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной деревянной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: — Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, посещая уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат “Бей разруху!” — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой».

«...дома приятные по свету, воздуху, но кроме стен, воздуха и кроватей ничего. В холле, впрочем, и картины (!) и портреты вождей, в саду памятник Ленина. А внутри так: в этаже одно помещение с уборной, ванной, душем, умывальником для всех. В номерах умывальников нет. Впрочем, и там — ни задвижек, ни ключей. <...> А в комнатах, как это обычно. Замок есть к ящику, а ключа нет. А тут ключ есть, а замок выхвачен. А тут есть и замок, и ключ, но не запирается. Лампа есть, а штепселя нет. Там есть штепсель и только перенести лампу, но штепсель не действует. <...> Премилые девушки мечутся, хлопочут, улыбаются. Налаживают прием гостей. Одна приставлена к столовой. Мы с ней сговариваемся насчет моих диетических требований. Но это оказалось сверх ее сил. Заказ: суп овощной, курица с рисом к 2 часам. Принесли в половине четвертого суп рисовый и картофель в масле. <...> ...штепсель не работает. Однако быстро прислали монтера. Он проверил и сказал, что это штепсель для радио, и ушел. Но наврал.<...> ...шкаф дорогой, но ни одного крючка или ключа, чтоб открывать. Вешалка красивая, но когда на крючок повесишь, он быстро переворачивается, с негодованием сбрасывая с себя ношу. И свое радио! Тут же у письменного стола. Но оно молчит или говорит так, что ни одного слова, кроме РВ 96, нельзя разобрать»⁹.

*

Финал «Обыкновенного чуда» Е. Шварца чем-то неуловимо перекликается с финалом булгаковского романа «Мастер и Маргарита».

«Х о з я и н <...> Спи, родная моя, и пусть себе. Я, на свою беду, бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затосковать навеки. А пока — ты со мной, и я с тобой. С ума можно сойти от счастья. Ты со мной. Я с тобой. Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут так, как будто они бессмертны, — смерть иной раз отступает от них. Отступает, ха-ха-ха! А вдруг ты и не умрешь, а превратишься в плющ, да и обовьешься вокруг меня, дурака».

«— Слушай беззвучие, — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, — слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не тревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я».

*

В декабре 1964 года Корней Чуковский заносит в дневник такую историю: «Гулял с Симой Дрейденом. Он рассказал мне потрясающую, имеющую глубокий смысл историю. Некий интеллигент поселился (поневоле) в будке железнодорожного сторожа. Сторож был неграмотен. Интеллигент с большим трудом научил его грамоте. Сторож был туп, но в конце концов одолел начатки грамматики. Он очень хотел стать проводником на поезде. Для этого нужно было изучить десятки правил наизусть — и сдать экзамен. Интеллигент помог и здесь. Сторож стал проводником, приезжая на юг, закупал апельсины и проч. и небезвыгодно продавал на севере. Разбогател.

⁹ Немирович-Данченко В.И. Творческое наследие: В 4 т. Т. 4. М.: Изд. «Московский Худ. театр», 2003. С. 94; 96.

Интеллигента между тем арестовали. Отбыв в лагере свой срок, он воротился домой. Здесь его реабилитировали — и показали его “дело”. Оказалось, что, научившись грамоте, благодарный железнодорожник первым делом написал на него донос: “Предупреждаю, что NN имеет связи с заграницей”».

По сути, перед нами история чисто булгаковская: попытка профессора Преображенского научить «человеческой грамоте» Шарикова. В итоге же получается следующее: «И вот на следующий день... профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил его осунувшийся Филипп Филиппович. — Садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен. Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... Питая большое уважение... гм... Предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... — Пациент полез в портфель и вынул бумагу. — Хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду.

“... а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно не прописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин”».

*

Из диалогов: Маяковский, Пушкин, Достоевский, Светлов.

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.

(«Разговор с товарищем Лениным»)

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоков.

В простом углу моём, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель —
Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

(«Мадонна»)

«Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду, и, как уже и сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович, возвращаясь от Смердякова, вступил в нее. Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, «qui frisait la cinquantaine», как говорят французы, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженной бороде клином».

(«Братья Карамазовы»)

На окне моем изморозь вяжет
Сноп непахнувших зимних цветов,
Мне сегодня о многом расскажут
Корпуса онемевших шрифтов.
Льют столбцы оживленные пренья,
Непонятные для меня...
С белой стенки наклонится Ленин
И тихонько начнет объяснять.

(«Утром»)

*

В 1924 году Корнеем Чуковским написан «Телефон»:

У меня зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— Слон.
— Откуда?
— От верблюда.
— Что вам надо?
— Шоколада.
— Для кого?
— Для сына моего. <...>
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
— Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше¹⁰.

¹⁰ Ср. с записями в дневнике Чуковского от 1931 г.: «Вчера начались морозы. 17 градусов. А у меня легкое летнее патишечко, фуражечка, рваные калоши и никаких перчаток. Побегал в Торгсин — куда там! Сегодня мороз с ветром — не меньше 20 градусов. Мы с Фектей зашили калошу, она немедленно порвалась в другом месте» (Чуковский К. Дневник 1922 — 1935. М.: ПРОЗАиК, 2011. С. 437).

Четырьмя годами ранее нуждающиеся писатели обращались к властям с такими просьбами:

*«В Москоммуну
Прошу выдать мне для моей жены одну пару дамских калош.
Федор Сологуб»*

*«Председателю Петрокоммуну
от Корнея Ивановича Чуковского
Заявление*

<...> Все мои способности отданы широкой просветительной деятельности среди масс, и я уверен — я имею право обратиться к Председателю Петрокоммуну с просьбой оказать мне товарищескую услугу — поддержать силы моих изголодавшихся, истощенных болезнью детей»¹¹.

*

Когда по экранам мира шла картина Ларса фон Триера «Меланхолия», многие зрители восхищались находкой режиссера и сценариста: «планета-сирота» приближается к Земле, вызывая у ее жителей приступы отчаяния и меланхолии.

Между тем задумка датского кинематографиста не оригинальна. За многие десятилетия до «Меланхолии» в одной из глав романа Леонида Леонова «Дорога на Океан» к Земле приближается Луна: «Огромный шар, видимый и днем, станет обращаться все стремительнее. И когда край страшного конопатого диска будет восходить над горизонтом, люди испытают то же самое, что и всякий, к кому убийца заглядывает в окно...»

Апокалиптические картины русского писателя не менее драматичны, но, в отличие от Триера, фантастическое видение Леонова пронизано жесточайшим сарказмом и своеобразной иронией над судьбой человечества: «...луна восходит уже среди бела дня, трижды в сутки, пять, восемь раз, в чудовищных фазах, совсем не светясь, ленивая, бугристая громада. Утверждают, что за день она прибывает втрое. Нужно вертеть головой, чтоб осмотреть ее всю. Происходит разговор циников: “Она вступила в атмосферу... вы чувствуете как бы ветерок на лице?” — “О, с нее даже сыплется что-то!...” — “Она как будто даже и воняет?”»

Спасшиеся во всемирной катастрофе два человека — сапожник-пьяница Гаврила и «немолодая женщина с распущенными волосами» дают начало новому человечеству, а их правнук, «смышлелый паренек, без подсказки изобрел колодезный насос...»

От этого гротеска всего один шаг к «основному тексту» этой мотивности — гоголевским «Запискам сумасшедшего»: «Завтра в 7 часов совершится странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Велингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромым бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может насевши размолоть

¹¹ Цит. по: Сажин В. Тысяча мелочей // Новое лит. обозрение. 1993, № 5. С. 159–160.

в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я надевши чулки и башмаки поспешил в залу государственного совета, с тем, чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Капуцины, которых я застал в зале государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал: „господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее“, то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание и многие полезли на стену с тем, чтобы достать луну...»

*

Майор Ковалев, обнаружив пропажу собственного носа, как известно, ходил по улицам города, прикрывая лицо платком. В период пандемии уже все человечество хаотично и испуганно передвигалось какими-то перебежками, закрыв свое лицо масками, скрывая потерю чего-то очень важного... А по окончании эпидемии, размышляя, что же это, в сущности, было, люди так и не пришли к определенному ответу. Совсем как у Гоголя: «Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного. <....> Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это...».

*

В свое время получило популярность телевизионное интервью со «Светланой из города Иваново», во время которого девушка бойко провозгласила фразу, ставшую поистине крылатой: «Мы стали более лучше одеваться».

«Лингвистические особенности» и «социальные ценности», провозглашенные в этом интервью, как ни удивительно, напоминают то, что сорока годами ранее описывалось в пропагандистской брошюре, посвященной подрывной роли международного научного обмена. Так, после многочисленных примеров шпионской деятельности иностранных студентов и аспирантов в СССР, слово было дано «правильному» английскому студенту Крису Муди, отметившему, в частности, следующие «позитивные изменения»: «Когда наша группа английских студентов приехала в Ленинград, мы не могли представить себе, что нас ждет. Впечатления от нашего пребывания здесь настолько богаты и так волнующи, что трудно найти слова, которые хоть в какой-то степени могли бы выразить их...»

Узнав, что я учился здесь более пяти лет назад, многие спрашивают меня, какие изменения я заметил в жизни города. Да, изменения чувствуются. Помоему, даже облик людей несколько изменился, и чувствуется, что их жизненный уровень стал выше. Люди стали лучше и красивее одеваться...»¹²

¹² Андреев В. Научный обмен и идеологическая диверсия. Л.: Лениздат, 1972. С. 69–70.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Михаил Ордынский-Давидов

«Священная болезнь» Достоевского*

Тайну личности Достоевского способен постичь только врач, но не художник, эстетик или социолог.

Зигмунд Фрейд

«Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то интересное рассказывал моей сестре, — вспоминала один из дней «медового месяца» после свадьбы вторая жена писателя, Анна Григорьевна Сниткина-Достоевская. — Вдруг он прервал на полуслове свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо. Но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее вопль, и Федор Михайлович начал склоняться вперед... Впоследствии мне десятки раз приходилось слышать этот «нечеловеческий» вопль, обычный у эпилептика в начале приступа. И этот вопль меня всегда потрясал и пугал... Я обхватила Федора Михайловича за плечи и силою посадила на диван. Но каков же был

мой ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана... Я дала возможность Федору Михайловичу опуститься на пол... и все время судорог держала его голову на своих коленях... Мало-помалу судороги прекратились, и Федор Михайлович стал приходить в себя; но сначала он не сознавал, где находится, и даже потерял свободу речи: он все хотел что-то сказать, но вместо одного слова произносил другое, и понять его было невозможно. Только через полчаса нам удалось поднять Федора Михайловича и уложить его на диван... Но, к моему чрезвычайному горю, припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силою, что Федор Михайлович более двух часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное!

...Какую ужасную ночь я провела тогда! Я впервые увидела, какую страшною болезнью страдает Федор Михайлович. Слыша его не прекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой, любимый муж сходит с ума, и какой ужас наводила на меня эта мысль!»¹

Невозможно без волнения читать эти строки воспоминаний юной Анны Сниткиной-Достоевской, которая в первую же неделю после свадьбы увидела и остро прочувствовала, каким жестоким, страшным и неизлечимым недугом страдает ее муж.

Научные и исторические сведения о «священной болезни»

Эпилепсия — хроническое заболевание головного мозга. Термин «эпилепсия» (epilepsy) греческого происхождения и означает «нечто внезапно нападающее на человека». Другое, неофициальное наименование данной патологии — падучая болезнь, или просто падучая. Так это заболевание

Михаил Давидов (1954, псевдоним — Ордынский-Давидов) — заведующий кафедрой факультетской хирургии и урологии Пермского медицинского университета, доцент, врач высшей категории с 47-летним стажем, автор более 700 медицинских печатных работ, участник 18 международных медицинских конгрессов в Париже, Лондоне, Гаване, Мадриде и др. городах. Историк литературы и медицины, автор документальных повестей, очерков и статей о жизни Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, Маяковского, Вампилова, опубликованных в журналах «Урал», «Москва», «Наука и жизнь» и др., а также — отдельными изданиями. Член Союза писателей России. Лауреат премии М.Ю. Лермонтова, кавалер ордена Ф.М. Достоевского.

* Журнальный вариант.

долгое время именовали в России. А в Европе нередко использовали такие термины: «болезнь святого Валентина», «болезнь святого Иоанна» (по имени святых, которые ею страдали), «священная болезнь». В США большое распространение в настоящее время получил синоним термина «эпилепсия» — «Seizure Disorders» («судорожное расстройство»).

Эпилепсия протекает преимущественно в виде судорожных припадков (конвульсий) с потерей сознания и нередко характеризуется изменениями личности. Многие современные эпилептологи считают изменения личности типичным, но не обязательным признаком заболевания.

По определению экспертов ВОЗ, эпилепсия — хроническое заболевание головного мозга различной этиологии (причины), характеризующееся повторными припадками в результате чрезмерных нейронных разрядов в головном мозге (эпилептические припадки) и сопровождающееся разнообразными клиническими и параклиническими симптомами, т.е. признаками заболевания².

Эпилепсия была известна уже на самых ранних этапах развития человечества. Эта душевная болезнь казалась таинственной, глубоко волновала и поражала людей своей необычностью и глубиной страдания. Не умея научно объяснить причины этого заболевания, люди верили в сверхъестественное его происхождение.

Так появился термин «священная болезнь» (*morbus sacer*), который в разговорной речи и художественной литературе используется до сих пор. Считалось, что «священная болезнь» носит на себе печать божественного происхождения. Юродивых и блаженных, страдавших «священной болезнью», высоко чтили, уважали. В средние века и позднее утверждалось, что страдавшие конвульсиями (судорожными припадками) имеют дар ясновидения, пророчества. Возвещалось, что «священная болезнь» вселяется в тела великих людей, таких как Магомет, Юлий Цезарь, Наполеон, Ришелье.

Однако в некоторых странах и у отдельных народов в определенные периоды истории жизнь эпилептиков была невыносимой. Больных с судорожными припадками считали «пор-

ченными», а эпилептиков, у которых в результате развития заболевания возникали изменения личности, относили к бесноватым. Их лишали свободы, в средние века нередко сжигали на костре, утверждая, что эти люди околдованы или одержимы дьяволом. Да и сегодня жизнь эпилептиков тяжела. Эпилепсией несколько чаще страдают великие люди, в том числе выдающиеся писатели. В истории литературы я нашел 19 писателей высокого уровня, страдавших эпилепсией³.

Эдгар По страдал классическими эпилептическими припадками. В «Мнимом покойнике» так описывает начало своего припадка: «Началась тошнота, меня охватило онемение в руках и ногах и во всех частях туловища, меня охватила дрожь, затем началось головокружение, и вдруг я падаю как сноп». «После состояния полной бессознательности следовало слабое возвращение сознания, он чувствует состояние неподвижности, чувство острой боли, которая переносится апатично... Он приходит в себя; подергивание век; он продолжает несколько минут находиться в состоянии спутанности и непонимания, что происходит с ним, пока мысли и воспоминания полностью не возвращаются к нему»⁴.

Типичными приступами эпилепсии страдал Густав Флобер. Судорожные припадки у него начались с детства, первый приступ случился в 1843 году. Помимо частых судорожных припадков писатель имел всевозможные фобии (страхи) — темноты, смерти и другие; галлюцинации (обманы органов чувств), тяжелый агрессивный (эпилептоидный) характер с многочисленными ссорами с окружающими его людьми.

Эпилепсией страдали и многие другие великие писатели и поэты — Байрон, Данте, Диккенс, Блок...

Очень важно то обстоятельство, что все эти перечисленные писатели, имевшие эпилепсию, до последних лет жизни сохраняли высочайшие творческие способности и интеллект, что в корне опровергает мнение И. Киперваса⁵ и некоторых других авторов, утверждающих, что эпилепсия обязательно ведет к слабоумию, а произведения Ф.М. Достоевского — во многом плод его патологической, т.е. больной психики.

Распространенность эпилепсии и во времена жизни Ф.М. Достоевского (в XIX веке), и в настоящее время (в XXI веке) довольно высока. Частота эпилепсии в различных странах приблизительно одинакова и составляет 0,5–0,75% от всего населения^{6,7}.

Что могло стать причиной возникновения эпилепсии у Ф.М. Достоевского?

По причинам возникновения заболевания уже во времена жизни писателя научная медицина делила это заболевание на две формы: наследственную (генуинную, или идиопатическую) и симптоматическую⁸.

Выдающийся русский невролог С.Н. Давиденков еще в 1947 году разработал унитарную концепцию эпилепсии, согласно которой вся эпилепсия является единым заболеванием, а ее происхождение объясняется взаимодействием наследственных (генетических) и внешних, средовых факторов⁹. Основными положениями его концепции являются: 1) наследуется в большинстве случаев не заболевание, а повышенная судорожная готовность головного мозга; 2) в большинстве случаев для того, чтобы унаследованная повышенная судорожная готовность перешла в заболевание эпилепсией, нужно какое-то внешнее вредоносное действие (например, черепно-мозговая травма, воспалительное заболевание головного мозга, психический стресс, патология мозговых сосудов, интоксикация, отравление ядами, в том числе алкоголем, и др.); 3) в очень небольшом числе случаев внешний толчок не является обязательным; тогда эпилепсия возникает только благодаря наследственному фактору.

Сам эпилептический приступ (пароксизм) возникает у людей с повышенной судорожной готовностью в результате чрезмерных нейронных разрядов нервных клеток (нейронов) в так называемом эпилептическом очаге мозга. Эпилептические нейроны обладают повышенной возбудимостью и вовлекаются в процесс синхронно, что ведет к суммированию биоэлектрических разрядов — гиперсинхронному разряду, имеющему характерные особенности на ЭЭГ в виде спайка (пика), острой волны, часто с последующей медленной волной. Припадок эпилепсии развивается при распространении разряда из

очага на часть головного мозга (фокальный припадок) либо на весь мозг (генерализованный припадок).

В последние годы ученые достигли больших успехов в изучении обменных нарушений в головном мозге при эпилепсии. Так, к повышенной судорожной готовности и провоцированию припадков приводят накопление ацетилхолина в мозге, увеличение концентрации иона натрия в нервных клетках, накопление в них аммиака. К припадку может привести дисбаланс между системой возбуждающих (глутамат) и тормозных (гамма-аминомасляная) аминокислот¹⁰.

Разговор о наследственном характере эпилепсии Достоевского

Более 45 лет по архивным данным я кропотливо изучал эпилепсию Ф.М. Достоевского. В итоге возникло данное исследование, объем которого составляет 500 страниц машинописного текста и 820 источников литературы. Безусловно, такой объем совершенно невозможен для литературного журнала, и я сократил первоначальный текст в пять раз, а в списке литературы привел лишь самые необходимые источники. И все же я надеюсь издать свою работу в полном объеме книгой.

Кроме того, в данный текст намеренно не включены вопросы влияния болезни на творчество и характер великого писателя.

Утверждалось, что у отца Федора Михайловича — Михаила Андреевича Достоевского, врача по профессии, в дальнейшем купившего небольшое имение и превратившегося в рядового мелкопоместного помещика, — документально не отмечены приступы судорог (и это абсолютно верно), но налицо были черты так называемой эпилептоидности, в частности, «неудержимая вспыльчивость, доходящая до бешенства» и «мелочные придирки». А еще, мол, он «страдал алкоголизмом», который действительно увеличивает риск возникновения эпилепсии у потомства⁷. И якобы крепостные крестьяне, выведенные из себя поведением Михаила Андреевича, в 1839 году убили его.

Утверждалось, что брат писателя, Андрей Михайлович Достоевский,

также был эпилептоидом. Известно, что один из родственников Андрея Михайловича (внучатый племянник писателя) умер в детстве от эпилептических судорог. Сам Федор Михайлович передал predisposition к болезни сыновьям Федору и Алексею, а дочь Любовь была здорова. У Федора Федоровича была лишь эпилептоидность, а Алеша умер в трехлетнем возрасте непосредственно во время судорог эпилепсии, находясь в состоянии так называемого эпилептического статуса — тяжелейшего осложнения течения эпилепсии, когда судорожные приступы следуют один за другим, и больной умирает от дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Горячим сторонником наследственного характера эпилепсии Ф.М. Достоевского являлся известный профессор В.П. Эфроимсон, взгляды которого в настоящее время подвергаются жесткой критике сторонники противоположной концепции, доказывающие, что эпилепсия Ф.М. Достоевского не имела генуинного (наследственного) характера, а была симптоматической^{11,12}.

В.П. Эфроимсон придерживался мнения о наличии у писателя генуинной эпилепсии вследствие наследственной передачи от отца. Однако у отца писателя, Михаила Андреевича Достоевского, не было ни судорожных приступов, ни других манифестных общепризнанных форм эпилепсии. В.П. Эфроимсон обосновывает свою концепцию передачи наследственных генов эпилепсии от отца к Федору Достоевскому лишь на основании наличия у Михаила Андреевича эпилептоидности. Он приписывает Михаилу Андреевичу такие черты эпилептоидного характера, как въедливая мелочность, скупость, дотошная аккуратность, предельная педантичность, жестокость в семье и по отношению к крестьянам, вспыльчивость¹³.

Известно, что злоупотребление алкоголем родителей является фактором риска возникновения эпилепсии у потомства. Поэтому В.П. Эфроимсон, доказывая наследственный характер эпилепсии у Достоевского, с особенным усердием нападает на алкоголизм Михаила Андреевича.

Однако из мемуарной литературы совершенно не вытекает наличие ал-

коголизма у отца писателя. Нет ни одного факта, доказывающего, что Михаил Андреевич употреблял алкоголь, тем более в больших количествах, до рождения будущего писателя и в течение многих лет семейной жизни до самой смерти жены. Последняя совершенно не употребляла алкоголь.

Рухнула версия о том, что собственные крестьяне убили М.А. Достоевского из-за его жестокости. Как я убедился лично, работая в архивах и выезжая в Даровое (имение отца писателя), М.А. Достоевский умер от болезни — мозгового инсульта¹⁴.

В.И. Кобылянский¹² очень веско опровергает утверждение В.П. Эфроимсона о наличии у отца Ф.М. Достоевского эпилептоидных черт характера.

Он приводит цитаты из книги М.В. Волоцкого, которые очень убедительны: «Главным его (Михаила Андреевича. — *Авт.*) отрицательным свойством была неудержимая вспыльчивость, но о жестокости и скупости не может быть речи». Брат писателя, А.М. Достоевский, вспоминал: «Нет... отец наш не был угрюмым и подозрительным. Напротив, он в семействе всегда был радужным, а подчас и веселым... В семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно. Нас не только не наказывали телесно, — никогда и никого, — но даже я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили в угол или на колени»¹⁵.

Таким образом, В.И. Кобылянский, основываясь на «Хронике рода Достоевского» и другой мемуарной литературе, развенчивает миф об эпилептоидных чертах характера Михаила Андреевича Достоевского.

Убедительно разбив тезис об эпилептоидности отца писателя, доктор медицинских наук В.И. Кобылянский тем не менее не опроверг возможное наличие наследственных факторов заболевания у Ф.М. Достоевского.

Надо заметить, что значение наследственного фактора в этиологии эпилепсии, по современным данным науки, значительно возросло.

Последние два десятилетия можно рассматривать как эпоху открытия все новых и новых генов эпилепсии, которых насчитывается уже более 50! Открытые учеными гены эпилепсии связаны с различными компонентами

нервных клеток мозга и их связей. Это, например, так называемые потенциал-зависимые каналы, лиганд-ассоциированные ионные каналы, субъединицы рецепторов, синаптические белки¹⁷.

По новейшим данным, полученным в результате применения в повседневной клинической практике современных высокоинформативных генетических методов, установлено, что у 70–80% больных эпилепсией имеет наследственный (генуинный) характер и обусловлена каким-то одним или сразу несколькими генетическими нарушениями^{16,17}. Более того, даже у больных с симптоматической эпилепсией, обусловленной, скажем, опухолью, травмой или воспалительным заболеванием головного мозга, при применении современных генетических методов нередко находят врожденные генетические поломки, которые повышают судорожную готовность мозга и являются пусковым фактором эпилептических судорог. Учтите, что сами по себе опухоли, травмы и воспалительные заболевания мозга не вызывают судорог; у 85–96% этих больных эпилепсия никогда не возникает. Таким образом, наследственный (генетический) фактор играет определяющую роль в развитии даже симптоматической эпилепсии!

В начале XXI века мы имеем дело с ренессансом генуинного (наследственного) фактора в этиологии эпилепсии. По данным современных высокоточных генетических методов, у 70–80% больных эпилепсией является генуинной (наследственной), а у подавляющего большинства оставшихся 20–30% больных с симптоматической эпилепсией в развитии заболевания также принимают участие наследственные генетические факторы, повышающие судорожную готовность мозга и приводящие к эпилептическим припадкам или их эквивалентам.

Таким образом, современная наука по сути доказала абсолютную правильность унитарной концепции С.Н. Давиденкова, которой придерживаются в настоящее время многие неврологи и психиатры¹⁸. Унитарная концепция утверждает, что эпилепсия — единое заболевание, в возникновении которого обязательно участвует наследственный (генетический) фактор, при-

водящий к повышенной судорожной готовности структуры головного мозга, а к наследственному фактору могут присоединиться внешние, экзогенные факторы среды.

В таком ключе с современных позиций и нужно рассматривать этиологию эпилепсии Ф.М. Достоевского. Безусловно, он имел один или несколько генетических факторов эпилепсии, которые обусловили повышенную судорожную готовность головного мозга. А реализовались эти генетические наследственные факторы под воздействием экзогенных, внешних влияний окружающей среды. Это могла быть патология во время беременности и родов у матери, хотя документальных свидетельств этого и нет. Экзогенными факторами могли быть общие детские инфекционные заболевания, вызвавшие изменения сосудов головного мозга, пусть даже и легкие, не оставившие заметных последствий. Впрочем, повышенная температура тела и интоксикация токсинами микробов, что наблюдается при банальном остром респираторном заболевании, может стать провоцирующим фактором развития эпилепсии. В провоцировании эпилептических судорог Достоевского большую роль имели, несомненно, психогенные факторы — нервные переживания, стрессы. Последнее — неоспоримый факт, который признают очень многие достоевсковеды, и этот вопрос будет рассмотрен мною более подробно позже.

Кстати, симптоматическая эпилепсия, вопреки мнению В.И. Кобылянского¹², как правило, оказывает более серьезные изменения деятельности мозга и чаще вызывает нарушения интеллекта^{3,7,18}, а так называемая аффект-эпилепсия с 1975 года не признается Международной противоэпилептической лигой, психоневрологами всего мира и исключена из всех отечественных и зарубежных классификаций эпилепсии¹⁹. Современная медицинская наука установила, что такого заболевания человека вообще не существует. Поэтому гипотезы тех историков литературы, которые утверждали, что Достоевский якобы имел не обыкновенную эпилепсию, а некую мифическую «аффект-эпилепсию», рухнули словно карточный домик.

Начало болезни

Удивительно, но данные о начале заболевания у Федора Достоевского крайне противоречивы.

А.С. Суворин сразу после его смерти возвестил, что Федор Михайлович страдал эпилепсией с детского возраста. В заметке «О покойном», опубликованной в газете «Новое время», которую он издавал, Алексей Сергеевич писал: «Падучая болезнь, которой он страдал с детских лет, много прибавила к его тернистому пути в жизни. Нечто страшное, незабываемое, мучающее случилось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь».

Однако эта заметка крайне удивила Андрея Достоевского, брата писателя, который был моложе Федора Михайловича на четыре года. В детские годы приступов эпилепсии у брата Андрей ни разу не наблюдал, и поэтому он опубликовал опровержение под заголовком «Письмо к издателю» в газете «Порядок» (1881, № 39), утверждая, что «падучую болезнь брат Федор приобрел не в отцовском доме, не в детстве, а в Сибири».

Дочь писателя Любовь Федорова утверждала, что отец заболел эпилепсией в неполные 18 лет в Санкт-Петербурге, получив известие о гибели отца от рук собственных крестьян в 1839 году. В последующем многие литературоведы, в том числе редакторы двухтомного издания «Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников» В.Э. Вацура, Г.Г. Елизаветина и К.И. Тюнькин, считали, что упомянутое А.С. Сувориным «нечто страшное, незабываемое и мучающее» было не чем иным, как полученным Достоевским известием о гибели отца. В комментариях к воспоминаниям А.С. Суворина К.И. Тюнькин так объяснил эти загадочные слова известного издателя: «Вероятно, Суворин подразумевал версию об убийстве отца Достоевского крепостными крестьянами»²⁰. Но тогда упоминание детского возраста как начала болезни здесь неуместно, ведь 17 лет — это пора юности.

Доктор медицины П.П. Евдокимов²¹, изучавший историю «священной болезни» Ф.М. Достоевского, затрудняется с определением ее начала.

Сорокапятилетнее изучение биографии Ф.М. Достоевского позволило

мне сделать вывод: эпилепсия возникла у него в августе 1831 года, в девятилетнем возрасте.

Надо понимать, что эпилепсия — это не только судорожные припадки. Эпилепсия имеет много форм и проявлений заболевания, в том числе бессудорожные эквиваленты припадков.

В течении эпилепсии выделяют начальный, продромальный (как правило, бессудорожный) период заболевания и манифестный период⁶, когда заболевание разворачивается со всей своей силой, появляются припадки судорог, которые могут повторяться, становятся стереотипными.

Вообще считается, что у 2/3 больных эпилепсия дебютирует с бессудорожных проявлений¹⁸. Чаще всего это головная боль, различные страхи (фобии) и расстройства сна (кошмарные сновидения, сногворение, вздрагивание во время сна, снохождение, именуемое в народе лунатизмом). Имея опыт лечения многих тысяч эпилептиков, А.И. Болдырев²² отметил, что у 72,3% пациентов эпилепсия начиналась именно с бессудорожных проявлений. Его больным «мешали заснуть фобии — боязнь воров, смерти, или беспокоил какой-то безотчетный страх», наблюдались «ночные страхи, устрашающие сновидения, сногворение, смех, плач и крик во сне, вздрагивания при засыпании и во сне». Лишь через несколько месяцев или лет у пациентов возникали типичные судорожные приступы.

Начало заболевания у Федора Достоевского было бессудорожным и принципиально не отличалось от проявлений у больных детей с начальной фазой эпилепсии, которых наблюдал известный российский психиатр А.И. Болдырев.

В рассказе «Мужик Марей», вышедшем из-под пера писателя в 1876 году, Ф.М. Достоевский описывает один из эпизодов фобии со слуховыми галлюцинациями, что произошла с ним в деревне в девятилетнем возрасте. Шел август 1831 года. Мальчик гулял по лесу вблизи сельца Даровое — небольшого имения родителей. «Вдруг, среди глубокой тишины, — пишет Достоевский, — я ясно и отчетливо услышал крик: „Волк бежит!“ Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего

мужика»²³. Этот мужик, Марей, приласкал и успокоил мальчика.

«Я понял, наконец, что волка нет и что мне крик: „Волк бежит!“ — померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли)»²³.

Таким образом, Ф.М. Достоевский признается, что в детстве был подвержен фобиям (волка и другим страхам) и слуховым галлюцинациям, которые были не единичными и исчезли в изложенном виде только после его взросления. Впрочем, в дальнейшем, особенно в 1840-е годы, фобии и галлюцинации вновь обострились и даже усилились, имея, правда, иной характер, чем в детстве.

Те голоса, которые в детстве слышал Федя Достоевский, являются достоверным эпилептическим признаком.

В терминологический словарь эпилепсии, утвержденный ВОЗ, внесен такой симптом эпилепсии, как слуховой галлюцинаторный эпилептический припадок²⁴. Это сложные слуховые проявления или восприятия, возникающие без определенного внешнего раздражителя. Больной слышит голоса, разговор, музыку или песню. Этот бессудорожный припадок является результатом разрядов нейронов (нервных клеток), возникающих в верхней височной области головного мозга. Профессор А.И. Болдырев наблюдал несколько больных именно с таким дебютом эпилепсии. У академика В.А. Карлова¹⁸ на 167 проанализированных больных у 7 (4,2%) заболевание началось со слуховых галлюцинаций, а у 6 (3,6%) — с безотчетного страха; суммарно это 7,8% больных, у которых эпилепсия имела такие же первые признаки, что и у Достоевского.

Фобии — характерные первые симптомы эпилепсии. Так считали издревле.

В литературе античного периода упоминали о страхах как предвестниках и ранних симптомах падучей. Гиппократ еще в V веке до н.э. в своей книге «О священной болезни» прямо пишет о том, что эпилепсия может проявляться в форме ночных страхов. В IV веке н.э. известный врач Посей-

дониус (Poseidonius) называл дневные и ночные страхи «прелюдией и прологом эпилептического безумия».

Возраст начала заболевания Достоевского типичен для генуинной (наследственной) эпилепсии. Произведя анализ 2034 своих больных, А.И. Болдырев²² установил, что дебют генуинной эпилепсии чаще всего приходится именно на возраст от 6 до 15 лет. При возрасте старше 15 лет число впервые заболевших генуинной эпилепсией резко уменьшается. В то же время при симптоматической эпилепсии преобладают пациенты с более поздним (старше 20 лет) дебютом заболевания, у достаточно большого числа больных заболевание начинается в зрелом и пожилом возрасте.

У мальчика Федя Достоевского характер был очень беспокойный. Его брат Андрей вспоминал: «Брат Федор был во всех проявлениях своих настоящий огонь... Я уже говорил неоднократно, что брат Федор был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения и вообще был довольно резок на слова. При таких проявлениях со стороны брата папенька нередко говаривал: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!»²⁵ Старший брат писателя, Михаил, в отличие от Федора, был спокойным мальчиком. Позднее он рассказывал литератору А.П. Милюкову, что Федор «в детстве был мальчик крайне впечатлительный и нервный», а впоследствии, в юности, «припадки еще больше развили в нем чувствительность и раздражительность».

При генуинной эпилепсии ребенок рождается с предрасположенностью к развитию заболевания. Как судорожные, так и бессудорожные формы эпилепсии провоцируются различными факторами внешней среды, в том числе психическими травмами, потрясениями, стрессовыми ситуациями.

Детство Федора было омрачено тремя психическими травмами: изнасилование 10-летней девочки в 1831 году, пожар в усадьбе Даровое весной 1832 года и смерть матери в 1837 году.

Все эти психотравмирующие ситуации, являясь экзогенными, т.е. обусловленными факторами внешней среды, несомненно, способствовали прогрессированию его заболевания — генуинной эпилепсии. Фобии

(зверей, темноты и др.), слуховые галлюцинации, ночные страхи и другие нарушения сна проявлялись у него с девятилетнего возраста и составляли психические эквиваленты — бессудорожные проявления эпилепсии.

Этот жуткий Михайловский замок

В 1837 году Федор Достоевский оказался в Санкт-Петербурге и вскоре стал кондуктором (воспитанником) Главного военно-инженерного училища, которое располагалось в Инженерном (Михайловском) замке, в том самом, где в свое время был убит император Павел I.

Начался новый, петербургский этап жизни будущего писателя.

Под влиянием болезни произошло резительное изменение характера юноши.

Из беспокойного, жизнерадостного подростка, который в Москве, на Божedomке, был горяч и кипуч, пылая словно огонь, произошло превращение в замкнутого, тихого юношу, сторонящегося всех. Всегда сосредоточенный, задумчивый молодой человек в свободное время, как правило, сидел в угловой спальне своей роты на втором этаже, в глубокой амбразуре окна, смотрел на Фонтанку, не видя и не слыша, что происходит вокруг него.

Другие кондукторы удивлялись странному, ненатуральному, загадочному поведению юноши, называли его чудачком, затворником. Он был очень религиозен, за что получил в училище прозвище «отец Фотий», не участвовал в общих развлечениях воспитанников, а на военных занятиях выглядел смешным и нелепым.

Наряду с общими странностями в поведении, которые отличали Федора от других кондукторов, уже с первого года учебы в военно-инженерном училище у него появились своеобразные эмоциональные нарушения, которые очень характерны для эпилепсии и в медицинской науке именуются термином «дисфория» (расстройство настроения). Без видимой причины или по незначительному поводу Федор становился еще более замкнутым, угрюмым, раздражительным и обидчивым. Это состояние продолжалось несколько дней.

В 1838 году Федор перенес тяжелую психическую травму. Несмотря на неплохо сданные экзамены по большинству предметов, в результате происков одного преподавателя, с которым он был в конфликте, Достоевского оставили на второй год.

Эта неудача и допущенная к нему несправедливость буквально потрясли юношу. По воспоминаниям друга, Д.В. Григоровича, он «сделался совершенно больным» и пролежал некоторое время в лазарете.

Наконец, еще одна психическая травма — страшная и чудовищная — была получена Федором в июне 1839 года, когда к нему пришло известие о «позорной» (как он вначале считал) смерти своего отца, Михаила Андреевича, который был якобы задушен своими крепостными крестьянами.

«Милый брат! — пишет он Михаилу. — Я пролил много слез о кончине отца, но теперь состояние наше еще ужаснее; не про себя говорю я, но про семейство наше». Есть свидетельства, что именно этой смертью и связанным с нею потрясением обязан Достоевский первым своим судорожным припадком «священной болезни».

Как произошел этот первый судорожный припадок Федора Достоевского?

Об этом мы никогда уже не узнаем. Свидетели приступа не оставили нам, потомкам, воспоминаний о нем. Хотя дочь писателя, Любовь Федоровна, слышала разговоры в семье между отцом и матерью, Анной Григорьевной, что первый припадок «священной болезни» случился с отцом именно при получении письменного известия о смерти Михаила Андреевича.

Но, зная из медицинской практики картину эпилептических судорожных приступов, можно легко представить, как это было.

Наверное, прочел письмо Федор, лицо его приняло мертвенно-бледный характер, легкие подергивания пошли по мышцам лица, глаза вдруг широко раскрылись, и страшный нечеловеческий вопль услышали стены мрачного Михайловского замка. Затем 17-летний юноша в форме кондуктора Главного военно-инженерного училища потерял сознание и со стуком опрокинулся навзничь на холодный каменный пол замка. Тело его билось

в жестоких судорогах, вздулись вены на шее, лицо посинело, изо рта выступила красноватая пена.

...Так в июне 1839 года, в 17-летнем возрасте, Федор Достоевский вступил в свою вторую фазу болезни, которая именуется манифестной.

В манифестную фазу «священной болезни» у большинства больных наблюдаются повторяющиеся стереотипные эпилептические приступы в виде большого судорожного припадка или малых припадков, нередко бессудорожные эквиваленты припадков и дисфории.

Возникновение первого судорожного припадка при гениальной (наследственной) эпилепсии может быть спровоцировано психической травмой, приемом алкоголя, сопутствующим заболеванием, метеорологическими условиями, а в дальнейшем припадки часто следуют уже независимо от этих провоцирующих факторов, под влиянием только внутренних (эндогенных) причин.

Профессор А.И. Болдырев пишет: «У большинства наших больных эпилепсией первые генерализованные судорожные припадки развивались в связи с шокowymi психогенными влияниями: потеря близкого человека...»²⁶ Далее перечисляются психотравмы другого характера, но именно «потерю близкого человека» знаменитый психиатр поставил на первое место. Таким образом, первый судорожный припадок, поразивший Достоевского, по провоцирующему фактору является типичным для гениальной эпилепсии.

Очевидно, описанный судорожный припадок при обучении Достоевского в военно-инженерном училище не был единичным. Не исключается, что после 1839 года в училище у него были другие припадки судорог. Это вытекает из воспоминаний Д.В. Григоровича, которые в дальнейшем будут рассмотрены подробнее. Однако хотел бы обратить внимание на следующие слова этих воспоминаний: «Усиленная работа и упорное сиденье дома... усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище»²⁷.

В 1843 году Ф.М. Достоевский закончил обучение в Главном военно-инженерном училище и начал службу в качестве военного инженера. Однако

он быстро убедился, что это — не его призвание, и в августе 1844 года вышел в отставку, посвятив свою жизнь литературному творчеству.

О версиях первого судорожного приступа у Достоевского

И вновь я возвращаюсь к полемике по вопросу о времени и обстоятельствах возникновения «священной болезни» у Достоевского, сейчас уже в плане появления первого большого судорожного приступа, так называемого «grand mal», который в умах непрофессионалов и врачей общего профиля, собственно, и ассоциируется с эпилепсией.

Итак, эпилепсия у Достоевского возникла в девятилетнем возрасте с бессудорожных эквивалентов, фобий и галлюцинаций.

Первый судорожный припадок как знак наступления манифестной стадии заболевания развился у 17-летнего Федора Достоевского в 1839 году после получения известия о смерти отца.

Документальное подтверждение этого неопровержимого факта — воспоминания дочери писателя, Любовь Федоровны Достоевской: «Семейное предание гласит, что при известии о смерти отца у Достоевского случился первый припадок эпилепсии... Доктор Яновский, очень любивший моего отца и часто приглашавшийся для консультации по поводу его здоровья, рассказывает, что задолго до каторги Достоевский страдал нервной болезнью, очень похожей на эпилепсию. Как я выше упоминала, семья моего отца утверждала, что первый припадок случился у него, когда он узнал о трагической смерти моего деда Михаила. Очевидно, что Достоевский страдал эпилепсией с 18-летнего возраста. Однако только после каторги она перешла в тяжелую форму»²⁸.

Любовь Федоровна десятки раз в детстве наблюдала судорожные приступы и бессудорожные эквиваленты его заболевания, слушала разговоры отца, матери (Анны Григорьевны), других родственников, докторов о заболевании отца, в том числе до его начала.

Единственное, что она приводит неточно, — возраст отца при первом су-

дорожном приступе. Первый судорожный припадок у него развился в 17 лет, ибо только 30 октября²⁹ 1839 года, т.е. через несколько месяцев после известия о смерти отца, ему исполнилось 18 лет.

Типографский наборщик М.А. Александров, тесно общавшийся с писателем в 1872–1881 годах и нередко посещавший его на дому, утверждал, что Ф.М. Достоевский начал страдать эпилептическими приступами в Санкт-Петербурге, задолго до ссылки в Сибирь.

Д.В. Григорович и С.Д. Яновский лично наблюдали судорожные приступы эпилепсии у Ф.М. Достоевского (и даже оказывали ему помощь при них!) в Санкт-Петербурге соответственно в 1844 и 1847 годах и считали Санкт-петербургский период жизни писателя началом его «священной болезни».

Однако большинство современников Достоевского и литераторов настоящего времени настаивают на том, что эпилептические судороги впервые возникли у писателя на каторге в Сибири.

«Священная болезнь» у Федора Михайловича развилась на каторге», — считал младший брат писателя, Андрей Михайлович, и всем горячо доказывал это. Его поддержал доктор А.Е. Ризенкамф, лечивший Достоевского в Санкт-Петербурге до С.Д. Яновского, т.е. до 1845 года. Он утверждал, что признаков падучей болезни в Санкт-Петербурге у своего пациента не наблюдал и полагал, что болезнь началась в Сибири, в Омском остроге, после экзекуции, учиненной каторжанину Достоевскому в 1851 году.

Частично вина за противоречивость сведений о начале и обстоятельствах своей «священной болезни» лежит... на самом Ф.М. Достоевском. В разное время и разным собеседникам он совершенно по-разному рассказывал о своем первом приступе судорог.

В семье, жене Анне Григорьевне и дочери, он правдиво сообщал, что первый приступ судорог у него случился в 1839 году, после получения известия о гибели отца.

Но в другой обстановке и другим людям сам Федор Михайлович, например, рассказывал, что впервые почувствовал болезнь в момент имитации

казни на Семеновском плацу 22 декабря 1849 года.

Всеволоду Сергеевичу Соловьеву Достоевский объяснял, что «нервы у него были расстроены с юности», при жительстве в Санкт-Петербурге у него открылась «странная нервная болезнь», но приступов судорог вроде бы не было. «Но во время каторги со мной случился первый припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает», — доверительно сообщил писатель.

Совсем другую версию Ф.М. Достоевский излагал сестрам Корвин-Круковским. Софья Васильевна Ковалевская (урожденная Корвин-Круковская) вспоминала: «Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок... Болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ. Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости... Говорили они о литературе, искусстве и философии, коснулись наконец религии.

Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные каждый в своем.

— Есть Бог, есть! — закричал наконец Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

— И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — закричал я, и больше ничего не помню»³⁰.

И у Достоевского «впервые в жизни» возник сильнейший приступ эпилептических судорог.

Итак, мы имеем дело с разными версиями первого судорожного приступа, который развился у писателя.

Зачем это надо было Ф.М. Достоевскому? Зачем разным людям в разной обстановке он указывал различные сроки и обстоятельства своего первого приступа конвульсий?

Оказывается, это типично для некоторых больных эпилепсией^{3,7}. Многие эпилептики имеют нарушенную память и могут забыть о самом первом приступе, считать первым совершенно другой припадок, который по счету может быть и 10-м, и 101-м, но который запомнился по яркой предприпадочной ауре и возник в запоминающихся обстоятельствах окружающей обстановки.

Меня поразило рассуждение на сей счет Софьи Ковалевской, которая, приводя рассказ Ф.М. Достоевского о первом припадке, уже цитированный мною, поясняет: «Впоследствии я слышала другую, совсем различную версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга, которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типичную черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет»³⁰.

Научно-медицинские сведения об основных клинических проявлениях эпилепсии

Сейчас нам с вами, дорогие читатели, необходимо ознакомиться с различными формами и вариантами клинических проявлений эпилепсии.

Эпилептические припадки делятся на генерализованные (или общие) судорожные и очаговые (или фокальные) судорожные^{10,18}.

Генерализованные судорожные припадки в свою очередь подразделяют на большие и малые.

Большие судорожные припадки еще именуют французским термином *grand mal* («большая болезнь»). Это наиболее частые, яркие и типичные проявления «священной болезни», которые всем обывателям сразу бросаются в

глаза. Большой судорожный припадок возникает внезапно, сопровождается полной потерей сознания, конвульсиями (судорогами), выделением пены изо рта, иногда окрашенной кровью вследствие прикуса языка. Припадок продолжается одну-три минуты. Для *grand mal* характерны конвульсии — сильные судороги всего тела.

Малый эпилептический припадок, или *petit mal* (фр. — «малая болезнь»), — кратковременное (на несколько секунд) выключение сознания. Типичным примером малого припадка является абсанс³¹, при котором выключение сознания выражается в том, что пациент прекращает совершаемое действие (например, замолкает в разговоре), взор его становится «плавающим», неосмысленным, лицо бледнеет. Судорог нет, больной не меняет позы. Через несколько секунд пациент приходит в себя и продолжает прерванное действие. О том, что с ним произошел припадок, — он не знает, и то, что происходило в этот короткий период, — не помнит (амнезия).

Существуют другие варианты малого припадка (сложные абсансы), которые помимо кратковременного выключения сознания содержат движения больного. Миоклонические абсансы проявляются своеобразными вздрагиваниями, подергиваниями, движениями отдельных групп мышц, чаще всего мышц лица, области головы, шеи и плечевого пояса (тики на лице, поворот шеи, подергивания плечами, резкий наклон головы и др.) при кратковременном выключении сознания. Название происходит от греческих слов *mios* (мышца) и *klonos* (движение). Миоклония — ритмические подергивания отдельной мышцы или группы мышц, возникающие спонтанно. Именно такой малый припадок (*petit mal*) с миоклониями (судорожными подергиваниями отдельных мышц), очевидно, был у Достоевского на Семеновском плацу 22 декабря 1849 года в момент имитации казни.

Еще один вариант малого припадка называется «приступ потери сознания с нарушением статики» (т.е. с падением, обмороком). Так его именует известный специалист А.И. Болдырев. Знаменитый отечественный эпилептолог В.А. Карлов также неоднократно наблюдал эту своеобразную форму

эпилепсии. Он называет ее «атонический абсанс» (атония [греч. *atonia* — расслабление, вялость] — ослабление тонуса мышц и сосудов). При атоническом абсансе происходит нарушение тонуса мышц, обеспечивающего вертикальное положение тела, в итоге у больного внезапно свешиваются голова, руки, «сползает» туловище, и человек падает. Одновременно происходит снижение тонуса сосудов с падением артериального давления и бессознательное состояние.

Возникший у Достоевского в 1840-х годах атонический абсанс («приступ потери сознания с нарушением статики») привел к неожиданным результатам — к больному не только не проявили сочувствия и сострадания, но и надолго подвергли всеобщему осмеянию в так называемом «высшем свете». Атонический абсанс случался у писателя и в дальнейшем, например, в Семипалатинске в 1856 году, Бад-Эмсе в 1876 году.

Очень редко малый припадок может проявляться в виде приступа смеха или плача. В стертом, неярко выраженном виде патологическое, неукротимое побуждение к смеху зафиксировано у Достоевского в последние годы жизни, например, при посещении больного Н.А. Некрасова.

Большие судорожные припадки, наблюдавшиеся у Достоевского, относятся к генерализованным формам эпилепсии, при которых судорожное возбуждение одновременно охватывает практически весь головной мозг (что в современный период у больных подтверждается таким методом, как электроэнцефалография).

Но существуют еще так называемые парциальные (фокальные) судорожные припадки, когда возбуждаются нейроны ограниченной части одного из полушарий головного мозга.

Локальное возбуждение при эпилепсии может зарождаться в любом участке головного мозга, приводя к разным формам фокальной эпилепсии.

Если локально возбуждаются нейроны в коре верхней височной извилины — у больного возникают обманные слуховые ощущения. Например, Достоевский в первую, продромальную стадию заболевания отмечал слуховые галлюцинации (человеческий голос,

предупреждающий о приближении к мальчику волка).

Вообще эпилептические галлюцинации (обманы органов чувств, когда больному видится человек или какой-либо другой объект или слышится звук, речь) являются признаком возникновения нейронных эпилептических разрядов на периферии височной зоны коры головного мозга. Различают зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные и сложные эпилептические галлюцинации, последние объединяют несколько перечисленных видов. Галлюцинации особенно характерны для раннего петербургского периода болезни Достоевского, для 1840-х годов. Однако бывали (значительно реже) они и в более поздние периоды жизни. Например, перед эпилептическим припадком стареющему Достоевскому несколько раз чудился наплывающий густой туман, окутывающий комнату.

Известна гелелепсия, которая означает фокальную эпилепсию (обычно височной доли коры головного мозга) и проявляется в виде кратковременного приступа беспричинного смеха. Такое состояние посещало Достоевского в конце жизни (правда, довольно редко), и он хорошо осознавал, что этот непроизвольно вырвавшийся нервный смех обусловлен эпилепсией.

Многие фокальные припадки эпилепсии могут выражаться исключительно или преимущественно в расстройствах психики. Подобные припадки возникают в результате эпилептических нейронных разрядов в височной или (реже) лобной доле. Обычно это приступ неприятных эмоциональных переживаний, страха, тревоги. Фобии беспокоили Достоевского преимущественно в продромальный период заболевания, в детстве, и в ранний петербургский период в течение 1840-х годов. Среди различных фобий при эпилепсии иногда встречаются танатофобия (навязчивый страх внезапной смерти) и тафефобия (навязчивый страх погребения заживо при летаргическом сне).

Сорокапятилетнее изучение биографии Ф.М. Достоевского и симптомов его «священной болезни» убеждает, что он страдал фокальной височной эпилепсией с вторичной генерализацией судорожных припадков. Снача-

ла, в первые периоды заболевания, Достоевского беспокоили фокальные проявления эпилепсии, характерные преимущественно для возбуждения групп нейронов височной доли коры головного мозга (человеческий голос «волк бежит!», в дальнейшем — другие галлюцинации; фобии, ночные страхи, кошмарные сны). При прогрессировании процесса эпилептического возбуждение стало захватывать все другие участки головного мозга, т.е. произошла так называемая вторичная генерализация эпилептического процесса с возникновением больших судорожных припадков (*grand mal*).

О фокальном начале практически всех больших судорожных припадков Достоевского убедительно свидетельствует тот факт, что *grand mal* у него почти всегда начиналась с так называемой ауры. В тех случаях, когда больной эпилепсией замечает начало припадков и сохраняет воспоминание о нем, говорят об ауре припадков, о которой я расскажу подробнее позже. Начало большого судорожного припадков с ауры — абсолютное доказательство фокального судорожного припадков с вторичной генерализацией судорог^{7,10}. В этом случае вначале возбуждаются нейроны фокуса, т.е. в случае больного Достоевского — нейроны височной доли, а затем нейронный разряд охватывает весь головной мозг. В отличие от этого, при первично генерализованном судорожном припадке возбуждением охватывается сразу весь головной мозг, человек мгновенно теряет сознание, воспоминаний о начале припадков (ауры) после пробуждения у него нет.

Проявления эпилепсии многообразны. Это не только первично или вторично генерализованные судорожные припадки (вариантами которых бывают *petit mal*) и фокальные (парциальные) припадки, но и так называемые бессудорожные эквиваленты припадков.

Эпилепсия характеризуется дисфориями (временными расстройствами настроения). Они начались и были особенно выражены у Достоевского в период обучения в Главном военно-инженерном училище. Тогда его заболевание проявилось в виде продолжительных состояний апатии, безразличия, эмоциональной притупленности. Таким больным все становится

не мило, пропадает интерес к окружающим людям.

У других больных при дисфориях настроение изменяется в сторону раздражительности, подавленности, придирчивости, злобности. Они бывают возбуждены, агрессивны, проявляют недовольство, злобно реагируют на замечания, высказываются резко оскорбительно. Как правило, приступ дисфории приходит внезапно, беспричинно или наступает после очередного большого судорожного припадков¹⁸. Через какое-то время после начала приступ дисфории самостоятельно проходит, больные успокаиваются. Они помнят о случившемся и часто извиняются за свое поведение. Такой вариант дисфории отмечен у Достоевского в поздний петербургский период, особенно в последнее десятилетие жизни.

Психосенсорные припадки, как вариант бессудорожных эквивалентов, включают в себя симптомы дереализации и/или деперсонализации и часто сопровождаются галлюцинациями. Деперсонализация проявляется в необычном восприятии ощущений, идущих из своего тела. Необычно воспринимается и окружающий мир — здесь налицо дереализация («все необычно», «предметы изменились», «их форма, величина, поверхность другие»). Человек, проходя по тихой улочке Санкт-Петербурга, например, вдруг ощущает, что все залито необычным лунным светом; красные, оранжевые, синие, зеленые линии, круги и пятна преобразуют пространство, что превращает обычную вечернюю улицу в звездный фантастический мир.

Психосенсорные припадки и галлюцинации отмечены у Достоевского в ранний петербургский период, в 1840-х годах; испытанные в жизни, они использованы им в написании произведений, в частности «Двойника».

Для большинства эпилептиков характерны специфические расстройства сна. А.И. Болдырев³ к пароксизмальным расстройствам сна³², обусловленным эпилепсией, относит яркие кошмарные сны, которые характеризуются необычайной живостью, конкретностью переживаний, насыщенностью с включением витальных чувств (страх, ужас). Больным снится, что они падают с крыши, обрыва,

летят в пропасть, бездну. Иногда им кажется, что падает стена, рушится потолок, проваливается пол. В других случаях это преследование, погоня за большим с ножом или ружьем с целью убийства; война, расстрелы, потеря имущества и близких людей.

Импульсивные влечения (дипсомания, лудомания, пиромания и другие патологические влечения) являются характерными и частыми проявлениями эпилепсии. Дипсомания — пароксизмально возникающее влечение к употреблению алкоголя. К счастью, этого симптома у Достоевского не было, но он в течение длительного периода жизни страдал еще более страшным и неуправляемым импульсивным влечением — лудоманией (патологическим влечением к азартным играм, особенно к рулетке).

Жизнь и здоровье на петровских болотах

Вооружившись инструментом — научно-медицинскими знаниями по эпилепсии, мы можем приступить к рассмотрению манифестной стадии «священной болезни» Ф.М. Достоевского.

Итак, в июне 1839 года, после получения известия о смерти отца, у воспитанника Главного военно-инженерного училища Федора Достоевского возник первый в жизни большой судорожный приступ (grand mal).

Этот приступ ознаменовал начало манифестной стадии «священной болезни». До конца декабря 1849 года Достоевский проживал в Санкт-Петербурге, и это рассматриваемое десятилетие столичной жизни характеризовалось достаточно редкими, эпизодическими приступами grand mal (по моим данным, очевидно, не более 10 за весь период). Кроме того, у него наблюдались малые припадки (petit mal), которые были единичными (известны его атонический абсанс в начале 1846 года на балу у Виельгорских и сложный миоклонический абсанс на Семеновском плацу 22 декабря 1849 года).

Достоевский пытался понять причину и симптомы болезни, сомневался в наличии у него именно падучей, хватаясь, как за соломинку, за сомнения докторов, его осматривавших, не все

из которых считали, что его «нервная болезнь» является именно эпилепсией. Сомнения Достоевского усиливались от того, что лишь один из его друзей, Д.В. Григорович, видел наяву его судорожные припадки, а профессионалы-доктора своими глазами не наблюдали у него ни одного grand mal или абсанса. Доктор С.Д. Яновский своими глазами увидел в 1847 году лишь окончание приступа, когда конвульсии уже прошли.

Сам же больной из-за потери сознания во время конвульсий никак не мог наблюдать тех судорожных припадков, которые хотя и редко, но встречали его.

Этот ранний петербургский период заболевания, бедный судорожными припадками, имел, однако, большое число разнообразных пароксизмальных эквивалентов эпилепсии. Пациента очень беспокоили усилившиеся в нем фобии, особенно появившиеся танатофобия и тафефобия, пароксизмальные расстройства сна с ночными кошмарами и ужасами, дисфории, психосенсорные припадки в виде дереализации и деперсонализации, разнообразные галлюцинации, которые не давали ему покоя.

Одним из важных свидетелей раннего периода «священной болезни» Федора Достоевского был его друг, молодой писатель Дмитрий Васильевич Григорович (1822–1899). Дмитрий был товарищем кондуктора (курсанта) Достоевского по Главному военно-инженерному училищу, а затем одно время проживал с ним в Санкт-Петербурге на общей съемной квартире.

В их период совместного житья-бытья Достоевский усиленно занимался, вначале переводя на русский язык повесть Бальзака «Евгения Гранде», а затем сутками напролет сочиняя повесть «Бедные люди».

Д.В. Григорович так свидетельствовал о припадке писателя, произошедшем в 1844 году: «Усиленная работа и упорное сиденье дома крайне вредно действовали на его здоровье; они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище (таким образом, во время учебы в Главном военно-инженерном училище у Федора Достоевского был не один, а несколько судорожных припадков эпилеп-

сии! — *Авт.*) Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но, прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три»³³.

Этот эпизод *grand mal*, произошедший с Достоевским в 1844 году, по свидетельству Д. Григоровича, не был единичным. Дмитрий Васильевич лично наблюдал у него несколько таких приступов, правда, остальные протекали легче. А еще несколько судорожных припадков произошли у Достоевского раньше, при его обучении в Главном военно-инженерном училище.

Стоит учесть, что судорожные припадки у эпилептиков не повторяются через одинаковые промежутки времени; интервалы, особенно в начале заболевания, могут быть очень большими. Поэтому некоторые близкие к писателю люди, в том числе его младший брат, Андрей Михайлович, в 1840-х годах не наблюдали у Ф.М. Достоевского ни одного приступа конвульсий. Андрей Достоевский жил на одной квартире с братом с августа 1841 года по лето 1842 года, после чего проживал в казенных помещениях закрытого типа строительного училища, куда поступил учиться. Очевидно, когда Андрей Достоевский жил на одной квартире со старшим братом, состояние судорожной готовности мозга у Федора Михайловича не было таким высоким, как в другие периоды, например, когда он жил вместе с Дмитрием Григоровичем.

В начале 1840-х годов в лечении Федора Достоевского участвовал Александр Егорович Ризенкампп (1821–1895). Любопытно, но А.Е. Ризенкампп в дальнейшем упорно утверждал, что ни одного приступа падучей у Федора Достоевского не наблюдал. Будучи студентом-медиком, он, возможно, давал Достоевскому

какие-то (еще недостаточно профессиональные) советы по его заболеваниям, а став начинающим доктором, осматривал и лечил. Но была ли висока компетенция молодого специалиста? Не получив хорошего врачебного места в столице, молодой доктор А.Е. Ризенкампп в 1845 году уехал в Сибирь.

«Его тревожили нервные страдания, — вспоминал Ризенкампп. — Неоднократно он мне жаловался, что ночью ему все кажется, будто бы кто-то около него храпит; вследствие этого делается с ним бессонница и какое-то беспокойство, так что он места себе нигде не находит. Утром он тогда был не в духе, раздражался каждой безделицей, ссорился с денщиком. О болезненной его раздражительности, об опасении наступления какого-то летаргического сна пишет и брат его Андрей Михайлович в № 1778 от 8 февраля 1881 года газеты «Новое время»... Все это расстраивало его нервы и производило припадки какого-то угнетения, заставлявшие опасаться нервного удара, или, как он выражался, кондрашки»³⁴.

Очевидно, А.Е. Ризенкамппу, вначале как студенту-медику, а затем как молодому врачу, не хватило компетентности, чтобы толково разобраться с нервно-психическим заболеванием Ф.М. Достоевского. Допустим, А.Е. Ризенкамппу в течение года проживания с больным на одной квартире не удалось наблюдать у Достоевского ни одного судорожного припадка (*grand mal*), но он и не разобрался в том, что имеет в виду пациент, говоря о так называемой «кондрашке с ветерком». А Федор Михайлович называл так свои приступы падучей, что выяснили затем другие врачи, осматривавшие больного после отъезда Ризенкамппа из столицы.

А.Е. Ризенкамппу не удалось диагностировать и бессудорожные эквиваленты эпилепсии, которые в этот период, при временном отсутствии *grand mal*, составляли основную клиническую картину заболевания, — зрительные и слуховые галлюцинации, дисфории, различные фобии, в том числе тафетобия, т.е. страх погребения заживо из-за «летаргического сна».

Таким образом, диагноз «эпилепсия» А.Е. Ризенкампп больному не

выставил. Ошибку в диагнозе он позже не признал и с жаром убеждал всех, что Достоевский приобрел эпилепсию на каторге.

В конце 1845 — начале 1846 года Достоевский лечился у других врачей, однако также без особого эффекта. Об этом можно судить по его письму Михаилу Михайловичу, датированному 26 апреля 1846 года: «Я не писал тебе оттого, что до самого сегодня не мог взять пера в руки. Причина же тому та, что был болен, при смерти в полном смысле этого слова. Болен я был в сильнейшей степени раздражением всей нервной системы».

Ф.М. Достоевского в течение трех лет (с мая 1846 года до момента ареста по делу петрашевцев в апреле 1849 года) лечил Степан Дмитриевич Яновский (1815–1897). Это был замечательный, квалифицированный доктор и прекрасный человек.

С.Д. Яновский вспоминал: «Какое утро, ровно в половине десятого (педантичность свойственна больным эпилепсией. — *Авт.*), я видел скоро входившего в приемную комнату Федора Михайловича, который... прямо обращался ко мне: «Ну, кажется, ничего; сегодня тоже не дурно; ну, а Вы, батенька? (это было любимое и действительно какое-то ласкающее слово Федора Михайловича) (в речи больных эпилепсией встречается много ласкательных слов. — *Авт.*)... Ну, а язык как Вы находите? Мне кажется, беловат, нервный; спать-то спал; ну а вот галлюцинации-то, батенька, были, и голову мутило». Когда, бывало, после этого приступа я осмотрю внимательно Федора Михайловича, исследую его пульс и выслушаю удары сердца и, не найдя ничего особенного, скажу ему в успокоение, что все идет хорошо, а галлюцинации — от нервов, он оставался очень доволен и добавлял: «Ну, конечно, нервы; значит, кондрашки не будет? Это хорошо! Лишь бы кондрашка не пришиб, а с остальными сладим».

Таким образом, Достоевского более всего волновало его нервно-психическое заболевание, а не те многочисленные болячки (горла, шеи, легких), которые он имел. «Кондрашка» или «кондрашка с ветерком» — так он образно, с легкой иронией называл свои редкие судорожные приступы

с потерей сознания. В течение года, до лета 1847 года, доктор Яновский эти приступы *grand mal* у литератора лично не наблюдал и поэтому до поры считал их достаточно легкими. Бессонница, кошмарные сновидения, фобии и особенно зрительные и слуховые галлюцинации больного были предметом забот эскулапа. В то время современных высокоэффективных средств для лечения психических заболеваний — транквилизаторов и нейролептиков — не существовало; больного от «нервов» лечили успокаивающими растительными средствами, например, пустырником, мятой и другими легкими средствами, которые сейчас относят к народным.

В июле 1847 года Яновский проходил по Сенатской площади. И он вдруг увидел болезненно возбужденного Достоевского, с которым только что произошел сильнейший судорожный припадок (*grand mal*). Он был в полувменяемом состоянии, очевидно, только-только пришел в сознание после окончания конвульсий.

Позднее доктор вспоминал: «Во время лечения он часто жаловался на особенные головные дурноты, подводя их под общее название кондрашки. Я же, наблюдая за ним внимательно и зная много из его рассказов о тех нервных явлениях, которые бывали с ним в его детстве, а также принимая во внимание его темперамент и телосложение, постоянно допускал какую-нибудь нервную болезнь. До какой степени иногда сильно обнаруживались у него припадки головной дурноты, лучше всего покажет следующий случай. [Приехав в город], я совершенно безотчетно, под влиянием какого-то тревожного чувства, повернул к Сенатской площади, и, как только дошел до нее, я увидел посреди площади Федора Михайловича без шляпы, в расстегнутом сюртуке и жилете, с распущенным галстуком, шедшего под руку с каким-то военным писарем и кричавшего [мне] во всю мочь: «Вот, вот тот, кто спасет меня».

Ф.М. Достоевский шел по делам и в центре Сенатской площади вдруг почувствовал чувство дурноты в голове и что-то страшное, надвигающееся на него с неотвратимой силою. Он потерял сознание. Когда очнулся, увидел вокруг себя чужих людей во главе с

каким-то незнакомым писарем. Они, оказавши ему помощь, расстегнувши сюртук и распустивши галстук, смотрели на него с глубоким состраданием, и он мгновенно понял, что с ним опять произошел приступ судорог. С трудом его подняли. И вдруг он увидел милого доктора Яновского, который спешил ему на помощь. Степан Дмитриевич отвез его к себе домой, выполнил кровопускание. Аполлон Майков, случайно зашедший на квартиру Яновского, застал момент оказания медицинской помощи.

— Я спасен, спасен! — с возбуждением вскрикнул Достоевский. — Спасибо вам, голубчик, дорогой Степан Дмитриевич!

Три денька потом отлеживался Федор Михайлович у себя на квартире наедине с черными мыслями. Чувствовал слабость, какое-то чувство вины, тоску и страх смерти.

Удивляла Степана Дмитриевича чрезвычайная мнительность пациента. Как осознавал врач, это была черта характера, явно обусловленная болезнью.

«Будучи от природы чрезвычайно мнительным (что у него было несомненным признаком известных страданий мозга и именно такого рода, которые впоследствии обнаружились чистою формой падучей болезни) и состоя под страхом кондрашки, он всячески воздерживался от всего возбуждающего, — отмечал доктор. — Эта мнительность доходила у него до смешного на взгляд людей посторонних, чем он очень обижался, а между тем нельзя было не рассмеяться, когда, бывало, видишь, что стоило кому-нибудь случайно сказать: «Какой славный, душистый чай!» — как Федор Михайлович, пивший обыкновенно не чай, а теплую водицу, вдруг встанет с места, подойдет ко мне и шепнет на ухо: «Ну, а пульс, батенька, каков? а? ведь чай-то цветочный!» И нужно было спрятать улыбку и успокоить его серьезно в том, что пульс ничего и что даже язык хорош и голова свежа... Федор Михайлович водки не пил, шампанского [на праздниках] ему наливали четверть бокала, и он прихлебывал его по одному глоточку после спичей, которые любил говорить и говорил с увлечением».

Эта часть воспоминаний С.Д. Яновского наводит меня на мысль, что док-

тор к тому времени (1846–1847 годы) уже поставил диагноз эпилепсии пациенту и не сомневался в нем, поскольку давал ему советы не принимать возбуждающего — крепкий чай, кофе, алкоголь. Тогда медицинской науке уже было известно, что возбуждающие средства, особенно алкоголь, способствуют возникновению конвульсий. В свою очередь Достоевский со всей тщательностью соблюдал предписания доктора Яновского. Не мог он только оставить своего писательства, хотя знал от доктора, что напряженная умственная работа вредна при эпилепсии. И напряженно, без всякого отдыха, многие-многие часы проводил за письменным столом, испещряя листы белой бумаги своим своеобразным, неповторимым, «нервным» почерком.

В 1846–1847 годах вокруг Ф.М. Достоевского создалась крайне неблагоприятная обстановка с постоянными нападениями «друзей»-литераторов. Вокруг Федора Михайловича сложилась хроническая психотравмирующая ситуация, еще более обострившая его нервно-психическое заболевание. В начале 1846 года огромной популярностью в Санкт-Петербурге и России пользовалась повесть Ф.М. Достоевского «Бедные люди». Очевидно, успех немножко вскружил голову молодому, неискушенному литератору.

Группа молодых талантливых (но завистливых!) писателей во главе с Тургеневым решила воспользоваться наивностью и доверчивостью автора. Они сначала дружным хором пели ему дифирамбы, намеренно завышая оценку его произведениям, а затем резко сменили тон, начали подтрунивать и подсмеиваться над ним.

Не совсем адекватное поведение Достоевского в литературном кружке Белинского и на квартире Панаевых в этот сложный для него период коллективной травли объясняется просто — он, выведенный из себя первыми остротами и ухмылками Тургенева, находился затем уже постоянно в состоянии дисфории — расстройства настроения, обусловленного эпилепсией. Из-за дисфории и особенностей эпилептического характера, который уже начал развиваться в нем, Досто-

евский совершенно не мог сейчас владеть собой в литературном кружке Белинского и на квартире Панаевых: раздражался, кипел, негодовал, злился и на нападавших, и на себя. Но он, будучи душевнобольным, не в состоянии был успокоиться — это было выше его сил, подорванных болезнью.

Но для меня удивительно другое: почему же Тургенев, Панаев и Некрасов продолжали бессовестно изводить человека, понимая, что он болен?

Почему осознавший его болезнь В.Г. Белинский, из уст которого несколько раз вылетали фразы о «нервной болезни» Достоевского, не захотел властным окриком остановить этих молодых зарвавшихся литераторов?

Травля Достоевского в 1846–1847 годах в кружке Белинского и на квартире Панаевых — позорное пятно в истории нашей русской литературы!

В начале 1846 года случился с Достоевским неприятный, конфузливый эпизод в аристократическом салоне Виельгорских. Он неожиданно упал в обморок, когда его подвели к юной красавице Сенявиной. Этот странный случай стал дополнительным поводом для насмешек и острот молодых литераторов кружка Белинского. На талантливого писателя со всею силою накатилась новая волна травли.

Перед балом (а дело было около 15 января 1846 года) здоровье Достоевского было неважным вследствие обострения его «священной болезни». Он чувствовал какое-то необъяснимое состояние тревоги, периодами на него наваливались головные боли, головокружения, приливы к голове и обусловленные «нервами» неприятные ощущения в области сердца.

И вот пышный бал в огромном зале величественного дворца М.Ю. Виельгорского. В тот день царицей бала была новая первая красавица Санкт-Петербурга, прелестная и юная Сенявина. Она просит показать ей новую восходящую звезду литературы — молодого Достоевского, автора нашумевшего романа.

Их подводят друг к другу. Вот уже Достоевский видит перед собою прелестное юное лицо великосветской красавицы, которая смотрит на него с интересом и любопытством.

Но что это? Красавица не верит своим глазам: у молодого, бедновато оде-

того беловолосого человека с большим сократовским лбом лицо вдруг резко бледнеет, зор делается туманным, глаза закатываются; затем внезапно безвольно свешивается голова, потом руки; ноги его подкашиваются, и он снопом валится в обморок на паркетный пол буквально под ноги красавицы.

Следует всеобщий переполох, Сенявина в испуге отскакивает от «странного» человека, его окружают мужчины и некоторые отважные дамы, пытаясь привести в чувство. Появляются слуги, которые уносят находящегося в глубоком обмороке молодого человека из зала; через несколько минут он приходит в себя и удивленными глазами осматривает столпившихся возле него людей, не понимая, что с ним произошло.

Судорог никто из окружающих не наблюдал. Если бы они были, свидетели припадка нисколько бы не удивились: подумаешь — обыкновенный приступ падучей. Но здесь случился необъяснимый, непонятный по происхождению обморок. Да еще в момент, когда Достоевского едва успели представить всеобщей царице бала. Неужели он был так очарован блестящей красавицей, что от счастья лицезреть ее даже потерял сознание?

Что же произошло в действительности?

У Достоевского случился так называемый атонический абсанс, механизм которого описан мною выше. В предшествующие обмороку дни Достоевский чувствовал себя плохо, его беспокоили головные боли, головокружения, приливы к голове, неприятные ощущения в области сердца, обусловленные нервным состоянием; у него были предвестники припадка — все это свидетельствовало о возбуждении нейронов головного мозга. Попад впервые в великосветский салон, Достоевский, безусловно, очень волновался. Эти волнения спровоцировали возникновение атонического абсанса, который является формой малого бессудорожного припадка эпилепсии, *petit mal*, и проявляется внезапно наступающей бледностью кожных покровов, головокружением, шумом в голове и ушах, ощущением остановки сердца; вслед за этим человек теряет сознание и падает в обморок.

Подобные приступы атонического абсанса у Достоевского затем еще были,

например, в 1856 году в Семипалатинске и в 1870-е годы в Эмсе. Но редко. Этот же описанный приступ попал во все биографии писателя только потому, что произошёл при большом числе свидетелей на балу у известного влиятельного царедворца и получил большой резонанс в столичном обществе.

После этого атонического абсанса эпилепсия у Достоевского еще более обострилась. Виной тому были и продолжающиеся насмешки.

Если внимательно вчитываться в воспоминания действующих лиц истории травли Достоевского, то становится ясно, что В.Г. Белинский считал Ф.М. Достоевского душевнобольным. Он бросал такие реплики, как «Вы... сцепились с больным человеком», «Ему непременно надо лечиться», «все это происходит от страшного раздражения нервов».

Белинский считал Достоевского душевнобольным. Однако в XIX веке понятие «душевнобольной», «сумасшедший» имело крайне отрицательный смысл. В отличие от XXI века, никакого сострадания к сумасшедшим в обществе тогда не было; они были на положении изгоев, которых можно было унижать и оскорблять.

Ф.М. Достоевский очень переживал по поводу перемены отношения В.Г. Белинского к нему. Однако Виссариону Григорьевичу лично своей обиды никогда не высказывал; продолжал его уважать и любить. Вскоре здоровые критика быстро пошло под откос. В мае 1848 года наступила смерть В.Г. Белинского от тяжелого туберкулеза легких, в несколько месяцев загнавшего его в гроб.

По свидетельству С.Д. Яновского, смерть В.Г. Белинского, наступившую 28 мая 1848 года, чистый душой Ф.М. Достоевский воспринял как «великое горе», простив покойному нанесенные обиды. Достоевский весь вечер после получения трагического известия был в сильном возбуждении, вспоминая о своей первой встрече с критиком. А наступившей ночью с Достоевским случился сильный припадок «головной дурноты» (*grand mal*) с полной потерей сознания и распространенными судорогами. Когда он очнулся, то слабым голосом едва слышно произнес:

— Умер Белинский... Как мне жаль его!..

Было бы неверно все проявления «священной болезни» Достоевского, наблюдавшиеся у него в 1840-х годах, сводить только к гран маль и пти маль. В этот первый (ранний) петербургский период его болезни последняя особенно сильно проявлялась бессудорожными эквивалентами припадков, которые были очень мучительны и приносили литератору большие страдания. О части эквивалентов я уже поведал. О других нам сейчас расскажут свидетели болезни Достоевского.

Одним из добрых друзей курсанта Главного военно-инженерного училища и литератора был Константин Александрович Трутовский (1826–1893) — прекрасный живописец, оставивший нам, потомкам, замечательный портрет молодого Федора Достоевского, написанный в 1847 году.

К.А. Трутовскому не довелось лично наблюдать судорожные конвульсии у писателя, но он стал невольным свидетелем его тафетофобии (навязчивого страха погребения заживо).

«Случилось как-то, что в 1849 году Федор Михайлович прожил у меня на квартире несколько дней, — пишет К.А. Трутовский, — и в эти дни, когда он ложился спать, всякий раз просил меня, что если с ним случится летаргия, то чтобы не хоронили его ранее трех суток. Мысль о возможности летаргии всегда его беспокоила и страшила».

Замечу, что Андрей Михайлович Достоевский, брат писателя, проживавший на одной квартире с Федором Михайловичем в Санкт-Петербурге в 1841–1842 годах, впоследствии вспоминал: «Мне часто приходилось видеть записки его, оставляемые им на ночь, приблизительно следующего содержания: «Сегодня со мною может случиться летаргический сон, а потому прошу не хоронить меня (столько-то) дней».

Как видим, один свидетель упоминает о 1841 годе, другой вспоминает 1849 год. Можно предположить, что в течение всех 1840-х годов литератор страдал тафетофобией.

Расстройство это достаточно серьезное. Представьте, что почти каждую ночь вам в голову приходит навязчивая, упорная мысль, что вы заснете

на много дней, не подавая окружающим никаких признаков жизни, и вас похоронят.

(Между прочим, я опрашивал студентов-медиков о смерти Н.В. Гоголя³⁵. Оказалось, что 96% из них верят, что Николая Васильевича похоронили в состоянии летаргического сна, т.е. живым. И он задохнулся в гробу, испарав ногтями крышку гроба!)

Другая серьезная фобия, беспокоящая Достоевского в 1840-х годах, — навязчивый страх смерти (танатофобия). Сам писатель рассказал о своей танатофобии Всеволоду Сергеевичу Соловьеву. «Мои нервы расстроены с юности, — говорил он. — Еще за 2 года до Сибири (т.е. в 1847 году. — *Авт.*) во время разных моих литературных неприятностей и ссор у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь. Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений; но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот право — настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно — как только я был арестован — вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири и никогда потом я ее не испытывал»³⁶.

Достоевский имеет в виду не излечение от самой болезни — эпилепсии, а именно исчезновение у него танатофобии (как и тафетофобии). Но далее, продолжая беседу, он рассказывает Вс. С. Соловьеву, что на каторге и после Сибири его замучили судорожные приступы падучей болезни, которые в клинике заболевания заняли ведущее место. Так обыкновенно и бывает при «священной болезни»: вначале больных очень донимают бессудорожные формы, а с течением времени их вытесняют *grand mal* и (реже) *petit mal*.

В ранний петербургский период жизни Федора Достоевского у него изредка отмечались явления деперсонализации и дереализации.

Деперсонализация проявляется в необычном восприятии ощущений, идущих от своего тела. У некоторых больных с данным нарушением возникает чувство, что внутри них поселился другой человек, двойник. Некоторые слышат внутри своего тела человеческие голоса. Другие ощущают, что внутри них переливается кровь

и другие жидкости; кишка квакает, в сердце целый хор поет песни и т.п.

Обратим внимание, что у Достоевского в произведениях раннего петербургского периода, 1840-х годов, часто встречается выражение, касающееся «червячков, поселившихся в сердце» того или иного отрицательного персонажа. Выражение удивительное, оригинальное, яркое. Но не зародилось ли это выражение у автора из каких-либо его ощущений, связанных с психическим явлением деперсонализации?

Явления дереализации в 1840-х годах у Достоевского встречались несколько чаще, чем деперсонализация. Окружающее пространство вдруг приобретало неузнаваемые черты. Предметы (их форма, величина, поверхность) искажались, становясь больше или, наоборот, меньше; прямоугольные дома наклонялись, норovia упали; Нева, каналы, улицы, дома казались видимыми в нереальном зеленоватом, желтоватом, фиолетовом, сиреневом цвете, а редкие прохожие ощущались не живыми, а мертвыми; лица их выглядели бледно-желтыми, голоса измененными, едва слышимыми.

Такие картины одновременно и пугали его, вызывая безотчетный страх, и в то же время ему вновь и вновь хотелось ощутить эти страшные, нереальные виды и проходящих фантастических «мертвецов».

Доктор С.Д. Яновский замечал в Достоевском некоторые странности, например, то, что он любил ходить в тот или иной район Петербурга, часто отдаленный, чтобы полюбоваться местностью, группой домов или улочками, которые казались ему необычными, нереальными, неземными, сказочно красивыми. Особенно ему нравились картины восхода и захода солнца. А белые ночи он любил со всею восторженностью своего сердца!

Яновским было очень точно подмечено: Достоевский восторгался и любовался отдельными уголками города лишь в периоды обострения своего нервного заболевания; в другое время он проходил вместе с доктором по этим улицам Петербурга совершенно равнодушно, не обращая внимания на то, чем еще недавно восхищался.

Симптомы дереализации, деперсонализации, а также галлюцинации ярко переданы Достоевским в заклю-

чительной части повести «Двойник», когда главного героя — Голядкина — отвозят в сумасшедший дом³⁷.

Для раннего петербургского периода жизни Федора Достоевского (1840-е годы) характерно достаточно частое проявление эпилепсии в виде обилия галлюцинаций (обмана органов чувств). В дальнейшем эта бессудорожная форма заболевания (так же, как тафетобия и некоторые другие бессудорожные проявления) у Достоевского практически исчезнет, уступив место судорожным формам, преимущественно *grand mal*. Но в 1840-е годы галлюцинации весьма часто посещали начинающего литератора. И если в девятилетнем возрасте он слышал какие-то человеческие голоса, предупреждающие о волке, то сейчас ему не только слышались голоса и другие разнообразие звуки, но он видел перед собою вроде бы совершенно живых людей; смотрел, как они ходят, улыбаются, смеются, разговаривают с ним и другими людьми. А этих людей в действительности в реальной жизни не существовало! Они родились и жили только в его голове! Эти видения и звуки создала бо́льшая психика Федора Достоевского.

На обилие галлюцинаций Достоевский жаловался своему доктору С.Д. Яновскому, о чем я уже рассказывал, приводя цитаты из воспоминаний доктора.

Но что мог сделать доктор Яновский в середине XIX века? Он выслушивал сердце и легкие, смотрел у больного язык и заключал: «Ваши галлюцинации — от нервов!» Да, в то время медицина была настолько неразвитой, что действенных методов лечения психических заболеваний и их проявлений — галлюцинаций — еще не существовало.

Переживание собственных галлюцинаций помогло Ф.М. Достоевскому мастерски и очень достоверно изобразить их у героя его повести «Двойник»³⁸, написанной во второй половине 1845 года, когда писатель был особенно подвержен галлюцинациям.

Между прочим, опытные психиатры знают, что в редких случаях эпилепсии больной реально «видит» свое собственное изображение, своего двойника. Установлено, что это происходит, когда эквиваленты припадков

возникают в результате нейронных разрядов в височно-затылочной области коры головного мозга³⁹. В связи с этим научным фактом, ответственно заявляю: Федор Достоевский мог видеть своего «двойника», которого затем изобразил в своем одноименном произведении.

Многие психиатры⁴⁰ чрезвычайно восхищены «Двойником» и поражаются, как молодой писатель, не являющийся медиком, так хорошо смог описать психического больного. Поражаясь точному описанию галлюцинаций Достоевским, они высказывали мнение, что так достоверно и точно, во всех деталях и полно, галлюцинации мог описать только человек, который сам когда-то имел их.

Менее удачной вышла повесть «Хозяйка» (1847). В повести создан любовный треугольник, причем все члены его — помешанные!

Один из трех главных героев, Василий Ордынов, — молодой ученый, мечтатель, который любит бродить по улицам «самого фантастического города в мире». Рисуя своего героя, Достоевский передает ему симптомы нервно-психического заболевания, которые ощущал сам, тогда еще не совсем уверенный, что у него именно эпилепсия. Во всяком случае, судорожные припадки он никак не мог сам увидеть у себя. Он наделяет Ордынова преимущественно другими симптомами, которыми страдал сам, — галлюцинациями, феноменом дереализации, а также бредом, который, впрочем, у Достоевского отсутствовал. Улицы города казались Ордынову нереальными, фантастическими, иногда мостовая, почва под ним и окружающие дома покачивались (явления дереализации). Через ощущения Василия Ордынова Достоевский передает свои галлюцинации⁴¹.

— Да это же сумасшедший дом! — воскликнул Белинский, прочтя «Хозяйку» в «Отечественных записках».

Достоевский и сам к тому времени понял, что немного переусердствовал в описании клиники психических заболеваний.

Состояние здоровья в 1847–1848 годах у писателя было неважным.

В мае 1847 года Достоевский перенес судорожный приступ эпилепсии. В это время, в силу острой денежной

нужды, Федор Михайлович работал над статьей об иезуитах для «Справочного энциклопедического словаря». После приступа падушей Достоевский несколько дней был не в состоянии работать над статьей, о чем пишет запиской редактору словаря А.В. Старчевскому: «Я нездоров приливами крови в голову (так иногда Достоевский для посторонних и даже близких обозначал свои судорожные припадки. — *Авт.*) и заниматься решительно не могу по приказанию доктора».

В 1847 году Достоевский намеревался выехать для лечения за границу, однако поездка не состоялась из-за нехватки средств.

Эшафот

23 апреля 1849 года Ф.М. Достоевский был арестован по «делу петрашевцев». Он был помещен в страшный Алексеевский рavelин Петропавловской крепости, подвергался допросам Секретной следственной комиссии, на которых проявил большое мужество, никого не выдав, заявив, что не считает себя преступником, имея чистые намерения и возвышенные мысли по переустройству российского общества.

Никто из историков литературы, рассуждая о причинах, побудивших Достоевского примкнуть к петрашевцам, большинства взглядов которых он не разделял, не рассматривает влияния его нервно-психической болезни на этот поступок.

Между тем в письме Достоевского к генералу Э.И. Тотлебену, написанному уже после отбывания наказания, раскрывается это болезненное влияние: «Перед тем [как примкнуть к петрашевцам] я был два года сряду болен, болезнью странною, нравственною. Я впал в ипохондрию. Было даже время, что я терял рассудок. Я был слишком раздражителен, с впечатлительностью, развитою болезненно, со способностью искажать самые обыкновенные факты и придавать им другой вид и размеры».

Таким образом, Федор Достоевский, уже отбыв наказание, прямо признается, что его нервно-психическое заболевание с «помутнением рассудка» позволило подпасть под влияние А.Н. Спешнева и ряда других

петрашевцев, большинства взглядов которых он совершенно не разделял.

Одинокaя камера Алексеевского рavelина, в которой содержался Достоевский, была маленькой, грязной, сырой и очень холодной. Через небольшое оконце с железной решеткой можно было узреть краешек неба.

Несмотря на эпилепсию, о которой знал тюремный врач, Достоевскому несколько не облегчили условий содержания в каземате. Он ни разу с 23 апреля по 22 декабря, т.е. за все время содержания в Алексеевском рavelине до имитации казни, не был помещен в тюремную больницу, несмотря на то что невыносимо страдал эпилепсией, и сопутствующими заболеваниями.

К моменту ареста Федор Михайлович чувствовал себя просто отвратительно. И именно из-за эпилепсии.

Накануне ареста, вечером 22 апреля 1849 года, Андрей Михайлович совершенно случайно встретил брата на Загородном проспекте. Федор Михайлович, выглядевший очень болезненно, честно признался:

— Как живу? Скверно, брат! Чувствую, что болезнь подтачивает меня. Нужно бы отдохнуть, полечиться, куда-нибудь поехать на лето, а средств нет.

Непосредственно в Алексеевском рavelине документально случаев больших судорожных припадков (*grand mal*) у государственного преступника Ф.М. Достоевского не зафиксировано. Однако и большие (*grand mal*), и малые (*petit mal*) припадки установить в каземате было сложно: Достоевский был помещен в одиночную камеру, сокамерников, которые бы могли увидеть его судорожные припадки, да и помочь ему при них, не было. А сам больной эпилепсией при приступе теряет сознание и не видит свои судороги, а очнувшись, не знает, был ли у него припадок.

В Петропавловской крепости у узника полностью сохранялись бессудорожные эквиваленты «священной болезни». В этот период он особенно страдал от пароксизмальных расстройств сна. В письмах брату Михаилу Михайловичу Федор Михайлович сообщал, что его до предела измучили кошмарные сны. Ему снились убийства, пожары, кровопролитные битвы, потери близких людей.

В августе Достоевский пишет старшему брату: «О здоровье моем ничего не могу сказать хорошего. Да к тому же, особенно к ночи, усиливается впечатлительность, по ночам длинные, безобразные сны, и сверх того, с недавнего времени, мне все кажется, что подо мной колыхается пол, и я в моей комнате сижу, словно в паровой каюте (вероятно, это были *petit mal*, абсансы, сопряженные с феноменом дереализации и галлюцинациями. — *Авт.*). Из всего этого я заключаю, что нервы мои расстраиваются».

Письма показывают, что Достоевский в Петропавловской крепости, вследствие безобразных условий содержания, имел целый букет заболеваний. Его «священная болезнь» резко усилилась и проявлялась малыми припадками (абсансами), головокружениями, явлениями дереализации, галлюцинациями, бессонницей, головными болями; однако более всего больного в этот период беспокоили пароксизмальные расстройства сна с кошмарными сновидениями.

Несомненно, процесс петрашевцев, включая пребывание в Алексеевском равелине, следствие, суд и «обряд казни», крайне негативно отразились на психике Достоевского, усугубили его «священную болезнь».

Военный суд посчитал действия Достоевского опасными для общества и царского самодержавия и постановил: «Отставного инженер-поручика Ф.М. Достоевского за недонесение о распространении письма Белинского и сочинений поручика Григорьева лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».

И все же перед казнью Николай I решил смягчить суровое, совершенно неадекватное наказание петрашевцам. В результате этого «по высочайшей конфирмации отставной инженер-поручик Ф.М. Достоевский был приговорен к ссылке в каторжные работы в крепостях на 4 года с последующим определением в военную службу рядовым».

Замечу, что осужденные до «обряда казни» не знали, какой приговор их ожидает; о том, что они приговорены к расстрелу, было объявлено непосредственно на эшафоте. Лишь через 20 минут, когда каждый из них мысленно

простился с жизнью, им объявили о «царской милости» — замене смертной казни другими, менее суровыми наказаниями.

Тот роковой день 22 декабря 1849 года Достоевский запомнил на всю жизнь.

На эшафоте их построили в ряд: Петрашевский, Момбелли, Григорьев, Спешнев, Львов, Достоевский и другие (всего 21 арестант) стояли и угрюмо смотрели на серые столбы, врытые около эшафота, на телеги, укрытые рогожей (им казалось, что на них стоят гробы). Один из военных должностных лиц в генеральской форме взошел на эшафот и противным, гнусавым голосом начал зачитывать постановление суда и указ императора. Все, кроме А.И. Пальма, услышали жестокий вердикт: «Приговаривается к смертной казни расстрелянием».

Вот на них уже надели белые саваны (балахоны с капюшонами), к каждому подошел священник с крестом и с молитвой о принятии смерти с христианским смирением. Федор Михайлович горячо молился, целовал крест, зная, что через несколько минут предстанет перед господом. Внешне он выглядел уже почти спокойным. Только мышцы лица его временами дергались вроде нервного тика да расширенные глаза были устремлены куда-то вдаль.

Первую группу приговоренных — Петрашевского, Момбелли и Григорьева — подвели к трем столбам и привязали к ним. Группа из 16 солдат направила дула ружей на смертников в ожидании команды к залпу. Достоевский стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, он был во второй очереди, и жить ему оставалось не более минуты.

В эти мгновения Достоевский пережил глубочайший стресс. Внешне, со стороны, казалось, что он волнуется, но не больше остальных приговоренных. Он даже успел сказать взволнованным, до крайности возбужденным, возвышенным голосом:

— Скоро мы будем с Христом!

Услышавший эти слова Дуров иронично заметил:

— И горстью праха!

Достоевский взволнованно смотрел на синее небо, на золоченый купол церкви, стоящей поблизости. Он, не меняя позы и положения, продолжая

стоять в строю приговоренных, вдруг сознанием своим отключился на несколько секунд от страшной действительности, по лицу его прошел нервный тик, мышцы лица, головы, шеи и плечевого пояса начали мелко судорожно двигаться, передергиваться; глаза были широко раскрыты и отрешенно, безумно, бессмысленно смотрели в синее небо.

Нервное потрясение, которое испытывал страдающий эпилепсией Достоевский, стоя на эшафоте, закономерно привело к возникновению у него так называемого сложного миоклонического абсанса, проявляющегося тем, что на несколько секунд человек теряет сознание, но не меняет позы, и вдобавок у него происходят миоклонии (мелкие судорожные движения) мышц лица, головы и шеи. Об этом варианте *petit mal* (малого судорожного припадка), наступившем у стоявшего на Семеновском плацу приговоренного Ф.М. Достоевского, высказался такой авторитетный медицинский специалист, как А.Е. Горбулин⁴². Однако А.Е. Горбулин смущен тем фактом, что никто из присутствующих на плацу не видел судорожного приступа ни у кого из приговоренных.

Впрочем, на «странное» поведение Достоевского на эшафоте обратил внимание Н.А. Спешнев. Николай Александрович заметил, что на какое-то время Достоевский был не в себе, его объял «мистический ужас», он был бледен и, казалось, не отдавал отчета во всем происходившем⁴³.

Картина абсанса с незначительными конвульсиями мышц лица, головы и шеи такова, что окружающие, если их внимание отвлечено и они не смотрят конкретно на данного больного человека, ничего не замечают. Внимание стоящих в ряд приговоренных в эту драматическую минуту было полностью привлечено к трем несчастным, в которых целились 16 солдат. Никто не смотрел на Достоевского в эти страшные мгновения. Да и внимание густой массы солдат, построенных в каре, и окружающей трехтысячной толпы гражданских лиц было целиком поглощено казнью первых трех приговоренных; к тому же расстояние от войск и толпы гражданских лиц до эшафота было очень большим, заметить мелкие конвульсии лица и шеи у од-

ного из стоящих в строю смертников с такого расстояния было практически невозможно.

Поэтому лишь Н.А. Спешнев обратил внимание на странное состояние Ф.М. Достоевского на эшафоте.

На площади внезапно заиграла барабанная дробь. Очнувшийся от болезненных наваждений Достоевский увидел, как к месту казни подъехал экипаж с флигель-адъютантом Ростовцевым, который, окинув смертников строгим взором, зачитал заготовленную еще накануне бумагу — рескрипт государя о помиловании.

Немилосердная имитация казни подорвала психическое здоровье многих из них. Григорьев, один из трех привязанных к столбам, сошел с ума; психические и нервные расстройства позднее обнаружили у Петрашевского, Катенева, Дебу и многих других.

Двадцативосьмилетний Ф.М. Достоевский пережил настолько сильный стресс во время обряда казни, что его душевное заболевание перешло в новую, более тяжелую стадию — бессудорожные эквиваленты болезни вскоре отошли в тень; их вытеснили более опасные и серьезные проявления болезни — генерализованные судорожные припадки (*grand mal*).

В то же время казнь так действовала на прежние нестойкие убеждения Достоевского, что произошел решительный поворот в его сознании. В состоянии глубокого стресса, вызванного казнью, к нему пришло озарение, что жизнь — одна и ее нужно посвящать главному, что дано ему природой и богом, — литературе.

...После обряда казни кареты с приговоренными вернулись в крепость. Вскоре вместе с председателем Секретной следственной комиссии И.А. Набоковым совершил врачебный обход доктор Окель. Доктор зашел в каждую камеру, опросил и осмотрел каждого арестанта, желая удостовериться, не произвела ли церемония имитации казни слишком потрясающего впечатления, могущего отразиться на здоровье. В тот же день о результатах осмотра несчастных счастливых доктор Окель письменно доложил коменданту Петропавловской крепости. Из этого рапорта следует, что «отставной поручик Достоевский имеет золотушные раны во рту, которые с давнего

времени мною пользуются (т.е. лечатся. — *Авт.*)). О состоянии нервной системы и проявлениях «священной болезни» у Достоевского в рапорте он ничего не сообщает. Впрочем, имел ли этот тюремный врач достаточно высокие знания о нервных и психических заболеваниях, научное представление об эпилепсии? В архивах в официальных бумагах о состоянии эпилепсии Достоевского в период пребывания его в Петропавловской крепости нет никаких сведений. Ни одной строчки!

Зато на сотнях листов приводится содержание его допросов — безуспешных попыток доказать, что он — государственный преступник.

«Время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу»

Циничная и жестокая имитация казни оказала на психику Достоевского чудовищное воздействие. При следовании к месту отбывания наказания у него случился тяжелый генерализованный судорожный приступ «священной болезни» (*grand mal*).

Болезнь вступила в свою третью — прогрессирующую — стадию.

Анализируя душевную болезнь Ф.М. Достоевского, можно разделить ее течение на четыре стадии.

1 стадия — начальная — длилась от августа 1831 года, когда он в возрасте 9 лет и 9 месяцев почувствовал первые слуховые галлюцинации (человеческий голос «Волк бежит!»), до июня 1839 года, когда с ним случился первый в жизни судорожный приступ. Это была стадия первых бессудорожных проявлений «священной болезни».

2 стадия — манифестная (с июня 1839 года по декабрь 1849 года, возраст больного от 17 до 28 лет) — захватила большую часть первого, раннего петербургского периода жизни Ф.М. Достоевского и проявилась десятком больших судорожных припадков (*grand mal*), более редкими малыми припадками (*petit mal*), однако в клинической картине болезни пока значительно преобладали бессудорожные эквиваленты припадков в виде галлюцинаций, фобий, явлений деперсонализации и дереализации, пароксизмальных расстройств сна и дисфорий.

3 стадия — прогрессирующая (1850 — декабрь 1859 года, возраст пациента от 28 до 38 лет) — мучила пациента во время каторги и на поселении в Сибири. Она характеризовалась значительным прогрессированием заболевания, резким возрастанием числа и тяжести больших судорожных припадков, которые вытеснили или отодвинули на задний план малые припадки и бессудорожные эквиваленты заболевания.

4 стадия — полного развития заболевания (1860 — январь 1881 года, т.е. продолжалась до самой смерти писателя, возраст пациента от 38 до 59 лет) — характеризовалась окончательным развёртыванием классических клинических проявлений заболевания, значительным преобладанием генерализованных больших судорожных приступов, увеличением их числа и тяжести, нарушениями памяти, дисфориями и появлением легких и умеренных эпилептоидных черт характера.

Из Санкт-Петербурга гужевой «поезд», состоящий из трех кибиток с закованными в кандалы петрашевцами, выступил вечером 24 декабря 1849 года. В одной из кибиток везли Достоевского, Дурова и Ястржембского. Предстояло преодолеть 3000 верст по матушке-России в суровую пору с морозами и метелями по заснеженным зимним дорогам.

Наконец 9 января, через 16 дней пути, прибыли в Тобольск — прежнюю столицу Сибири. В тюремном замке — пересыльной тюрьме — их держали в холодной грязной камере с нарами. Здесь у Достоевского неожиданно произошел судорожный припадок падучей, при падении на каменный пол он ударился лицом и лбом и получил небольшую рану в лобной области.

На пересыльном пункте в Тобольске произошла незабываемая встреча с женами декабристов Н.Д. Фонвизиной и П.Е. Анненковой. Во время короткого свидания жены декабристов благословили петрашевцев и вручили всем по Евангелию. Это Священное писание Достоевский бережно хранил до самого последнего дня своей жизни.

По прибытии 23 января 1850 года в Омский каторжный острог, в котором предстояло пробыть ровно 4 года, т.е. 1460 томительных однообразных

дней, 28-летний Федор Михайлович Достоевский был подвергнут осмотру. В тюремной карточке отметили свежий красный рубец на лбу над левой бровью после ранения, когда он во время приступа падучей в Тобольске упал и ударился головой о каменный пол. Достоевского перековали: заменили дорожные 8-фунтовые кандалы на более тяжелые постоянные, 12-фунтовые. Отныне в кандалах он принужден был находиться постоянно все 4 года; в кандалах он ходил, работал (!), спал. Физически носить кандалы было очень тяжело. Они оставили отметины на всю последующую жизнь Достоевского в виде двух безобразных широких полос на коже.

Условия содержания в каторжном бараке были невыносимыми. Он был бревенчатым, но очень старым, с множеством щелей и худой крышей, поэтому продувался всеми ветрами, а с крыши часто капала вода. Небольшие оконца не открывались, барак не проветривался. Каторжан в бараке было набито множество, поэтому стояла в нем ужасная духота. Летом в бараке было нестерпимо жарко, зимой — очень холодно, а когда топили печь было угарно. В бараке, не переставая, слышались крики, мат, стоял вечный шум и гам.

Пребывание в душных, тесных помещениях с большим количеством людей и недостатком кислорода в воздухе является крайне вредным фактором для больных эпилепсией и, как правило, утяжеляет их состояние и провоцирует судорожные приступы¹⁸.

Спать приходилось на голых деревянных нарах без каких-либо постельных принадлежностей, одеялом служил короткий тулуп, который не прикрывал ноги. Да, и учтите, что спать-то было неудобно из-за кандалов на ногах! Плохой сон, частые пробуждения утяжеляют состояние больных эпилепсией, провоцируют приступы судорог.

Достаточно сказать, что депривация (лишение) сна ныне является основным методом диагностики (распознавания) скрытых и трудно диагностируемых случаев эпилепсии⁷. У такого неясного больного вызывают депривацию (лишение) ночного сна, накладывают электроды на голову и выполняют так называемую электро-

энцефалографию (ЭЭГ). Если у больного имеется эпилепсия, то при ЭЭГ после лишения сна обязательно регистрируется эпилептиформная активность — разряды, типичные для эпилепсии.

Таким образом, плохой, недостаточный сон ухудшает течение эпилепсии и провоцирует судорожные припадки.

Несмотря на тяжелый труд, пища в Омском остроге была низкокалорийной, некачественно приготовленной. Ели баланды, похлебку, ржаной хлеб. Давали большое количество соленой рыбы, что вызывало жажду, особенно в духоте барака. Об овощах можно было только мечтать. Во время поста давали только хлеб и капусту с водой.

В настоящее время установлено, что несбалансированное питание вызывает резкое ухудшение состояния больных эпилепсией. При этом заболевании нельзя злоупотреблять жидкостью и хлоридом натрия, т.е. поваренной солью; не разрешаются соленая и копченая рыба (сельдь, килька), меню должно включать много овощей и фруктов, содержащих витамины С, В₁, D и многие другие³³.

Ежедневно, без всяких выходных, каторжан выводили на работы. Работали по 12–14 часов в день.

Работать в первые месяцы пребывания в остроге, да еще в кандалах, Достоевскому было невыносимо трудно. После рабочего дня у него болело и ныло все тело, ладони были покрыты мозолями. Спасало то, что он от рождения был человеком крепкой конституции, это помогло ему в течение ближайших месяцев увеличить мышечную массу и начать справляться с трудной работой.

Существует перечень профессий, запрещенных больным эпилепсией. Они могут работать только в определенных условиях. Необходимо учитывать, что во время работы эпилептик может внезапно упасть и тяжело травмироваться. Поэтому эпилептикам нельзя работать на высоте, с движущимися механизмами; им запрещается работа во вредных условиях, когда в воздухе содержатся пары и взвеси ядовитых веществ и токсинов; на холоде, в воде, при высокой влажности.

Подавляющее большинство работ, которые Ф.М. Достоевский был вынужден выполнять на каторге, не реко-

мендуется больным эпилепсией, ибо утяжеляют состояние их болезни и могут провоцировать конвульсии. По наблюдениям профессора А.И. Болдырева³, любая тяжелая многочасовая физическая работа является существенным фактором, провоцирующим возникновение у эпилептиков судорожных припадков.

Таким образом, на каторге в Сибири существенными негативными факторами, утяжелявшими состояние заболевания Достоевского и провоцировавшими возникновение у него генерализованных судорожных приступов, являлись: 1) условия проживания его в многонаселенном бараке (скученность, духота, нехватка кислорода в воздухе, шум); 2) поверхностный, неполноценный сон, не приносящий отдыха мозгу и нервной системе; 3) низкокалорийная, недостаточно витаминизированная пища с избытком соленой рыбы, нехваткой овощей и отсутствием в рационе фруктов; 4) вынужденное избыточное употребление жидкости; 5) работа во вредных условиях, запрещенная больным эпилепсией (изготовление алебастра, кирпичей, малярные и штукатурные работы, ломка барок в холодной воде и др.); 6) тяжелый ежедневный многочасовой физический труд без выходных.

К этим шести негативным факторам нужно присоединить 7-й, психогенный фактор, играющий громадную роль в течении эпилепсии и часто провоцирующий судорожные припадки⁷.

Тяжелым моральным страданием отныне стало ощущение себя государственным преступником. Как политический каторжник, Достоевский был лишен не только свободы, но и всех человеческих прав. У него отняли право на свидания с родственниками, на переписку с ними, право на чтение любой литературы, кроме религиозной.

Главным же страданием для писателя Достоевского было лишение его права заниматься литературной деятельностью!

Само попадание в среду уголовников — убийц, насильников, воров, бродяг — оказало на Федора Михайловича жестокое психотравмирующее воздействие. С ними предстояло жить в одном тесном бараке, спать рядом, вместе есть, дышать одним возду-

хом. Достоевский попытался сразу по-доброму сблизиться с этими преступниками. Но они не захотели этого сближения. И Достоевский в первые два года в Омском остроге жил в атмосфере ненависти к нему со стороны почти всех каторжан из-за его принадлежности к дворянству. И охранники относились к нему, впрочем, как и к другим арестантам, чрезмерно строго. Да еще и болезнь на каторге сразу усилилась, а после каждого приступа падучей дисфория мучила. Поэтому так мрачен и угрюм он казался со стороны.

Бывший каторжник А.К. Рожновский вспоминал: «Когда в острог пришел Достоевский, то с первого раза сильно не понравился «ватаге». Но затем он заслужил доверие каторжан... Иногда, бывало, ночью как начнет его бить об нары, так мы его сейчас свяжем куртками, он и успокоится»⁴⁴.

Василий Григорьевич Кривцов (1804–1861), плац-майор Омского каторжного острога, изображен писателем в «Записках из Мертвого дома» под прозвищем «Восьмиглазый». Это о нем Федор Михайлович впоследствии написал брату Михаилу Михайловичу: «Кривцов — каналья, каких мало».

Миновало полгода каторги. Достоевский, в отличие от Дурова, был старателен, дисциплину не нарушал, работал добросовестно. В общем, придаться к нему было фактически не за что. Однако пристала к нему падучая, и начался неожиданно-негаданно новый приступ, било-колотило его на нарах до посинения. А после лежал он, укрывшись тулупчиком, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, бледный, не способный ни к какой работе.

Тут-то и словил его этот садист, Вася Восьмиглазый.

— Кто позволил? Кто разрешил тебе, скотина, днем лежать на нарах? Кто, сучья морда, от работы ты освободил?

А Достоевский после приступа был так слаб, что не в силах был ни слова вымолвить в ответ, сказать что-либо в свое оправдание. Язык не слушался его, и губы только мычали, выводя что-то нечленораздельное.

— В кордегардию яво! Выпороть яво, выпороть! — в бешенстве вопил Кривцов.

Историки литературы, писатели и даже свидетели-очевидцы по-разному передают эту историю, случившуюся между плац-майором Кривцовым и больным арестантом Достоевским, после которой произошло резкое прогрессирование эпилепсии у писателя.

В связи с этим я не исключаю, что роковой эпизод между ними не был единичным. И, вполне возможно, не один раз Кривцов наблюдал припадки падучей у Достоевского и вместо сострадания к больному, естественного для любого нормального человека, пытался его побольнее унизить и каким-то образом дополнительно наказать.

Врач А.Е. Ризенкамф, знавший Достоевского еще по Санкт-Петербургу, в дальнейшем, вскоре после освобождения писателя, служил доктором в Омском военном госпитале. Он был знаком и с историей конфликта между плац-майором Кривцовым и Достоевским, и с историей болезни писателя, беседуя непосредственно со свидетелями — старшим врачом И.И. Троицким, другими докторами и сотрудниками госпиталя, в котором лечился писатель, и с караульными острога.

А.Е. Ризенкамф писал, что, «несмотря на теплое участие врачей, других представителей сибирской интеллигенции в судьбе писателя, автор первого в России социального романа «Бедные люди» подвергся, однако, преследованию со стороны Омского коменданта генерал-майора де Граве и ближайшего его сподвижника плац-майора Кривцова». Последний дошел до того, что «...выписал Достоевского из госпиталя, чтобы назначить его к исполнению самых унижительных работ вместе с другими арестантами, а вследствие некоторых возражений (со стороны Федора Михайловича) даже подверг его телесному наказанию. Вы не представите себе ужас друзей писателя, бывших свидетелями, как, вследствие экзекуции, в присутствии личного его врага Кривцова, Федор Михайлович, при его нервном темпераменте, при его самолюбии, в 1851 году в первый раз поражен был припадком эпилепсии, повторявшимся после того ежемесячно»⁴⁵.

Обратим внимание, что Александр Егорович имеет в виду эпизод, случившийся не в 1850-м, а в 1851 году и связанный с преждевременной вы-

пиской Достоевского из госпиталя по требованию Кривцова и «некоторыми возражениями» на этот счет пациента госпиталя Достоевского.

Сопоставляя различные материалы и свидетельства, становится ясно, что этот приступ эпилепсии был уже далеко не первым, наблюдавшимся у Достоевского в Омском остроге.

Совершенно по-иному описывает трагический эпизод, разыгравшийся между Кривцовым и Достоевским, послуживший причиной обострения заболевания у писателя, литератор П.К. Мартыанов. Он разговаривал с живыми свидетелями — разжалованными гардемаринами Петербургского морского кадетского корпуса, которые служили караульными солдатами в Омском остроге.

П.К. Мартыанов пишет: «Оставленный однажды для работ в остроге, он находился в своей казарме и лежал на нарах. Вдруг приехал плац-майор Кривцов — этот описанный в «Записках из Мертвого дома» зверь в образе человека.

— Это что такое? — закричал он, увидя Федора Михайловича на нарах. — Почему он не на работе?

— Болен, ваше высокоблагородие, — отвечал находившийся в карауле за начальника «морячок», сопровождавший плац-майора в камеры острога, — с ним был припадок падучей болезни.

— Вздор!.. Я знаю, что вы потачете им!.. в кордегардию его!.. розог!..

Пока стащили с нар и отвели в кордегардию действительно заболевшего петрашевца, караульный начальник послал к коменданту ефрейтора с докладом о случившемся. Генерал де Граве тотчас приехал и остановил приготовления к экзекуции»⁴⁶.

Однако, по свидетельству Рожновского⁴⁴, после 50 розог Достоевский был помещен в больницу; после экзекуции у него стали наблюдаться приступы судорог, которые Рожновский лично наблюдал затем в бараке и даже оказывал эпилептику посильную помощь.

Течение «священной болезни» на каторге

Когда все же на каторге начались у Достоевского припадки, и как часто они были?

Многое дает свидетельство врача Омского военного госпиталя А.Е. Ризенкампа. Он получил сведения от главного врача госпиталя И.И. Троицкого, который непосредственно лечил эпилепсию Достоевского все четыре года пребывания писателя на каторге.

Обращаю внимание читателей на тот важный фрагмент воспоминаний А.Е. Ризенкампа, который свидетельствует о первом приступе эпилепсии у Достоевского в Омском остроге и частоте этих приступов: «Федор Михайлович... в 1851 году в первый раз поражен был припадком эпилепсии, повторявшимся после того ежемесячно»⁴⁵.

Здесь нужно внести небольшую поправку. В этом же воспоминании Ризенкамп утверждает, что первый приступ случился после первого конфликта Достоевского с плац-майором Кривцовым. По всем материалам, первый конфликт между ними произошел через полгода пребывания Достоевского в остроге, т.е. приблизительно в июле 1850 года.

Этот же 1850 год, как начало судорожных припадков эпилепсии при отбывании наказания петрашевца Ф.М. Достоевского, фигурирует в ряде официальных государственных документов арестанта. Для примера назову только один из них.

В марте 1858 года командующий Отдельным Сибирским корпусом, генерал Г.Х. Гасфорт, подал рапорт на высочайшее имя с прошением об отставке прапорщика Федора Михайловича Достоевского по состоянию здоровья. К рапорту было приложено составленное врачами подробное медицинское свидетельство Ф.М. Достоевского, текст которого начинался словами: «В 1850 году в первый раз подвергся припадку падучей болезни (Epilepsia), которая обнаруживалась: вскрикиванием, потерей сознания, судорогами конечностей и лица, пеною перед ртом, хрипучим дыханием, с малым, скорым, сокращенным пульсом. Припадок продолжался 15 минут. Затем следовала общая слабость и возврат сознания»⁴⁷.

Таким образом, первый судорожный припадок эпилепсии при пребывании в Омском каторжном остроге возник у Ф.М. Достоевского не в 1851-м, а в 1850 году. Предположительно — это июль.

По цитированному описанию приступа в медицинском свидетельстве, это был классический *grand mal*, т.е. генерализованный судорожный припадок. Только продолжительность его, вероятно для убедительности, завышена (по всем другим свидетельствам, *grand mal* у Достоевского длилась 2–3 минуты, после чего судороги прекращались, но наступала так называемая постиктальная (послеприпадочная) фаза продолжительностью около 15 минут, когда он медленно приходил в сознание).

Судорожный приступ эпилепсии, случившийся у Достоевского по пути следования в Омский острог в Тобольской пересыльной тюрьме в период с 9 по 20 января 1850 года, не был нигде зафиксирован и не вошел в официальные медицинские документы, оставив только телесное свидетельство — рубец на лбу после падения во время приступа.

Поскольку доктор А.Е. Ризенкамп, опирающийся на абсолютно точные сведения И.И. Троицкого, лично наблюдавшего арестанта Ф.М. Достоевского все четыре года каторги, утверждает, что припадки эпилепсии у него случались в среднем раз в месяц, вытекает, что с июля 1850 по 23 января 1854 года (дата освобождения Достоевского из Омского острога) больной перенес приблизительно 43 больших судорожных приступа эпилепсии (*grand mal*).

В клинической картине эпилепсии в период каторги произошли значительные изменения, связанные с прогрессированием болезни под влиянием ежедневного длительного пребывания в душном, тесном помещении с недостаточным содержанием кислорода, неадекватного питания и питьевого режима, неполноценного сна, тяжелой многочасовой ежедневной физической работы, нередко сопряженной с вредными условиями труда, частых острых психических травм на фоне хронического стрессового состояния нервной системы.

Прогрессирование болезни привело к закономерному возрастанию числа наиболее тяжелых проявлений заболевания в виде больших судорожных припадков (*grand mal*), вытеснению ими более легких проявлений заболевания — малых припадков (*petit mal*)

и большинства бессудорожных эквивалентов эпилепсии (явлений деперсонализации и дереализации, галлюцинаций, многих фобий).

Подобные процессы, по данным академика В.А. Карлова¹⁸, P.Wolf'a¹⁰ и многих других выдающихся эпилептологов, являются закономерным следствием течения заболевания, когда эпилепсия прогрессирует.

Кошмарные сны сохранялись у Ф.М. Достоевского весь период каторги, а проявления дисфории маскировались общим тяжелым, постоянно угнетенным состоянием психики, связанным с бесправным, унижительным положением осужденного.

Ф.М. Достоевский чутко уловил изменения в течении своего заболевания. Я уже частично приводил содержание его беседы с Вс. С. Соловьевым³⁶, то, что он испытывал и чувствовал до каторги. Настало время привести проявления болезни во время и после каторги и сравнить их с докаторжным периодом, чтобы читатели могли почувствовать разницу.

Вот что он дальше говорит: «И странно — как только я был арестован — вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири и никогда потом я ее не испытывал»³⁶.

В действительности же, болезнь просто перестраивалась, скрытно усугубляясь; те более легкие формы ее (включая фобии, явления дереализации, галлюцинации), которые представлялись «мучительными» для больного в основном потому, что были непонятны ему, проходили, заменяясь на более тяжелую и значительно более опасную форму болезни — большие судорожные припадки. Одновременно исподволь, в результате прогрессирования болезни происходили процессы, которые в далеком будущем, через 15–20 лет, грозили ослаблением функций головного мозга, особенно памяти.

Эти неумолимые законы развития данной коварнейшей болезни подтверждаются заключительной частью рассказа писателя: «Но во время каторги со мной случился... припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает. Все, что было со мною до этого первого припадка (писатель имеет в виду не первый в жизни, а первый судорожный припадок, который он пере-

нес на каторге. — *Авт.*), каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, все, что я читал, слышал, — я помню до мельчайших подробностей. Все, что началось после первого припадка [на каторге], я очень часто забываю, иногда забываю совсем людей, которых знал хорошо, забываю лица. Забыл все, что написал после каторги; когда дописывал «Бесы», то должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц»³⁶.

Но пока еще Ф.М. Достоевскому не грозило расстройство памяти и других когнитивных (т.е. связанных с мыслительными процессами) функций головного мозга. Ведь только что проанализированная беседа писателя с Всеволодом Сергеевичем Соловьевым состоялась через два десятилетия после отбывания каторги, в 1873 году.

И пораженный «священной болезнью» гениальный мозг писателя после перенесенной каторги еще долго сопротивлялся, противодействуя необратимым изменениям, которые вроде бы должны закончиться чуть ли не слабоумием большинства больных эпилепсией. Однако даже при длительном течении заболевания до 30–40% эпилептиков полностью или почти полностью сохраняют мыслительные процессы, способны к творчеству^{3,10,18}.

В феврале 1850 года каторжанин Федор Достоевский в первый раз оказался на стационарном лечении в Омском военном госпитале.

Он лечился в одной из двух арестантских палат. Лечащий палатный врач был молод, но достаточно квалифицирован и знал свое врачебное дело.

Иван Иванович Троицкий являлся старшим врачом госпиталя, т.е., по современному, главным врачом-руководителем, который отвечает за лечение всех больных в госпитале и следит за нормальным функционированием лечебного учреждения. По должности, как старший доктор, Троицкий должен был знать больных госпиталя, периодически их осматривать, корректировать лечение, назначенное палатными докторами.

При первой госпитализации Достоевского в феврале 1850 года И.И. Тро-

ицкий сам лично помимо ординатора тщательно осмотрел пациента. Особое внимание он уделил обследованию нервной системы больного.

На больного Достоевского в госпитале был заведен, как и положено было уже в то время, «скорбный лист» (так тогда называли историю болезни). К сожалению, отыскать «скорбный лист» Ф.М. Достоевского краеведам не удалось. Однако И.И. Троицкий помимо «скорбного листа», который вел ординатор, оставил короткое описание болезни Ф.М. Достоевского, при этом обратил особое внимание на «нервный пульс, как у людей нервного темперамента», ревматизм в ногах и падучую болезнь.

Первый курс лечения Достоевского в Омском военном госпитале оказался успешным. И.И. Троицкий точно установил диагноз нервно-психического заболевания Ф.М. Достоевского: эпилепсия (падучая болезнь).

В то время в медицинской практике не было противосудорожных и других специфических препаратов для лечения эпилепсии; наука их еще не открыла. Поэтому эпилептиков лечили симптоматически, т.е. снимая различные симптомы, проявления болезни. Использовали фитотерапию (растительные средства). Выполняли кровопускание, считая этот метод панацеей от всех болезней. Применяли диету. При эпилепсии не должно быть избыточного употребления жидкости, соли, возбуждающих средств и специй.

Конкретно от падучей болезни, чтобы она не прогрессировала и чтобы прошли или уменьшились судорожные припадки, в России в XIX веке применяли четыре основных растительных средства в виде настоев и отваров: аир болотный, колокольчик сибирский, пион уклоняющийся и пуштырник. И.И. Троицкий сам лично готовил в госпитале настои и отвары.

Больной Достоевский был выписан из стационара через 12 дней в хорошем состоянии, без головных болей и кошмарных сновидений, с отличным настроением и отсутствием предвестников судорожного приступа.

Однако, попав снова в острожный барак, в его духоту, тесноту и гам, в скопище большого числа людей, втиснутых в небольшое непроветриваемое пространство; ежедневно выполняя

тяжелую физическую работу, плохо питаясь, Достоевский через некоторое время вновь почувствовал ухудшение состояния.

И все же благодаря полученному лечению в Омском военном госпитале он не имел приступов эпилепсии с конца января по июль 1850 года, т.е. около полугода.

П.К. Мартыанов пишет: «Большое участие в петрашевцах [Дурове и Достоевском] принимал старший доктор госпиталя Троицкий. Он иногда общался им через «морячков», что они теперь могут (тот или другой) прийти в госпиталь на передышку, и они отправлялись и вылеживали там по нескольку недель, получая хороший сытный стол, чай, вино и другие предметы, частью с госпитальной, частью с докторской кухни»⁴⁶.

Это воспоминание П.К. Мартыанова, которое добросовестно помещают в свои книги и статьи все достоевские, выглядит слишком фантастично и не совсем достоверно. П.К. Мартыанов с подачи «морячков» описывает, будто Достоевский не каторгу отбывал, а отдыхал на курорте. Особенно удивляет упоминание о вине, которое Достоевский и на свободе-то практически никогда не пил.

Прежде всего уясним, что такое представляли из себя эти герои-«морячки»? Это были семь бывших курсантов Петербургского морского кадетского корпуса, которых за мелкие нарушения в октябре 1849 года разжаловали в рядовые солдаты и отправили служить караульными охранниками в Омский острог, таким образом, это был «костяк» охранников Омского каторжного острога в 1850-х годах, когда арестант Достоевский звенел там кандалами.

Если вернуться с этих позиций к очерку П.К. Мартыанова, становится понятно, почему «морячки»-караульщики таким неприглядным обрисовали литератору внешний вид Ф.М. Достоевского, подчеркнув, что он «взгляд имел угрюмый, неприятный», «глаза опускал в землю», «открывал рот только для отрывистых и коротких ответов по делу», «смотрел волком в западне». А каким он должен был быть при встрече с охранниками? Ведь перед ним были люди, которые его караулили, заставляли выполнять

подневольный труд, лишали его свободы!

Вернемся к уже процитированному⁴⁶ рассказу охранников-«морячков» о «сладкой» жизни Достоевского в остроге, о том, что он очень часто лежал в госпитале, вылеживая там «по несколько недель, получая хороший сытный стол, чай, вино... частью с докторской кухни».

В этой бессовестной «басне» выплескивается вся недоброжелательность караульных к «странному» арестанту Достоевскому.

В действительности Достоевский находился на лечении в госпитале считанное количество раз, в среднем раз в 8 месяцев. Он не «вылеживался», как здоровый человек, желающий отдохнуть от барака и работ, а всякий раз госпитализировался по показаниям, имея прогрессирующую эпилепсию; находился на больничной койке по 10–12 дней (столько суток было положено лечить в военном госпитале больных с эпилепсией и прочими заболеваниями нервной системы). Питался он пищей из больничной кухни, получая свой стол — «порцию», положенную больным эпилепсией. Между прочим, в госпитале была одна кухня, где готовилась одинаковая пища для всех — и больных, и врачей. Доктора в обед ели то же самое, что и обычные больные. Упоминаемый крепкий чай Достоевский не любил, пил очень разбавленный (по свидетельству петербургского доктора С.Д. Яновского, его чай напоминал «теплую водицу»). Вино Достоевский принципиально не употреблял с начала 1840-х годов. Причина была проста: крепкий чай и вино провоцировали у него, как и всех других эпилептиков, судорожные приступы.

Как бы Иван Иванович смог покорить Достоевского чем-то особым, привезенным из дома, и попотчевать его вином? Здесь были проблемы. Многие историки литературы не знают, как содержался Достоевский в военном госпитале. А он размещался в одной большой арестантской палате, которая круглосуточно была заперта на ключ, а у двери в нее стоял часовой с оружием. Достоевского, как и других больных арестантов, никуда не выпускали. Часовой старшему доктору И.И. Троицкому по должно-

сти не подчинялся. Он лишь мог его и других врачей впустить в палату для осмотра и лечения больных. Пищу персонал кухни приносил прямо в палату.

А как выглядит со стороны пронос в палату вина старшим доктором? Ведь он по своей должности обязан следить за порядком в госпитале, где за употребление алкоголя следует немедленная выписка за нарушение режима! Вино — явная выдумка «морячков», в которую поверил П.К. Мартыанов.

Перевязки в арестантской палате обычно выполнял молодой фельдшер Н.Е. Гладышев, которому с большим желанием помогал Ф.М. Достоевский. Н. Яковлев в 1880-х годах встречался с Н.Е. Гладышевым, который рассказал ему о Ф.М. Достоевском. По воспоминаниям бывшего фельдшера Омского военного госпиталя, Достоевского чаще всего госпитализировали в арестантскую палату после очень уж тяжелых приступов эпилепсии, которые случались с ним в острожном бараке. По словам Гладышева, Достоевский всегда оказывал ему большую помощь, ухаживая за приводимыми в госпиталь после экзекуций солдатами и арестантами. Достоевский обмывал и перевязывал им раны и осуществлял прочий уход. «Никто в госпитале не относился так мягко и нежно к наказанному, как Достоевский!» — заключил Гладышев в конце своего воспоминания.

Находясь на лечении в госпитале и обнаружив заботливое и дружеское отношение к себе И.И. Троицкого, Федор Михайлович рискнул и попросил старшего доктора снабдить его бумагой, пером и чернилами, чтобы делать какие-то записи, наброски к будущим литературным сочинениям.

Небольшие стандартные больничные листочки бумаги со своими записями Достоевский уже после отбывания каторги объединил, пронумеровал и сшил разными нитками, превратив в маленькую самодельную тетрадку, которую потом называл «Моя тетрадка каторжная», а в литературоведении она сейчас громко называется «Сибирской тетрадью». В ней 28 листочков, 55 страничек текста, написанного мелким почерком.

В остроге Ф.М. Достоевский был лишен возможности писать письма. Однако в первом же письме после освобождения он известил брата Михаила Михайловича, что на каторге приобрел «священную болезнь»: «...От расстройства нервов у меня случилась падучая, но, впрочем, бывает редко». Ежемесячно — это редко?! Через 6 месяцев после освобождения он вновь сообщает старшему брату: «Вообще, каторга... много привила ко мне. Я, например, уже писал тебе о моей болезни. Странные припадки, похожие на падучую, и, однако ж, не падучая».

Эти строки писем требуют пояснений.

Во-первых, почему Достоевский написал, что приобрел болезнь на каторге? Ведь он перенес около 10 судорожных приступов в докаторжный период, проживая в Санкт-Петербурге. Во-вторых, почему он сомневается, что у него падучая, считая, что имеет «припадки, похожие на падучую»?

Очевидно, Федор Михайлович прежде, проживая в Санкт-Петербурге, не сообщал о своих припадках «священной болезни» старшему брату, который много лет жил в Ревеле (Таллинне). Он говорил лишь о неких «приливах крови в голову». Не знал о припадках и Андрей Михайлович. Очевидно, Федор Михайлович не хотел их расстраивать.

К тому же большие судорожные приступы болезни тогда были крайне редки. На каторге же, в связи с тяжелыми условиями содержания и постоянными стрессами, большие судорожные припадки стали регулярными. Утаивать их от старшего любимого брата не имело смысла, да и вряд ли это было сейчас возможно.

Большой эпилепсией не видит сам свои судорожные приступы, находясь при них без сознания. Он узнает, что у него произошли конвульсии, только со слов окружающих, часто незнакомых, лиц, не умеющих порою связно рассказать, что с ним произошло. Поэтому у Достоевского и могли периодически возникать сомнения о наличии у него именно падучей болезни, заболевания, которое в то время считалось наследственным со всеми вытекающими обстоятельствами (нежелательностью иметь детей, слабоумием и т.п.).

После освобождения у Достоевского длительное время не было судорожных приступов, батальонные лекари в Семипалатинске не видели их; свои сомнения о наличии у него падучей они высказывали и больному. Достоевский начал сомневаться в genuинной эпилепсии, диагноз которой абсолютно точно поставил ему И.И. Троицкий. Недостаточно профессиональные батальонные лекари внушили ему мысль, что его эпилепсия — не настоящая (не наследственная), а является симптомом его воспалительных заболеваний и тяжелых условий содержания, т.е. имеет симптоматический характер. И до февраля 1857 года Достоевский будет сомневаться в наличии у него настоящей, т.е. genuинной, эпилепсии.

Но эти сомнения будут периодически одолевать его уже на поселении в Семипалатинске, а на каторге старший доктор военного госпиталя И.И. Троицкий без колебаний заявил арестанту Федору Достоевскому, что тот имеет genuинную эпилепсию.

Солдатчина

После каторги Федору Достоевскому предстояло наказание в виде срочной службы солдатом в Сибири. Если бы его потом не простили, возвратив дворянство и присвоив офицерское звание, а затем не комиссовали по болезни, то он бы всю свою жизнь так и прослужил простым солдатом!

Достоевский был зачислен рядовым солдатом в 7-й Сибирский линейный батальон, который дислоцировался в Семипалатинске. Уже весной 1854 года 32-летний рядовой Федор Достоевский встретил в Семипалатинске свою первую любовь. Девушку звали Лиза, точнее — Елизавета Неворова. И было этой красавице всего лишь 17 лет. Они встречались около 8 месяцев и были очень счастливы. Более 40 лет искал я сведения об этой замечательной сибирской девушке и только недавно опубликовал о ней повесть «Первая любовь Федора Достоевского»⁴⁸.

Какое чудесное было время!

Освобождение из Омского острога и от кандалов, яркое степное солнце южного городка Семипалатинска, первая любовь! И все это — 1854 год.

Целый год Федор чувствовал себя почти здоровым. Представьте только — за весь год у него не было ни одного судорожного приступа! Улучшился сон, перестали беспокоить кошмарные сновидения, а вместо них в снах являлась чудесная кареглазая девушка; отсутствовали дисфории — настроение было почти прекрасным и безоблачным.

В Семипалатинске его лечили преимущественно два доктора, в разные годы занимавшие должность лекаря 7-го Сибирского линейного батальона, в котором служил рядовой Федор Достоевский. Первым был молодой поляк Станислав Августович Ламонт. Его все называли доктором, но врачебного диплома он не имел. Обучаясь на старшем курсе медицинского факультета Виленского университета, он за участие в тайной политической организации был выслан в Семипалатинск, где был вскоре, в связи с острой нехваткой здесь медицинского персонала, определен батальонным лекарем. Можно представить уровень медицинских знаний по эпилепсии у этого молоденького недоучившегося студента.

Вторым доктором в батальоне был некто Ермаков, который имел диплом врача, но особых познаний именно по эпилепсии у него не было.

Впоследствии, в 1859 году, Достоевский писал Э.И. Тотлебену о провинциальных докторях, имея в виду двух прежних семипалатинских лекарей: «Я знаю, что такая болезнь, как моя, — болезнь трудная, не только для обыкновенного доктора, но даже и для доктора-специалиста по этой части. Доктора же губернские, сколько я присматривался к ним, двух разрядов: или молодые, только что выпущенные из университетов, или старики, люди достойные всякого уважения, но совершенно забывшие медицину. Лечиться у них — себя портить и мучить».

В 1854 году, после освобождения из острога, у Достоевского не было больших судорожных приступов, но в последующие годы они возобновились. Непонятно, по каким причинам Ламонт и затем доктор Ермаков до тяжелейшего «барнаульского» судорожного приступа, т.е. до февраля 1857 года, обнадеживали Достоевского утверждением, что якобы

настоящей эпилепсии у него нет. Под словом «настоящая» понималась наследственная эпилепсия, самая частая в то время форма заболевания, которая якобы всем грозила слабоумием. Семипалатинские медики считали, что Достоевский имеет так называемую симптоматическую эпилепсию, которая развилась у него не в результате наследственных факторов, а явилась следствием скрытых воспалительных процессов в оболочках головного мозга, переохлаждений и других неблагоприятных факторов каторги. Они, как и многие врачи того времени, ошибочно считали, что симптоматическая эпилепсия — более легкое заболевание, чем генуинная (наследственная, настоящая) эпилепсия.

Конечно, старший доктор Омского острога И.И. Троицкий был более квалифицированным специалистом, чем семипалатинские батальонные лекари.

Как бы то ни было, и Ламонт, и Ермаков эпилепсию Достоевского основательно подзапустили. Несмотря на благоприятные условия (степной южный климат, отсутствие тяжелой каторжной работы и больших стрессовых ситуаций) и длительную ремиссию⁴⁹ заболевания в 1854 году, в дальнейшем больного вновь стали беспокоить тяжелые *grand mal*.

Первый после каторги большой судорожный приступ наступил у Достоевского весной 1855 года. Этот эпизод я уже приводил в пересказе Софьи Ковалевской³⁰. Достоевский сообщил ей и ее сестре, что приступ произошел в ночь на Пасху.

Поскольку первую весну и, соответственно, первую Пасху в Семипалатинске Достоевский провел в казарме 7-го Сибирского линейного батальона, речь идет о весне 1855 года, когда Достоевский уже снимал частную квартиру в покосившемся домике у старенькой солдатской вдовы.

Пасха в 1855 году по церковному календарю приходилась на 27 марта, т.е. судорожный приступ случился в ночь на 27 марта 1855 года.

К Достоевскому накануне неожиданно нагрянул, как он выразился, «старый товарищ», петрашевец, приехавший к нему в Семипалатинск.

Стояла изумительная южная ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Вблизи скособоченной хатки

Достоевского возвышался Знаменский собор.

Старые товарищи всю ночь, сидя в домике и, возможно, слегка выпив по случаю встречи, разговаривали о литературе, искусстве, философии. Наконец возник ожесточенный спор о религии. Оба были ее знатоками, однако один являлся убежденным атеистом, второй — истинно верующим православным человеком.

Достоевский все более и более возбуждался...

— Есть Бог, есть! — вдруг вскричал Федор Михайлович, вне себя от возбуждения, отчаянно жестикулируя и смотря куда-то вдаль, мимо собеседника. В эту самую минуту ударили колокола Знаменского собора к светлой Христовый заутрене.

Воздух весь загудел и заколыхался перед глазами возбужденного Федора Михайловича. Он ясно почувствовал, будто небо сошло на землю и поглотило его (галлюцинации, бред). «Я реально постиг Бога и проникнулся им», — вспоминал он.

— Да, есть Бог! — закричал в экстазе Достоевский, вздевая руки вверх и блаженно улыбаясь.

Больше он ничего не помнил. Черная пелена встала перед глазами, он издал страшный нечеловеческий вопль и, потеряв сознание, упал со стула на пол. Руки, ноги, туловище — все тело билось в жестоких конвульсиях. Лицо посинело, глаза широко раскрылись, пена выступила на губах.

Его старый товарищ с беспокойством бегал вокруг бьющегося в судорогах человека, растерялся и не знал, что предпринять. Наконец он догадался, что должен делать, схватил со стола ложку, разжал челюсти больного и вложил ее между ними.

— Что это со мной было? Припадок? — жалобно спросил Достоевский через три минуты конвульсий, после судорог пришедший в себя.

...Давайте проанализируем этот случай с медицинской точки зрения.

Перед припадком, в процессе ожесточенного спора, у больного возникло острое психотическое состояние, которое в редких случаях может наблюдаться при эпилепсии. У пациента слегка помутилось сознание, появились фантастические галлюцинации, переживания, граничащие с бредом.

Звон церковных колоколов, созвучный с темой, переживаемой больным, многократно усилил психоз. Достоевский пережил видения религиозного содержания со сверхэмоциональным экстастическим состоянием восторга, ощущением невозможного счастья, радости, блаженства от осознания, что Бог действительно есть, что он реально видит его перед собою.

Выдающийся отечественный эпиптолог, академик В.А. Карлов, неоднократно наблюдал подобные острые психотические состояния у больных эпилепсией, в том числе сопряженные с припадком. Он отмечал, что больные в таком состоянии испытывают фантастические галлюцинации, бред; галлюцинаторные и иллюзорные образы перемешиваются с реальными фактами и с калейдоскопической быстротой пролетают в сознании пациента. Чаще всего переживаются космогонические или религиозные события; все это сопровождается экстазом с ощущением восторга и невероятной радости, счастья, блаженства⁷.

Больная любовь

Вторую возлюбленную Достоевского звали Мария Дмитриевна Исаева (1825–1864). Она являлась женой мелкого таможенного чиновника Александра Ивановича Исаева, который страдал хроническим алкоголизмом и чахоткой. У них был сын Павел, родившийся в 1846 году.

Мария Дмитриевна была образованна, отлично знала французский язык, прекрасно играла на фортепиано. В молодости она была красива. Но, главное, она знала подходы к мужскому сердцу, была искусна в умении завлекать мужчин.

Чистая, светлая и добрая простушка Лиза Неворотова, базарная калашница, была быстро вытеснена из сердца Федора Достоевского значительно более возрастной, но и более образованной и изысканной женщиной, умеющей подать себя, войти в доверие к мужчинам, еще недостаточно знающим женщин и их хитрости.

Солдат Федор Достоевский стал появляться на квартире чиновника Исаева осенью 1854 года, причем Александр Иванович сам пригласил его пообщаться и поговорить о лите-

ратуре. Любовные отношения между Федором Михайловичем и Марией Дмитриевной возникли зимой, в начале 1855 года. И сразу приобрели бурный характер.

На мой взгляд, наиболее точно отношение М.Д. Исаевой к Ф.М. Достоевскому выразил очевидец событий — А.Е. Врангель, который так обрисовал события: «Марии Дмитриевне было лет за тридцать; довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная. В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека. Возможно, что даже привязалась к нему, но влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него падучая болезнь, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он «без будущности», говорила она. Федор же Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости».

Однако 21 мая 1855 года Исаевы переезжают в Кузнецк, где Александр Иванович получил должность заседателя по корчемной части. Вскоре он умер, а молодая вдова крутит роман с учителем Н.Б. Вергуновым. Тем не менее она ведет оживленную переписку с Достоевским, который страстно влюблен в нее и страдает от разлуки.

1855 год был отмечен возобновлением больших судорожных припадков (*grand mal*).

Решающую роль в их возобновлении сыграли бурная болезненная любовь Достоевского к Марии Исаевой, ее неадекватное поведение в ответ на проявления его любви, разлука с любимой, переживания от содержания ее писем.

Возможно, некоторую роль сыграло употребление Достоевским алкоголя (очень умеренное, но все же!) во время посещений по вечерам семьи Исаевых (до их отъезда), ибо выпивать с Александром Ивановичем ему иногда все же приходилось.

Первый приступ (после 14-месячного перерыва) случился, напомним, в ночь на Пасху 27 марта 1855 года. Напрямую приступ не имел связи с Марией Дмитриевной, произошел во время приезда к Достоевскому старого

товарища (возможно, была и выпивка по случаю встречи), но косвенное значение сложные и запутанные отношения с ней в провоцировании даже и этого припадка могли иметь место.

А после этого тяжелого приступа большие судорожные припадки у Федора Михайловича начались один за другим.

Вот что свидетельствует его замечательный друг А.Е. Врангель: «Не обойду молчанием и то, что мне известно о припадках падучей болезни Федора Михайловича. Бог миловал, я лично никогда свидетелем их не был. Но знаю, что припадки бывали довольно часто; обыкновенно его хозяйка немедленно давала мне знать. После припадка он чувствовал себя всегда дня два-три разбитым, вялым, мысли не вязались, голова не работала. Первые признаки болезни, как он утверждал, появились еще в Петербурге, а развилась она на каторге. В Семипалатинске припадки случались через три месяца. Приближение их он чувствовал и говорил, что перед приступом его тело охватывает какое-то невыразимое чувство сладострастия. Жутко было видеть в эти минуты этого страдальца, да еще при таких жизненных условиях; жалок и беспомощен он был после каждого пароксизма!»

Этот фрагмент воспоминаний Александра Егоровича имеет большое значение.

Во-первых, он свидетельствует о частоте припадков в 1855 году. Хозяйка квартиры, солдатская вдова, вызывала Александра Егоровича к больному на следующий день после припадков. Врангель уехал из Семипалатинска к другому месту службы в конце декабря того же года. Учитывая указанную Александром Егоровичем частоту пароксизмов — в среднем раз в 3 месяца, — получается, что в 1855 году Федор Михайлович перенес не менее четырех больших судорожных приступов (*grand mal*) падучей болезни.

Врангель первым из авторов утверждает, что в начале припадка, перед потерей сознания и наступлением судорог, у Достоевского возникала своеобразная аура в виде «невыразимого чувства сладострастия».

Еще одно заключение можно сделать из описания Врангеля: уже в период солдатчины Достоевский ис-

пытывал трехсуточную послеприпадочную фазу выраженной вялости, разбитости и временного снижения когнитивных (мыслительных) и творческих способностей («мысли не вязались, голова не работала»).

Однажды солдату Федору Достоевскому самому пришлось принять участие в наказании шпицрутенами одного преступника. Достоевского поставили вместе с другими солдатами 1-й роты в «зеленую улицу». Федор с ужасом дождался подхода провинившегося. По словам его сослуживца Н.Ф. Каца, Федор Михайлович с невероятными усилиями заставил себя поднять палку (шпицрутен) и опустить ее, нанеся легкий удар по спине «штрафника». Он, как мог, ослабил свой удар, но весь вечер переживал. В ту же ночь с Достоевским случился тяжелый припадок падучей⁵⁰.

О вновь начавшихся припадках Федор Михайлович в мае 1855 года так сообщил в письме старшему брату: «Здоровье не совсем хорошо и потому жизнь не совсем красна. Разные припадки не оставляют меня, и хоть через большие промежутки, но все же очень неприятны».

В 1855 году больного наблюдал и лечил военный лекарь С.А. Ламонт, не имеющий больших познаний в медицине и конкретно — в нервно-психических заболеваниях. В Семипалатинске имелся военный госпиталь, но Станислав Августович по каким-то причинам ни разу не направил Федора Михайловича в этот госпиталь на стационарное лечение.

Вскоре после отъезда Врангеля в Петербург, 15 января 1856 года, Достоевский был произведен в унтер-офицеры, что несколько поправило его материальное положение. Он переехал на другую частную квартиру, имевшую более сносные условия. Дом принадлежал старожилам города Пальшиным, у которых Достоевский снимал две комнаты.

Семья Пальшиных неоднократно наблюдала припадки падучей болезни у квартиранта. Пальшины оказывали при конвульсиях сильную помощь, заботливо ухаживали за ним после приступа. Н. Яковлев, лично общавшийся с домохозяевами Пальшиными, пишет: «Припадки падучей болезни у Достоевского бывали часто и почти всегда

по ночам, но продолжались недолго»⁵¹. Краевед имеет в виду, что длительность судорожного припадка была небольшой, но так и бывает при *grand mal*, при которой длительность припадков составляет не более 2–3 минут.

Важно другое — в 1856 году судорожные припадки у Достоевского наблюдались чаще, чем в предыдущем году. Виной тому были продолжающиеся сложные отношения с М.Д. Исаевой, которая садистски изводила влюбленного человека огорчительными письмами. Достоевский мечтал о браке с Марией, но та не спешила и тонко проводила свою игру.

Как писал Федор Михайлович А.Е. Врангелю 23 марта 1856 года, он получил «громовое известие: Мария Дмитриевна получила предложение от человека пожилого, с добрыми качествами, служащего и обеспеченного и просит у Достоевского совета, как ей поступить... Я был поражен, как громом, я зашатался, упал в обморок и проплакал всю ночь. Теперь я лежу у себя. Едва понимаю, как живу и что мне говорят. Я написал ей письмо в тот же вечер, ужасное, отчаянное. Бедненькая! Ангел мой! Сердце сосет тоска смертельная, ночью сны, вскрикивания, горловые спазмы душат меня, слезы то запрутсся упорно, то хлынут ручьем».

Таким образом, у Достоевского после прочтения письма возник обморок, т.е. потеря сознания с падением. После обморока он лежит несколько дней в постели, не совсем ясно понимая то, что ему говорят. Вероятнее всего, у него случился малый припадок (*petit mal*) в виде атонического абсанса, после которого он явно «не в себе», в состоянии, граничащем с сумеречным. В дальнейшем у него развились дисфория, кошмарные ночные сновидения, состояние возбуждения.

Без сомнения, любовь Федора Достоевского к Марии Исаевой была не нормальной, а безумной, болезненной, связанной с нарушением его психики вследствие эпилепсии.

В конце 1856 года влюбленный Достоевский отчетливо ощутил, что перешел грань вменяемости. Дорогие читатели, давайте вместе внимательно перечтем строчки его письма к А.Е. Врангелю. Ручкой Ф.М. Достоевского черным по белому выведено:

«Она по-прежнему все в моей жизни. Я бросил все, я ни об чем не думаю, кроме как об ней... Люблю ее до безумия... Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь»⁵².

Корни безумства Достоевского и его болезненной любви надо искать в руководствах по нервно-психическим заболеваниям. Эпилептологи любят говорить и писать о сверхценных и навязчивых идеях и навязчивых влечениях, характерных для больных «священной болезнью»^{6,7}. Навязчивые идеи (обсессии) — это настойчиво возникающие в сознании пациента мысли. При душевном заболевании навязчивые идеи становятся столь настойчивыми и упорными, что занимают все время больного, не позволяют сосредоточиться на чем-либо другом.

А.Е. Врангель был свидетелем того, как Достоевский, полюбив Марию Исаеву, день и ночь думал о ней, совершенно не мог заниматься ничем иным, да и все свое окружение занимал этой любовью.

Вероятно, когда Достоевский влюбился в Марию Исаеву, а последняя искусно разжигала любовь ревностью и разными женскими хитростями, превращая эту любовь в костер, в голове эпилептика постепенно появилась любовная доминанта, которая на время вытеснила другие мысли и интересы. Достоевский был так одержим этой любовью, что даже забросил все литературные занятия, приостановил работу над «Записками из Мертвого дома»! Эта страсть к любимой женщине стала патологической, навязчивой, вытеснив все другие интересы.

Вот так с точки зрения психиатрии можно рассматривать болезненную любовь Федора Достоевского к Марии Исаевой в первый, добрачный период.

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. М.: «Захаров», 2023. 424с. Цит. С.90-91 (Далее сокращенно — Достоевская А.Г. Восп.)

² Dictionary of epilepsy. Prof. H. Gastaut. World Health Organization: Geneva, 1975. 90p. [Терминологический словарь по эпилепсии. Проф. А. Гасто. Всемирная организация здравоохранения: Женева, 1975. 90 с.]. (Далее сокр. — ВОЗ. Словарь эпилепсии).

³ Болдырев А.И. Эпилепсия у взрослых. М.: Медицина, 1971. 368 с. (Далее сокр. — Болдырев А.И., 1971). Цит. С.297.

⁴ Цит. по: Сегалин Г.В. Эвропатология гениальных эпилептиков//Клинический архив гениальности и одаренности. 1926. Т.2. Выпуск 3. С.152-153.

⁵ Кипервас И. Правда и мифы о болезни Ф.М. Достоевского//Русская Америка. 2016. № 398.

⁶ Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., Кинкулькина М.А. Психиатрия и медицинская психология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 896 с. Цит. С.490.

⁷ Карлов В.А. Эпилепсия. М.: Медицина, 1990. 336 с. (Далее сокр. — Карлов В.А., 1990). Цит. С.3.

⁸ Anne T. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies//Epilepsia. 2010. Vol. 51, №4. P.676-685.

⁹ Давиденков С.Н. Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии. Л.: ГИДУВ, 1947. 382 с.

¹⁰ Wolf P. Praxisbuch Epilepsien. Diagnostik, Behandlung, Rehabilitation. Stuttgart: Kohlhammer, 2003.

¹¹ Кирпотин В.А. Опровергнутая версия//Литературная газета. 1975. №25. С.7; Моисеева Н.И. Был ли Достоевский эпилептиком? История одной врачебной ошибки//Знамя. 1993. №10. С.199-204.

¹² Кобылянский В.И. Анализ здоровья Ф.М. Достоевского, его личности и творчества с некоторых позиций генетики. Часть 1//Клиническая медицина. 2015. Т.93, №2. С.24-33.

¹³ Эфроимсон В.П. Наследственные личностные особенности как источник особой проникновенности. Генетика Ф.М. Достоевского и его творчество. В кн.: Генетика этики и эстетики. М., 2004. С.173-179.

¹⁴ Ордынский-Давидов М. Путешествие в Даровое на свидание с юным Федором Достоевским//Литературная Пермь. 2024. Вып.34. С.100-131.

¹⁵ Волоцкой М.В. Хроника рода Достоевского (1506-1933)/Под ред. М. Цявловского. М.: Север, 1933. 443 с. Цит. С.52, 54.

¹⁶ Гамирова Р.Г., Гамирова Р.Р., Есин Р.Г. Генетика эпилепсии: успехи, проблемы и перспективы развития//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020. Т.120, №9. С.144-150.

¹⁷ Hildebrand M.S., Dal H.N., Damiano J. A. Recent advances in the molecular genetics of epilepsy//Journal of medical genetics. 2013. Vol. 50, №5. P.271-279.

¹⁸ Карлов В.А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин. Руководство для врачей. 2-е изд. М.: Бином, 2019. 717 с.

¹⁹ ВОЗ. Словарь эпилепсии. С.74.

²⁰ Достоевский Ф.М. в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т.1. М.: Худож. лит., 1990. 623 с. — Т.2. М.: Худож. лит., 1990. 623 с. (Далее сокращенно — Достоевский в воспоминаниях. Т.1 или Т.2). Здесь цит.: Т.2. С.579.

²¹ Евдокимов П.П. К истории болезни Ф.М. Достоевского// Клиническая медицина. 1987. №5. С.145-147.

²² Болдырев А.И., 1971. С.107.

²³ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1990 (Далее

сокр. — Достоевский Ф.М. ПСС). Цит.: Т.22. Дневник писателя за 1876 год. Мужик Марей. С.47-48.

²⁴ ВОЗ. Словарь эпилепсии. С.52.

²⁵ Достоевский А.М. Воспоминания. М.: Аграф, 1999. 432 с.

²⁶ Болдырев А.И., 1971. С.166.

²⁷ Григорович Д.В. Из «Литературных воспоминаний»//Достоевский в воспоминаниях. Т.1. С.207.

²⁸ Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. 247 с.

²⁹ Все даты приведены по старому стилю (юлианскому календарю).

³⁰ Ковалевская С.В. Из «Воспоминаний детства»//Достоевский в воспоминаниях. Т.2. С.26-28.

³¹ Абсанс — от франц. absence de l'esprit — отсутствие рассудка.

³² Пароксизм [греч. *paroxysmos* раздражение] — припадок, приступ болезни. Пароксизмальные расстройства вызваны приступом болезни.

³³ Григорович Д.В. Из «Литературных воспоминаний»//Достоевский в воспоминаниях. Т.1. С.207.

³⁴ Ризенкамф А.Е. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском//Достоевский в воспоминаниях. Т.1. С.176-184.

³⁵ Давидов М.И. Тайна смерти Гоголя// Урал. 2005. №1. С. 185-232.

³⁶ Воспоминания Вс.С. Соловьева. В кн.: Достоевский без глянца: Сост. П. Фокин. СПб.: Пальмира, 2017. 460 с. (Далее сокращенно — Достоевский без глянца). Цит. С.102-103.

³⁷ Достоевский Ф.М. ПСС. Т.1. С.228-229.

³⁸ Достоевский Ф.М. ПСС. Т.1. С.139-143.

³⁹ ВОЗ. Словарь эпилепсии. С.42.

⁴⁰ Чиж В. Достоевский как психопатолог. М., 1885. С.12-15, 26-33.

⁴¹ Достоевский Ф.М. Хозяйка//Достоевский Ф.М. ПСС. Т.1. С.265, 267.

⁴² Горбулин А.Е. К истории болезни Ф.М. Достоевского//Клиническая медицина. 1986. №12. С. 126-130.

⁴³ Спешнев Н.А. В кн.: Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях со-

временников. СПб.: Андреев и сыновья, 1993. 335с. (Далее сокр. — Достоевский в заб. и неизв. восп.). Цит.С. 102.

⁴⁴ Рожновский А.К. Из воспоминаний о Ф.М. Достоевском//Достоевский в заб. и неизв. восп. С. 61-62.

⁴⁵ Письмо А.Е. Ризенкампа к А.М. Достоевскому от 16 февраля 1881 г.//Литературное наследство. Т.86. Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М., 1973. С.549-550.

⁴⁶ Мартянов П.К. Из воспоминаний «В переломе века»//Достоевский в воспоминаниях. Т.1. С.340-343. Кордегардия (фр.) — помещение для караула и содержания арестованных.

⁴⁷ ЦГВИА (Центральный государственный военно-исторический архив). Ф.395. Оп.291. №45. Л.45-47.

⁴⁸ Ордынский-Давидов М. Первая любовь Федора Достоевского//Великороссь. 2021. №3 (41). С.21-44.

⁴⁹ Ремиссия [лат. *remissio* уменьшение, ослабление] — ослабление явлений болезни.

⁵⁰ Герасимов Б.Г. Достоевский в Семипалатинске//Достоевский в заб. и неизв. восп. С.121.

⁵¹ Яковлев Н. Заметка о жизни Достоевского в Семипалатинске//Газета «Сибирь». СПб., 1897, 11 июля. №80. С.2.

⁵² Письмо Ф.М. Достоевского к А.Е. Врангелю 9 ноября 1856 г.//Достоевский Ф.М. ПСС. Т.28. Кн.1. С.242.

⁵³ Болдырев А.И. Военная и трудовая экспертиза. В кн.: Социальный аспект больных эпилепсией. М.: Медицина, 1978. С.83-100.

⁵⁴ Скандин А.В. Достоевский в Семипалатинске//Достоевский в заб. и неизв. восп. С.112.

⁵⁵ Достоевская А.Г. Восп. С.21-24.

⁵⁶ Страхов Н.Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском//Достоевский в воспоминаниях. Т.1. С.411-412.

⁵⁷ Карлов В.А., 1990. С.122-124.

⁵⁸ Иванец Н.Н. и др. 2019. Указ. соч. С.332.

⁵⁹ Воспоминания А.Г. Достоевской//Достоевский без глянца. С.109-110.

⁶⁰ Шиле А.Г. Памяти Ф.Г. Достоевского// Достоевский в заб. и неизв. восп. С.173.

Окончание в следующем номере

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УМЕРЛИ ВСЕ, КРОМЕ ДЕМОНА

Алексей Иванов. Невьянская башня. — М.: Альпина нон-фикшн, 2026.

Есть известный анекдот о покупателе, который требует забрать шарики и вернуть ему деньги. Нет, шарики не бракованные, не сдуваются. Просто они не радуют.

Примерно такое же чувство возникло у меня при чтении нового романа Алексея Иванова «Невьянская башня». Оно «ненаучно» для литературного критика, и потому хочется проанализировать собственные ощущения и понять — почему роман не радует, не захватывает, не погружает в себя с головой, в отличие от «Сердца Пармы» и «Золота бунта». Прочитав их, я и стала поклонницей именно исторической прозы автора — она для меня приоритетнее фантастической, сатирической и социальной. Так в чем же дело?..

«Невьянская башня» недостаточно исторична? Нет. Здесь присутствуют широкая социально-экономическая панорама демидовской эпохи и героинтагонисты, а для увлекательности добавлены любовные страсти и мистика, адекватная описываемому времени. Иванов умеет работать с материалом «давно минувших дней». Лишь один его исторический опыт — роман «Тени тевтонов», построенный на мифах Восточной Пруссии, меня, скорее, разочаровал (см. рецензию «Когда меч не рубит», портал Pechorin.net <https://pechorin.net/articles/view/koghda-miech-nie-rubit-o-knighie-a-ivanova-tieni-tievtionov>, 14.04.2021). Тогда я писала: «Не потому ли «Тени тевтонов» не впечатляют, что кенигсбергские легенды для Иванова — не более чем легенды, тогда как пермский фольклор был ему родным, эмоционально затрагивающим, что сказалось на тексте?»

Невьянская башня, как и демидовский Урал, архитектурным каменным символом которого она стала, для Алексея Иванова никак не чужеродны. Об этом прозаик говорил в интервью с «Радио РБК» 13 декабря 2025 года <https://www.rbc.ru/radio/13/12/2025/693c8d599a79472f6d34f5b0?ysclid=mqtr4nxl8682764284>).

«...Невьянскую башню не то чтобы я увидел и был поражен — я про нее знал, сколько я себя помню: я же все-таки уральский человек. И мне хотелось что-нибудь написать с Невьянской башней. Недавно я понял, что, оказывается, некоторые локации Урала созданы в неких жанрах. ...«Невьянская башня» — роман как бы изначально историей и судьбой запрограммирован в жанре готического романа. Вот и когда мне захотелось написать готический роман, я понял, что надо писать «Невьянскую башню». Тут же писатель со скромной гордостью признался, что «мемное» определение книги «уральская готика» сам придумал и запустил в оборот.

Может быть, Иванов «переусердствовал» с готичностью, и это отталкивает?.. Тоже нет. Готика мне нравится и в зодчестве, и в литературе. Насчет «уральской готики» добавлю. «Красный граф» Алексей Николаевич Толстой начался как литератор с рассказа 1908 года «Старая башня», написанного по следам практики от Петербургского технологического института, которую про-

ходил на Урале тремя годами ранее. Дебютный рассказ будущий классик выпустил дважды: в журнале «Нива» в мае 1908 года и в сборнике «Гамаюн» 1911 года — и в двух вариантах. Второй приводил сюжет «Старой башни» в соответствии с материализмом. А вот первый, где колокол Невьянской башни трижды был перед всякой бедой, а заносчивый скептик, петербургский инженер, решив развенчать суеверия, погиб на часовой галерее башни от чьих-то «холодных рук», был отличным образцом «уральской готики» столетней давности. То есть традиции «уральской готики» намного древнее. Из них вытекает перекличка между первой версией толстовского рассказа и ивановского романа.

У Иванова уже с зачина, со школьной экскурсии по башне выдается — в её стенах обитают не только люди:

«Елена Сергеевна отошла от окна и устало опустилась на стул в углу Слуховой комнаты. Она знала, что сейчас произойдёт. ...Это была её личная тайна, вернее её — и Невьянской башни.

И звук приплыл по каменной грани, как невидимый ручей, и в тишине палаты зашевелился повелительный и гневный шёпот:

— Выпусти меня!»

Такова же и последняя реплика книги, заключительные события которой происходят лет через 30 после основной фабулы. Сказитель Кирша Данилов, показав нутро Невьянской башни новым владельцам демидовской империи и спровадив их, «тихо спросил... в стену:

— Сидишь, змей рогатый?

...И по изгибу свода, по острию угла к деду Кирше тоненьким ручейком доплыл едва различимый шёпот демона Невьянской башни

— Выпусти меня...».

Этими словами текст начинается и ими же заканчивается. Демон не освобожден. Гид слышит голос демона много лет в наши дни, значит, в начале XX века он тоже сидел в узилище. Так почему бы демону Невьянской башни не уничтожить в 1908 году инженера Трубу, непочтительного к уральским верованиям?..

Чтобы не возвращаться к теме аналогий: первое появление демона в Невьянске, являющегося из печей мирных обывателей, вызывает в памяти страшный рассказ Чехова «Спать хочется». Работница Феклушка ночами не отдыхает, качая хозяйского ребенка, и демон предлагает ей бескомпромиссный выход из положения:

« — Утомилась, милая? — спросили Феклушку огненные губы.

Феклушка заворожённо глядела в зев печи.

— Горько тебе?.. — шептала пылающая Лепестинья. — Давай мне сюда своё дитя! Я его упокою, а ты поспи, сиротка...

Из печи протянулись нежные пламенные руки, и Феклушка послушно вложила в них закутанного младенца. Руки бережно унесли младенца в печь».

Феклушка крепко засыпает, как и чеховская Варька, без затей задушившая надоедливое дитя. Может, именно заимствования охлаждают читательский интерес? Но во всем остальном тексте Иванов, если кого и «косплеит», только себя и собственную манеру строить исторические романы на густом вкраплении мистики. Он окружил заключенного в башне демона множеством исторических, социальных, психологических и производственных подробностей. Мой коллега Лев Рыжков, написавший о «Невьянской башне» на своей странице «ВКонтакте», считает, что трудность именно в технологической части. «И вот тут-то сразу идут не то чтобы сбои, но такая неминуемая беда описания производств, как очень нудные фрагменты», — пишет Рыжков и приводит пример: «Всё двигалось: в своей клетке крутилось колесо и лилась вода; в раме «палатки» вверх-вниз сновали очепы и кланялись зыбки; смыкались, надувая кожаные щёки, и размыкались мехи; воздух из трубки-сопла несся в воронку фурмы у подножия горна; взвивался и опадал огонь на углях под решётками колошников; поднимался и падал молот, вышибая из металла снопы ослепительных искр...».

По мнению Рыжкова, в описании таких процессов «подобрать слова, образы, чтобы у читателя всё заиграло и в 3D представилось — это идеал». Но техно-

логия не обретает для нас зримости и увлекательности. И если такой профессионал, как Иванов, прописывает очень важные для духа и буквы книги производственные эпизоды «прохладно» и отстраненно, значит, он и не стремился к идеалу, — делает вывод коллега и ищет объяснения, почему так.

Я полностью согласна: «технические» страницы написаны скучновато (или сложновато для неспециалиста), и порой их даже хочется перелистнуть. Но нельзя — технологии играют огромную роль в сюжете! Ведь Иванов переиначил на психологию горнозаводчика избитую тему сделки с дьяволом. Нечистого как такового в романе нет, есть сугубо локальный уральский демон, выпущенный по цепи случайностей на волю, но это в глазах добропорядочных христиан все равно бесовщина. А в глазах Акинфия Демидова — великолепный шанс. Он заключает с демоном договор. Оба хотели обмануть друг друга, но Демидов преуспел больше: облагопошил демона, приговорив его вечно жить в домне и плавить руду. А чтобы не голодал, скормливает ему рабочих. Для Акинфия это естественно, как дыхание — он априори порочное существо. Для демидовских прихвостней важнее личные выгоды. Для государства, через наместника Татищева зарящегося на огромные «активы» горных заводов, происходящее на заводе — пустяк, летящие от топора щепки. И лишь для честного механика Савватия Лычагина — преступление.

Именно Савватий в конце концов уничтожает демона. Для этого ему приходится пустить воду в горн в потайном каземате, где Акинфий чеканил нелегитимные серебряные монеты, а затем запрятал демона.

Жаль только, что на протяжении почти всей книги, до своего буквально самопожертвования, Лычагин был типичной ивановской фигурой — мягкотелой, недостаточно решительной, колеблющейся и не влияющей на расклад персонажей, где, узнаваемо для нашего автора, нет ни единого положительного героя, а наиболее харизматичны и тщательнее всего выписаны самые отвратные, начиная с Акинфия. Я даже удивилась, когда Савватий вступил в открытый бой со злом и одолел его.

Детальное описание процесса победы мастера над демоном требует «инженерной мысли» — но именно такие страницы самые неудобочитаемые. Не думаю, что Иванов «халтурил». Скорее, гуманитарию так же тяжело написать складный технический текст, как и воспринимать его.

Куда лучше вышли психологические перипетии: всегда актуальная борьба предпринимателей и чиновников, колоритное противостояние официальной церкви и ереси, «безмолвствующий народ» против тоже подневольных солдат и особенно то, что многие герои, неплохие вроде бы люди, стоят за бесовщину по всяким личным соображениям. Полагаю, именно об этом несовершенстве человеческой души главным образом писал Иванов, продолжая «Невьянской башней» свою магистральную линию пересмотра образа «героя-плюс» в литературе. Некоторые мои коллеги склонны усматривать в этом что-то типа «фиги в кармане». Но мне кажется, все проще: Иванов не хочет выводить положительных героев, следовательно, и не набил на это руку. То ли хорошие люди кажутся писателю скучными — то ли он не уверен в их существовании в мире когда бы то ни было — то ли, что самое главное, не представляет себе «положительно прекрасного человека».

Однако же на выходе получается роман с толпой отрицательных героев, множеством злодеяний, финалом в духе «все умерли», демоном, вечно просящимся на волю, и обилием технологических подробностей. Смесь не гремучая, но безрадостная. Увы, видимо, эта безрадостность и мне как читателю передалась. Хочется, чтобы следующий роман Иванов посвятил тому, как демон по чьему-то недосмотру или по магическим обстоятельствам вырвался, наконец, из башни — «и всё заверте...».

Впрочем, кажется, я слишком буквально последовала за анекдотом. Книга — все же не воздушный шарик. Она не обязана радовать своего владельца. Поэтому относить ее в магазин и требовать назад деньги не буду.

Елена САФРОНОВА

«И — НИ РАЗЛУК УЖЕ, НИ ГОРЯ...»

Анна Гедымин. Московский дворик. Избранное. — Иерусалим, издательство Evgarm, поэтическая серия «Лета А», 2026.

Иная простота хуже воровства, а иная... А иная — не совсем и простота, как московский булгаковский Бегемот — не совсем и кот. Стихи Гедымин кажутся на первый взгляд понятными, на второй тоже, на третий и далее взгляды ещё более понятными, только вот что поделаться с тем, что понятные, логичные, очевидные толкования, объяснения каждый раз иные, не отрицающие, но дополняющие друг друга? Стихотворения не умещаются на площади листа, обретают объём, и объём не наш — обычный, трёхмерный, а такой, как будто кто-то пошалил с четвёртым и так далее измерениями.

«Московский дворик» издан в Иерусалиме. Так совмещаются уют и масштаб, совмещаются не причудливо, но естественно. Очень местные, очень московские стихи оказываются своими, родными повсеместно, в том числе и в городе, который всем городам город.

Пусть волны залижут дворец мой, как свежую рану,
Его я в минуту отлива построю опять.
А если не будет прибой его стены ломать —
Что строить я стану?..

Книга начинается со стихотворения «Дворец на песке», которое представляет собой размышление о многом, в том числе и о поэзии, о времени. И вот она, книга Гедымин, — новое поприще для времени. Волна, смывшая дворец, уходит обратно в свой океан изменённой, неся уже иную, полную песка и памяти о построенном, воду. Поэзия, разрушаемая временем, меняет его состав, его природу. Для того и пишется. А иначе какой смысл был бы набегать волне на пустой берег?

Дух в их стройном теле — на машинном масле,
И лишь в этом каждый видит свой уют.
Кто-нибудь — философ — подведет. Но в массе
Каштаны на Калининском кроной в грязь не бьют.

В стихах Анны Гедымин слышится какой-то спокойный, настоящий стоицизм. Настоящий — то есть чужающийся пафоса героичности, вообще говоря, совершенно чуждого изначальной философии стоицизма. Она не позволяет себе жеста, вскрика, всхлипа — всего того, что не есть поэзия, но так и напрашивается в строку. В ее стихах пристальность и точность замаскированы под рассеянность и даже небрежность.

Чувственность и чувствительность не мешают анализу, но заостряют его.

В траве кузнечики звенят,
Край поля ветерком измят...
Сил не хватает у неё
Прервать преступное житьё.

«Сорная трава» — стихотворение, где изменчивая рифмовка так тревожит читателя, может быть, тоже о поэзии, которая уже давно стала в языке как сорная трава, только страницы книг занимает, засоряет, а ведь можно было что-нибудь полезное напечатать, из агрономии, например. Но продолжается преступное житьё-бытьё, растёт быльё и не ищет себе оправданий. Да и что бы поэзия стала делать, найдя себе оправдание?

И обращает Бог к нему сухое
Прощенье. И — разбойничье лицо.

Это один из тех редких моментов, когда в стихах Гедымин, обычно таких правильных и логичных, планы бытия смещаются и пересекаются. На мгновение становится по-настоящему страшно. И потом страх не проходит.

Стихи у Гедымин всегда классически правильные, строгость формы способствует богатству и свободе содержания.

По-женски внимательный к деталям взгляд замечает в ткани бытия какие-то узоры, утолщения, истончения — всё то, что делает жизнь именно такой, какая она должна быть, а не такой, какая она есть.

Шутки в сторону. Стрелки пущены.
День восьмой...

День восьмой. Вспоминается Торнтон Уайлдер и его мысль, что сотворение мира ещё не закончено, и все мы соучастники, работники восьмого дня.

Один из разделов книги называется «Честолюбивая молитва». Вообще для всей поэзии очень подходит это определение: «честолюбивая молитва». Поэты рождены для звуков сладких и честолюбивых молитв, таких, главное назначение которых — оправдание и утверждение поэтического текста.

Наверное, с точки зрения любой религии молитва, обращённая не только к Богу, но и к какой-то дольней аудитории — грех. Но тому, кто безгрешен, молиться вообще не о чем и некому.

А может мы и впрямь
Диковинной породы?
Иначе кто бы смог,
Удачей не храним,
Не зная ни любви,
Ни Бога, ни свободы,
Прожить изрядный век
Предчувствием одним?..

Поэзия — это разговор с Богом, бытие которого сомнительно, но раз есть слово «Бог», то что-то оно да значит. Поэзия — это еще и попытка агностика разобраться в божественном, потому как:

...Вот если души всё-таки бессмертны,
То есть из-за чего паниковать...

Анна Гедымин управляется с философской лирикой так, что та, лишившись интеллектуальной высоколести, вездесущего снобизма, говорит по-русски, по-человечески, и напряжённость мысли при этом не теряется, даже напротив...

«Косари» — единственное в этом сборнике полноценно сюжетное стихотворение. В остальных сюжет если и дан, то намёками, случайными проговорами, его приходится восстанавливать, как льва по когтю, а тут, не стесняясь ритмом и рифмой, автор ведёт подробное повествование.

Притча хороша тогда, когда её толкования причудливы и прихотливы, что твои казни египетские. Притча, рассказанная Гедымин, балансирует между различными смыслами так искусно, что нет даже соблазна найти какое-нибудь единственно возможное, решительное, последнее толкование и тем самым прекратить, умертвить стихотворение.

Несмотря на то, что «Косари», наверное, самое известное произведение Гедымин, оно не утеряло своей тайны.

Ты мне нужен сильнее, чем другим не нужен.

Очевидные противоречия не могут обмануть, мир Гедымин гармоничен, но гармония эта далека от наивности и примитива, гармония вообще куда слож-

нее и противоречивее хаоса, подобно тому как регулярный стих сложнее и насыщеннее верлибра. Анна Гедымин в своих стихах не отсылает к модным философским концепциям, не играет скрытыми цитатами. Новаторство и нарочитая насмешка над новаторством ей одинаково чужды. Как за модернизмом неизбежно следует постмодернизм, так за постмодернизмом начинается поэзия как таковая. Круг замыкается.

Сказать о стихах Гедымин, что они звучат архаично или современно, равным образом неправильно. Они звучат — и всё!

Выходит, что не только из тяжести недоброй, но и из ничего не значащей, почти невесомой ерунды можно создавать прекрасное. Во всяком случае, у Анны Гедымин это получается.

И — ни разлук уже, ни горя,
Свет одолеет тьму.
И мы, как прежде, в общем хоре
Споём по одному.

Общее впечатление от «Московского двора» — как от тихого волшебства, которое продолжается и после того, как закрываешь книгу.

Дмитрий АНИКИН

СВЯЗЫВАТЬ ВРЕМЕНА

Александр Нилин. Неокончателный диагноз: роман отложенной жизни. — М.: АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2026.

Александр Нилин — писатель, спортивный журналист, мемуарист, автор книги «Переделкино: поверх барьеров», представил свою новую книгу — «Неокончателный диагноз». В Переделкине писатель вырос и знает не понаслышке эти места. Новая книга — прямое продолжение и развитие темы литературного Переделкина.

В своей новой книге Нилин рассказывает о друзьях и современниках, среди которых — Виктор Шкловский, Анна Ахматова, Евгений Евтушенко, Евгений Рейн, Андрей Тарковский, Михаил Ардов, Анатолий Найман и другие. Здесь же — ближний круг автора: жена, Наталья Иванова, отец, писатель Павел Нилин, брат Михаил.

«...не одно свое время по календарю можно считать <...> своим. Правда, про себя я никогда не скажу “в мое, мол, время” — всегда жил скорее в себе, чем во времени. Но сам-то я где, как не во времени, жил?» — задается вопросом Нилин. И цитирует популярную советскую песенку: «Откровенно говоря, никому еще не поздно жизнь свою прожить не зря и задуматься серьезно».

Этот роман-воспоминание или, как говорит автор в аннотации, «роман отложенной жизни» — не просто сборник воспоминаний о прожитом, но попытка воссоздать детали и образ времени: через людей, события, вещи — и тем самым осмыслить эпоху. Возможности дать исчерпывающую, окончательную оценку своему поколению, поставить ему точный диагноз автор не находит — но и не ищет. Само название книги говорит о том, что и в жизни, и в заметках мемуариста возможно поставить лишь «неокончателный», промежуточный диагноз: жизнь ускользает от окончательных формулировок. Пока человек жив и помнит, история всегда открыта. Медицинский термин Нилин использует неспроста: у него давний интерес к медицине, источник которого — и многолетний опыт пациента, и дружба с медиками, о которых тоже рассказывается в книге. И препарирует прожитое он почти медицински.

Кстати, он не боится говорить о частной жизни вообще, о потерях и болезни в частности и о том, как меняется восприятие жизни, когда «убийственный диагноз» становится частью повседневности.

Нилин не идеализирует ни эпоху, ни людей, ни тем более себя, хотя всегда замечает достоинства и людей, и явлений. Он пишет — с точностью опытного журналиста — честно, иногда жестко, но неизменно нежно и бережно — и к людям, и к памяти. В потоке памяти его «пожилого, но очень ясного ума» личное переплетается с общественным, «отложенные воспоминания» превращаются в сюжет, а бытовые детали обретают почти детективную остроту.

Нилин работает на стыке жанров — здесь и эссеистика, и мемуарная проза, и наблюдения за культурной и социальной жизнью времени. Главное в книге — голос повествователя, не склонного ни к упрощению, ни к дидактике. Взгляд автора трезв и честен. Его метод в литературе — не столько даже писательский, сколько, скорее, врачебный: Нилин фиксирует симптомы, однако не торопится с выводами. И не предлагает читателю утешения. Чувство неопределенности он даже усиливает, но делает это честно и интеллектуально добросовестно. Не претендуя на роль пророка в своём отечестве, он предпочитает позицию наблюдателя, прослеживающего сложность происходящего.

Сквозной мотив книги — кризис идентичности: личной, культурной, исторической. Человек, по Нилину, находится в размытой системе координат: старые не работают, а новые еще не сформировались. Отсюда — ощущение неоконченности не только диагноза, но и самой реальности.

Например, о Анатолии Наймане Нилин пишет так: «Собеседники Толиного уровня и раньше были крайне редки; теперь их, пожалуй, и вовсе нет».

Или о Евгении Рейне: «Я сказал, конечно, Рейну, что слышу его голос, когда читаю Довлатова». Или: «Как-то на литературном празднике, где и я случайно был, Рейн твердил в микрофон интервьюеру, что будет лауреатом Нобелевской премии. И я тогда подумал, что, поддерживая внутри себя — и опять же на людях — уверенность в своей избранности, требующей, однако, поощрения, он скорее вредит себе».

Обобщая вопрос об известности Рейна и Наймана, автор говорит: «Известность Рейна и Наймана — у одного чуть большая, у другого чуть меньшая, но тоже кем надо замеченная — славой, подобной славе Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, не назовешь, но с тем, что стали они примечательными фигурами литературной истории своего времени, не поспоришь».

О Евгении Евтушенко: «Мне показалось, что он, любимый миллионами, искренне огорчен недооценкой его одной моей женой (вообще-то он и в самом деле переживал нелюбовь к себе даже одного человека). И мне, конечно, захотелось его утешить — и я поспешил сказать, что все мы его любим и, само собой, считаем поэтом, совершенно автоматически добавив “и даже больше, чем поэт”, не сообразив, что при такой ранимости Евтушенко может воспринять это издевательской шуткой: я-то сгоряча и забыл, что “больше, чем поэт” — его же знаменитый слоган».

Стиль автора сдержан. Ироничный и самоироничный, Нилин не стремится к эффектности и вычурности, достигая выразительности исключительно за счет ясности мысли и внутреннего ритма текста. Отдельные его высказывания читаются как афоризмы: «Человек родом из одного времени живет и в другом, и не во всех случаях долголетие в изменившемся времени кажется лишним — кто-то же должен связывать и связывает времена?».

«Неокончательный диагноз» — достойное и очень человеческое продолжение неисчерпаемой темы литературного Переделкина. Эта книга предполагает вдумчивого читателя, готового к диалогу, а не к получению готовых ответов. Несомненное ее достоинство в том, что автор не закрывает вопросов, а открывает их. Она о том, как память противостоит забвению и как даже тяжелый медицинский диагноз не ставит точку в осмыслении собственной жизни и доставшегося тебе времени.

Артём КОМАРОВ

ИМПУЛЬСНАЯ СОЦИОЛОГИЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Алексей Радов. Реализм и действие: Избранные научные статьи. — М.: Пробел-2000, 2025.

Название сборника научных статей московского прозаика и социолога Алексея Радова «Реализм и действие» звучит не особо научно. Не вполне научны и сами статьи, и в этой «ненаучности» (при том, что базируются они на фундаментальном и глубоком знании и понимании предмета, просто изложенном человеческим языком) — их несомненный плюс. Сборник предлагает «массовому читателю» социологию «с человеческим лицом» и, вопреки сложившимся стереотипам, демонстрирует, что эта наука не замыкается в списках цифр и комментариях к ним, но исполнена подлинных интеллектуальных страстей и эмоций.

«Реализм и действие». Такое заглавие подходит скорее подразумевающему модальность долженствования, императивности манифесту. Во многом эта книга и является манифестом, настойчиво предлагающим пересмотреть сами основания пребывающей в кризисе социологической методологии. Порой в радовской речи можно уловить даже ницшеанские, пророческие, устремлённые к «дальнему» проповеднические интонации «весёлой науки», и они оказываются вполне органичны материалу: «и это всё, что я говорю», «придёт время, и я обосную «действительное» в его объективности», «Бог забыл о нас и поэтому всё зло придется уничтожать самостоятельно» etc.

Включённые в сборник статьи, как гласит аннотация, посвящены «реалистской методологии в социальных науках, вопросам политической и практической философии, дискуссии об интеллектуалах и интеллигенции в социологии». В стиле Радова-учёного с первых же страниц узнаётся — с неизбежными поправками на жанр — стиль Радова-прозаика — в частности, автора романа «Не себе», который мне доводилось рецензировать¹. Роднят статьи с романом и подвижная игра ума, остроумие в самом буквальном смысле слова, и «телеграфная» хлёсткость и отрывистость фразы, и конкретность нюансировки смысловых оттенков, и «ситуативность» «вмышления» в абстрактные категории, и широкое, но точечное применение гротеска, приёма доведения до абсурда, бунтарского переворачивания с ног на голову устоявшихся, омертвевших, покрывшихся хитином «непогрешимости» тезисов. Некоторые философские концепты (например, «снообразная жизнь с закрытыми глазами») отсылают к роману напрямую. В этом смысле книга «Реализм и действие» может быть прочитана в качестве философского обоснования художественной прозы Радова, как, например, «Бытие и ничто» Сартра по отношению к его «Тошноте». Художественное здесь пышно и многообразно расцветивает научное. Та же пульсирующая, неуспокоенная, ищущая, стремящаяся «во всём дойти до самой сути» мысль, та же оригинальность формулировок, та же установка на глубинное понимание взаимодействия индивидов в социуме.

Родственны радовской прозе и нередкие в статьях яркие, запоминающиеся сравнения («само такого рода изучение похоже на аппендикс: интересно, но бесполезно»), наглядные аналогии («никакой солипсизм не делает покупку хлеба менее объективной», «изучение яблока по-яблочному», ««социализация» для социологии — такого же рода понятие, как «жизнь» для биологии и, возможно, как «действие» для физики»), динамичные метафоры («гладкий мир бумаги»), риторические вопросы, неологизмы и окказионализмы («сопережнуть», «будучность», «наслажденец»), меткие и запоминающиеся определения, толкования, аргументы и номинации («латентно тоталитарный», «либертарианство — это соединение левой морали и правых методов»), головокружительная «смена масок» и даже поговорки собственного сочинения («Борец борца не погонит с крыльца»).

¹ К. Комаров. А кому? // БиблиоТВ: 25. 03. 2025 — <https://biblio.tv/columns/govorimoliterature/a-komu/>

Пестрят статьи разнообразными формулами-афоризмами-парадоксами: *«не всё, о чём говорится вслух, следует повторять»*, *«кризисное самосознание может быть очень сладким»*, *«тикают не часы, но само время»*.

Содержателен и графический приём выделения отдельных слов и тезисов курсивом — за таким акцентированием неизменно мерцает некая щекочущая тайна, интригующая загадочность. В совокупности своей все перечисленные приёмы дают нам настоящую поэзию социологии. Кстати, стихи авторского (судя по всему) сочинения в книге тоже присутствуют — причём стихи о стихах: *«лучше быть от сохи/ чем писать стихи»*.

Радов пишет увлечённо, и экспрессия этой увлечённости убеждает. От чтения книги возникает ощущение хорошего, душевного, насыщенного разговора с разбирающимся в своём предмете, погружённым в него (порой до заговаривания, задыхания «на бегу» опережающей слово мысли) и по-настоящему им заинтересованным человеком. Как и в прозе, в статьях Радов часто рефлексировал над своим методом и стилем прямо по ходу письма, что добавляет текстам осознанной «шершавости», коммуникативной стихийности. Это осознанная «непричёсанность», призванная вызвать в читателе продуктивную «запинку», побудить к размышлениям: *«сам абзац написан не для того, чтобы показать моё негативное отношение к условностям»*. Нередки прямые авторские обращения к читателю, подкрепляющие и эксплицирующие непрерывный внутренний диалогизм («оговорки»), отражающие напряжённую рефлексию над собственной мыслью и оформляющим, ухватывающим её в движении словом: *«прошу прощения», «я не вкладываю сюда никакого пафоса», «чтобы опровергнуть меня, надо указать на такой факт», «это скучная размытая сноска»* etc. Показательно такое признание автора: *«главный смысл... не в аргументах, которые я привожу, но в импульсе, который я стремлюсь сообщить»*. Книга с «действием» в заглавии закономерно подразумевает принципиальную важность рецептивного воздействия, ибо *«хороший вывод — это вывод, который читатель делает сам»*.

Нельзя не отметить и трезвую, заземляющую высокий пафос ироничность взятого тона (*«было слегка сказано о Смысле жизни»*), скептицизм и пессимизм в отношении к человеческой природе (*«определяя, что есть реальность, а что нет — мы встаем на мост столь тонкий, что падение с него неизбежно (по крайней мере, пока все падали)»*). Радов подвергает все гипотезы и тезисы азартно-игровой и при этом довольно строгой верификации, доходя порой до жёсткого сарказма и прямых инвектив (в частности, *«эмпирический материал»* социологии именуется *«свалкой, помойкой бесплодных интеллектуальных усилий»*, а апологеты «опросной» методологии уличаются в *«профессиональной несостоятельности»* и *«методологической всеядности»*).

Автор наполняет сухую научную терминологию живым нервом, одухотворяет её, выводя социологию из душевного чулана «методологии ради методологии» на широкое гуманитарное поле. Сквозной мотив книги — метамодернистская деконструкция мертворожденных стереотипов, связанных с пустопорожним «академизмом» науки (важно, что говорит автор всегда от первого лица, преодолевая давно ставшее комичным диссертационное «мы-говорение»), обнажение выхолощенности «конвенциональных уловок», бессмысленности «прописывания актуальности», выродившихся «рудиментов» и прочих «ритуальных» кунштюков, и т.д. Однако при всей оригинальности и самостоятельности мысли автора там, где это необходимо, он ссылается (при этом живо дискутируя с ними: достаётся, например, структурализму Ролана Барта) на авторитетных предшественников (Рой Бхаскар, Юрий Лотман, Карл Поппер, Бертран Рассел и др.), опирается на социологические термины, многие из которых звучат довольно поэтично (*«договорная реальность»*, *«предвечные социальные формы»*).

Радикальная и бескомпромиссная критика (направленная не только на социологию, но и на религию, и на философию, и на этику, и на эстетику), которая *«всегда должна быть беспощадной, как говорил Поппер»* — пожалуй, основная интенция книги. Ниспровергаются многочисленные основания социологической науки, в том числе базовые и фундаментальные. Так, вторя Марку Твену (*«Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»*) и стоя на

позициях этического максимализма (*«Мы слишком мало сомневаемся. Мало критикуем»*), Радов справедливо заявляет, что *«статистические закономерности могут быть случайны»*, и поэтому *«не считает статистику «опорой социологии»*.

Пытаясь вывести «метатеорию» социологии; объясняя социологические явления посредством самой социологии (*«социология социологии»*); призывая к «разумной редукции»; стремясь к *«пониманию и/или объяснению целого»*; отличая *«борьбу за свободу»* от *«борьбы за борьбу»*; осмысляя реальность как *«то, что потенциально может изменить наши действия и установки или является ими»*; разделяя «физическую», «ментальную», «идеальную» реальности и выводя формулу их взаимодействия (ментальная «определяет» реальную *«под корректирующим воздействием идеального»*); разбираясь в *«мессианском комплексе российской интеллигенции»*; разоблачая механизм катарсиса и ложность толерантности; обнаруживая общество внутри каждого индивида, — Алексей Радов неизменно и принципиально настаивает на перформативном, преображающем характере социологического слова: реальность требует действия, меняющего реальность, это её конститутивное свойство. И живое «усилие понимания» тоже является таким действием, укрепляющим *«шаткое здание научного реализма»*. Так происходит на страницах книги борьба её автора *«с собой и с миром»*. Радов как бы снимает слои «очевидности» с казавшегося очевидным, и оно предстаёт невероятным — каковым, оказывается, всегда и было. Такой экзистенциальный «прожектор», высвечивающий каждую секунду меняющееся истинное положение вещей. Здесь вспоминается Достоевский, справедливо полагавший, что *«нет ничего фантастичнее окружающей нас действительности»*.

Провозглашая, что «зрелой наукой» социология до сих пор не является, обнажая *«пропасть между нашими действиями и нашими социальными науками»*, неустанно вызывая к конкретности и адекватности метода социологического исследования его проблеме и вскрывая многочисленные проблемные места современной социологии, Радов наглядно и точно демонстрирует различные аспекты её незрелости (*«социологи чаще исследуют установки индивидов, а не их действия»*) и предлагает убедительные пути их преодоления. С предельной субъективностью он защищает объективный подход (*«признание субъективных сущностей, существующими в объективном смысле»*), и в этом подвижном парадоксе, в свободе, самостоятельности и независимости пытливого исследовательской мысли во многом кроется осязаемая с первых строк энергетика книги и её движущая сила.

Вслед за Владимиром Маяковским Алексей Радов мог бы повторить: *«Я ещё не слишком заакадемичился»*. Этой «незаакадемичностью» в изложении довольно сущностных и насущных мыслей о человеке и обществе книга «Реализм и действие» интересна, симпатична и примечательна.

Константин КОМАРОВ

МЕДЛЕННО, ПО-ПИТЕРСКИ И НЕМНОГО ГРУСТНО: О КНИГЕ ПАВЛА КРУСАНОВА «СОВИНАЯ ТРОПА»

М.: АСТ, 2025.

Читая «Совиную тропу» Павла Крусанова, я долго не могла понять, нравится мне книга или нет. Это не тот случай, когда с первых страниц захватывает сюжет и хочется читать без остановки. Скорее наоборот, сначала было ощущение, что текст идёт медленно, событий немного, а всё внимание сосредоточено на мыслях, настроении, каких-то внутренних переживаниях героя. В какой-то момент даже стало скучно. Но потом постепенно я втянулась и начала читать уже ради атмосферы и ради того, чтобы понять, куда приведет меня задумка автора.

Вообще в книге много именно внутренних переживаний. Здесь не столько действия, сколько размышления о жизни, о людях, о том, как мы выглядим в глазах других. Иногда автор говорит о том, что человеку важно не просто жить, а чтобы его замечали, чтобы о нём думали, — иначе как будто и нет никакого смысла в его существовании. Такие мысли делают текст довольно философским, но иногда из-за этого он кажется тяжёлым и немного перегруженным.

Но при всей этой внутренней, личной истории в книге есть и очень сильный эпизод, который выходит за рамки частной жизни героев. Для меня одной из самых ярких и даже неожиданно важных стала идея о том, что именно писатели, слово, культура могут создавать и укреплять связь территорий с Россией — в том числе речь идёт о Крыме. Эта мысль звучит не как политическое заявление, а скорее как размышление о силе литературы и культуры вообще. О том, что страна держится не только на границах и решениях, но и на общем культурном

пространстве, на языке, на текстах, на памяти. Этот эпизод сильно расширяет масштаб книги: вдруг понимаешь, что речь идёт не только о личных переживаниях героя, но и о более широком чувстве принадлежности, о том, как формируется общее пространство — культурное, историческое, эмоциональное.

Самое сильное впечатление у меня осталось от Петербурга. И, честно говоря, именно он для меня стал одним из главных героев книги. Здесь город не просто фон, не декорация, на которой разворачиваются события. Он живёт своей жизнью, задаёт настроение, влияет на людей. Этот серый свет, влажный воздух, парки, набережные, ощущение какой-то постоянной задумчивости и внутренней тишины — всё это создаёт особую атмосферу.

Мне вообще нравится, когда в книгах Петербург становится персонажем, и здесь это сделано очень точно. Читаешь — и как будто сам идёшь по этим улицам, сидишь на скамейке в парке, смотришь на воду, думаешь о чём-то своём. И становится понятно, почему герои именно такие — немного отстранённые, немного задумчивые, иногда даже потерянные. Город как будто отражает их внутреннее состояние.

И даже сама «совиная тропка» сначала совсем не зацепила, было ощущение, что смысл где-то есть, но он не проявляется. Хотелось какого-то события, какого-то поворота, который оживил бы историю.

И такой момент всё-таки появился. Для меня переломным стала линия с Катей — когда выясняется, что она становится женой отца героя. Вот здесь история вдруг становится живой. Появляется внутренний конфликт, неловкость, раздражение, непонимание. Ситуация сама по себе непростая и психологически напряжённая, и сразу становится интересно наблюдать за реакцией героя, за его чувствами, за тем, как он пытается это принять или хотя бы разобраться в себе.

Вообще отношения героя с женщинами тоже выглядят довольно показательными. На протяжении книги он производит впечатление человека, который легко сходится, легко увлекается и так же легко теряет интерес. По сути, он почти бабник: романы для него — скорее эпизоды, чем что-то по-настоящему значимое. В этом чувствуется его внутренняя неустойчивость, неспособность к глубокой привязанности.

И на этом фоне его реакция на Катю спустя годы выглядит особенно неожиданной. Не совсем понятно, почему именно она вдруг так сильно на него влияет, почему он начинает воспринимать её иначе, чем остальных. С одной стороны, это можно объяснить прошлым, воспоминаниями, тем, что с ней связана какая-то важная часть его жизни. Но всё равно остаётся ощущение некоторой загадки: герой, который раньше легко относился к любовным связям, вдруг меняется, становится более серьёзным, более вовлечённым. Эта внутренняя перемена показана скорее через настроение и ощущение, чем через чёткое объяснение, и поэтому выглядит немного странно, но в то же время добавляет психологической глубины.

После этого момента книга начала восприниматься совсем иначе. Я читала не просто ради атмосферы, а потому, что хотела понять, как будут развиваться отношения, как герой справится со своими эмоциями, изменится ли его взгляд на семью и на самого себя.

Есть ещё одно, что мне откровенно не понравилось. В книге постоянно пьют. В парках, на встречах, на мероприятиях, просто так, без особого повода. Сначала это не сильно бросается в глаза, но потом начинаешь замечать, что алкоголь появляется буквально везде. И в какой-то момент это начинает утомлять.

Создаётся ощущение, что герои вообще не умеют по-другому проводить время, общаться или проживать свои

эмоции. Понятно, что, возможно, это часть среды, попытка показать определённую реальность, но всё равно остаётся неприятное чувство. Хочется, чтобы в жизни персонажей было что-то ещё, кроме этих постоянных посиделок с алкоголем.

Из-за этого атмосфера временами становится довольно тяжёлой. Люди как будто устали, немного потеряны, не очень понимают, чего хотят, куда идут. Они просто живут день за днём, иногда раздражаются, иногда скучают, иногда пытаются что-то изменить, но чаще просто плывут по течению.

Вообще вся книга — о состоянии, о внутренней усталости, об одиночестве среди людей, о попытках разобраться в себе и в своих отношениях с близкими. И в этом смысле она очень жизненная, хотя и не всегда лёгкая для восприятия.

Если говорить в целом, «Совиную тропу» сложно назвать лёгким или развлекательным чтением. Это не динамичный роман, где всё время что-то происходит. Скорее это книга-настроение, книга-размышление, однако если привыкнуть к её ритму, начать читать спокойно, без ожидания быстрых событий, то постепенно начинаешь чувствовать, что здесь важны не события, а внутренние изменения: усталость, одиночество, попытка удержать себя и свои связи. Тогда книга начинает показывать не действие, а то, как меняется взгляд героя на близких и на самого себя.

Лидия ГОРТИНСКАЯ

РАЗДЕВАНИЕ С ПОРТУГАЛЬСКОГО

[эссе мимо Бразилии, или Эвтерпа, смотрящая налево]

Аделия Праду. Здесь, так далеко / Пер. с португальского Ильи Оганджана. — СПб.: Алетейя, 2026.

Всё там не так, и даже май бразильский, этот их *Maio*, — последний в Южном полушарии месяц осени, что-то вроде европейского ноября. И потому перекраиваются слова при раздевании с португальского самым парадоксальным образом.

Em maio a tarde não arde
em maio a tarde não dura
em maio a tarde fulgura.

Ноябрьский день — прохладна тень.
Ноябрьский день недолог.
Ноябрьский день — осколок.

Как вам такое? Баба Яга против: оставьте ей май, летать точно удобней, ступа вообще не пачкается и даже не замерзает! Но не в межсезонье, вестимо, дело, а в том, что *кое-кто кое-где кое-что у нас порой* называет поэзией. Или не.

Быть может, на португальском трёхстишие идеально, но в русском изводе нечто неуловимое исчезает бесследно. Подобных потерь в любых билингвальных изданиях немало, и поэтическая подборка Аделии Праду не исключение. И всё же долистываешь. Идёшь до конца. Ловишь себя на мысли, ну да, *всё уже было*, и это, быть может, очередной миллионный повтор одного и того же, перепетого всеми певицами всех стран-континентов на всех языках. Очередная вариация на тему любви-смерти-одиночества-болезни-тщеты-красоты-надежды, но стоп: книжка-экзот отпускает не сразу. Быть может, именно по причине собственного экзотства, ведь *Здесь вы*, авторесса, *так далеко*, что и лететь-то туда, к вам, страшно. Да и зачем, о чём молчать без подстрочника? Тут самое место отточию.....

Эврика: при перечитывании первого стихотворения «Здесь, так далеко», название которого совпадает с названием книжки, на ум приходит «Элегия о квартале Портонес» из борхесовской «Сан-Мартинской тетрадки» 1929 года. И если б не обозначение самими литераторами точек на карте, сразу ль мы отличили бы, где рука Хорхе Луиса, а где — Аделии? Если, конечно, вообразить, что мы никогда не читали Борхеса в переводе г-на Дубина, а это вариант тоже вполне допустимый, ибо снобизм-равно-моветон. Никто, сказывают, не обязан отличать условного Гайдна от условного Моцарта, особенно убаюкивающие медленные части их клавирных сонат, а жаль — они действительно отличаются. Но пригласим же, пригласим скорей на престранную литпирушку *этих двоих!*

Это слова тоски
 о колоннах ворот, ложившихся тенью
 на небождённую площадь.
 Это слова тоски
 в память о длинном косом луче
 над вечерними пустырями.
 (Здешнего неба даже под сводом аркад
 было на целое счастье,
 а на пологих крышах часами лежал закат.)
 Это слова тоски
 о Палермо глазами бродячих воспоминаний,
 поглощённом забвением, смертью в миниатюре...

VS

В этом бедном районе у каждого есть лишь реал,
 чтобы купить немного фруктов
 из кузова грузовика на дороге в Сан-Паулу.
 Чужаки здесь не платят женщинам.
 Женская доля — насыщать и насыщаться,
 довольствуясь тем, что дают.
 Об отдыхе молят, покоя хотят
 глубокие старики —
 только они одни здесь умирают.
 Отцы и матери ложатся в постель,
 чтобы делать ребят,
 кобели и сучки выходят на улицу,
 чтобы делать щенят...

Энд эт сетера. И знаменитый на весь мир аргентинец¹, и обожаемая в своей стране бразильянка² поют об одном и том же, незримо используя — при раздевании с родных языков — схожие интонации: «*Розы твоих кафе долговечней небесных красок / и облаков нежнее...*»³ — «*Гаснет солнце вечерней порой, / в воздухе запах дыма витает, / тянутся люди к огню...*»⁴.

В билингве Аделии Праду при раздевании с португальского нет дат, увы, а было бы любопытно соотнести время создания её текстов с текстами соприродных поэтов. Когда титулованная в стране-экзоте поэтесса написала в столбик «Здесь, так далеко»? *Столбик*, впрочем, обернулся книжками, книжки обернулись лауреатством Премии Камозэнса и Машаду де Ассиса. Едва ли имена эти известны тут «широкому читателю», да и «узкому» тоже, ибо это вовсе не обязательная программа. Сама Аделия Праду тоже не обязательная поэтическая программа, а непринуждённый факультатив. Этакий ретрошарфик ко всему привычной Эвтерпы, вечно поглядывающей налево...

Клевер в саду —
 без него я, наверно, ничего бы этого не написала.
 Кто знает, что такое поэтический дар?

Подстрочники исполнены господином Базилио: полное его имя — Астьер Базилио да Силва Лима — можно повторять как мантру, красота невероятная. И вот что г-н Астьер Базилио да Силва Лима пишет о поэзии

¹ Х. Л. Борхес. «Это слова тоски...» (Прим. ред.)

² А. Праду. «В этом бедном районе...» Прим. ред.)

³ Х. Л. Борхес. (Прим. ред.)

⁴ А. Праду. (Прим. ред.)

Праду: «Это — Бразилия внутренняя, глубинная, которая во многом сродни русской провинции. Только вместо заснеженных просторов здесь — солнечное марево воскресных дней, когда люди сидят на крыльце, жуют дольки апельсина и смотрят, как жизнь неторопливо проходит мимо...»

Так и представляется кадр из несуществующего фильма: экран разделён бабушкой надвое, слева — изнывающие от жары обыватели горного Дивинополиса, что в Минас-Жерайсе, выжившем после «золотой лихорадки», ну а справа, у поленницы, — утомлённые снегом мужики-бабы *с семками*. Стильный чёрно-белый артхаус... Читая бразильскую поэтессу, именно так спишь-и-видишь «загадочную бразильскую душу»: без отрыва от производства *загадочной русской*, если допустить, будто она существует в природе, души.

Несмотря на превалирующую в текстах сеньоры реалистичность, некий сюр прерывает ту самую *обыденщины жуть*:

Смерть оставляет после себя портреты,
предметы гардероба,
недопитые лекарства, насекомых, блуждающих
в море цветов, покрывающих тело...

Да, стихи Праду можно проштамповать, навесить на них бирку какого-нибудь 1001-го магического реализма минас-жерайского разлива. Да, поэтесса приносит некие околосавангардные смыслы в русло традиции. И всё же не стоит приписывать её текстам излишнюю сложность или изысканность. Не нужно искать в них то, чего нет. Сеньора Праду пишет об обычных, порой крайне простых вещах. Иногда — легко. Иногда — бережно. Иногда — неожиданно. Иногда — банально, со сбоем вкуса (ну, такое: «*Бог прекраснее меня. / И Он немолод. / Это, конечно же, утешает*»). (О майн готт!..)

Стилизация под хокку тоже не работает. Станиславский талдычит: «Не верю!», Рубанова разводит руками и запоминает сноску — оказывается, «в традиции бразильской поэзии — переводить хокку, рифмуя первую и третью строки», но читателю от этого не легче. Положа руку на сердце: разве *всё* записанное Аделией требует перевода? Баба Яга против того, что...

Приколотая бабочка, она —
Бог
или пустота.

Но, как ни крути у виска, если избранные опусы поэтессы и интересны, то в первую очередь бросающейся в глаза недошлифованностью, в которой живёт не всегда *уклюжая* свобода. Праду говорит: «Основа основ любого художника — абсолютная свобода. Я думаю, что поэту, как и всякому творцу, его искусство диктует свои собственные законы. Но порой оно же требует эти законы нарушать». Вот сеньора и нарушает.

А ещё нарушительница — большая поклонница русского языка, хотя, разумеется, по-русски *ни бум-бум*, — ей просто нравится его музыкальность. Возможно, любовь эта сродни любви русских к сладкоголосому французскому — ничего не понятно, но как звучит, шарман же! Полный шарман.

Дальше — больше: Аделия Праду обожает (пересматривает!) фильмы Тарковского и Сокурова, а ещё читает Льва-тутошнего-Толстого. Быть может, кроме него, да ещё пары-тройки отечественных классиков, в книжных магазинах штата Минас-Жейрас и нет никого больше? Но нет, бразильянка серьёзно увлечена — кто б мог подумать? — Гроссманом и Солженицыным, а из поэтов выделяет Бродского: похвально. Поэтический же голос самой Аделии Праду не предназначен для того, чтобы его хозяйку называли «мировой величиной». Самобытна, но уж точно не гениальна, — впрочем, литменеджеры, возможно, считают иначе: кто-то же должен представлять на международной

арене «загадочную бразильскую душу» и-и-и... бразильскую литсборную по ба-альшим книгам ба-альшой литературы! Заодно и гендерная проблематика, она же пресловутый «дамский вопрос», решается.

Есть у Аделии и маленькие драгоценные камешки. Они рассыпаны по книжке, нужно лишь отыскать, но вот в стихотворении «Дух языка» сразу падают на ладонь, смотрите-ка:

Язык живёт в просветах между словами,
слово, столкнувшись со словом,
в слове брешь пробивает...

И к бабке не ходи! Что-что, не понимаете, при чём тут бабка? Не знаете слова бабка? Не знаете ни одного русского слова? Так говорят по-русски, сеньора! «На улице, чай, не Франция...»⁵ — вспомните любимого автора! Ну а язык действительно живёт в просветах между словами. Сей просвет-парадокс мы замечаем и в вашем названии «Здесь, так далеко»: запятая и есть тот самый просвет. Лучик, бесстыдно скользнувший за приоткрытые ставни...

Вы часто размышляете о поэзии, а когда понимаете, что пишете порой недостаточно хорошо (похвальная самокритика), откровенничаете, будто кажетесь себе некрасивой, если строчки не удались. Это, конечно, кокетство: вы, сеньора, красивы и в девяносто — фотокарточки соврать не дадут.

Бывает, Бог отнимает мой поэтический дар.
Смотрю на камень — и вижу только камень.
Мир состоит из одних министерств,
он больше не чудесный мяч, что свободно летит
среди звёзд.
Я делаюсь некрасивой, смотрю в зеркало
с отвращением,
с остервененьем расчёсываю спутанные космы
и становлюсь суеверной.

Ещё парадокс: сеньора увлечена православием, сеньора всерьёз чувствует себя «русской», и это не бразильская шутка. Привет из экс-жизни, если допустить, будто карма всё-таки существует, а значит, возможно, когда-то Аделия жила в стране, где по улицам ходили строем медведи! Она заявляет: «Я отождествляю себя с душой страны, красотой икон и литургии. Русские святые говорят с моим сердцем, словно я русская. Мне нравится слушать русскую речь, даже не понимая её...»

Литургия,
икона,
монашество.
Я поняла, что я русская.

Вот такая история с географией! Комментировать этакие причуды бессмысленно, как бессмысленно пытаться понять *другого* — иного, постороннего. Возможно, подобными темами легко спекулировать в определённых контекстах, но в солнечной Бразилии о том даже не думают — просто выходят на улицу, чистят апельсины, выплёвывают косточки, рифмуют строчки — или не: как Деус на душу положит. А *кладёт* Деус порой так:

Нет неизбывной печали и неутраченной боли.
Школьные столовые
и гимнастика под музыку из репродуктора

⁵ И. Бродский.

удерживают в мире порядок — без моего участия.
Ни узлам, вырезанным из женской груди,
ни гамма-лучам, облучавшим плоть,
ни тем, кого я проклинала,
не посвящу ни строки,
они — поленья,
что притворились распятым...

Возможно, человечество обошлось бы без книжек Аделии Праду — как, впрочем, и без книжек персоны, пишущей *Здесь, так далеко*, вот эти самые строки.

Не будем обольщаться ни собственной одарённостью, ни якобы гениальностью современников: как складывающих слова в столбик, так и растягивающих их в строчки.

Но будем к ним сколько-то милосердны, ибо... как там у Дали? «Не бойтесь совершенства — оно вам не грозит».

Все наши буквы — просто попытка поймать ветер, смешавший идеальные пропорции песочной мандалы.

Буквы в один конец, сеньора.

Наталья РУБАНОВА

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Рукописи, в которых отсутствуют данные об авторе (имя и фамилия, обратный адрес или телефон), не рассматриваются и не возвращаются.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», размещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация электронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба заранее предупреждать о Ваших возражениях.

Перепечатка любых материалов возможна только с согласия редакции. Ссылка на «Урал» обязательна.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типографию.

Уважаемые подписчики!

Обращаем ваше внимание, что оформить подписку на наш журнал на 2025 год можно по единому индексу 73412:

- на сайтах: <https://www.pressa-rf.ru/> или <https://www.akc.ru/> (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

- в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ», направив заявку по электронной почте: Govorkova@arzi.ru или позвонив по тел. (495) 680-99-71 (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:

- в любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России». Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город» по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 130, телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-58576 от 14 июля 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»
Учредитель — Министерство культуры Свердловской области

Главный редактор — Олег Анатольевич Богаев

Редакция:

Сергей Беляков — зам. главного редактора по творческим вопросам
 Надежда Колтышева — зам. главного редактора по вопросам развития
 Константин Богомолов — ответственный секретарь
 Андрей Ильенков — зав. отделом прозы
 Юрий Казарин — зав. отделом поэзии
 Валерий Исхаков — литературный сотрудник
 Александр Зернов — литературный сотрудник
 Татьяна Сергеенко — корректор
 Юлия Кокошко — корректор
 Наталья Бушуева — бухгалтер

Редакционная коллегия:

О. Богаев, С. Беляков, Н. Колтышева, К. Богомолов, А. Ильенков

Адрес издателя: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24, 4-й этаж
 Редакция журнала «Урал»: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24, 4-й этаж
 Адреса электронной почты: editor.ural@mail.ru, poetry@uraljournal.ru (для поэзии)

Телефоны:

376-57-49 — главный редактор
 376-57-54 — зам. главного редактора по творческим вопросам, отдел прозы, отдел публицистики
 376-57-41 — зам. главного редактора по развитию, ответственный секретарь, отдел критики
 376-56-25 — бухгалтерия, отдел поэзии

Оформление обложки — Альберт Сайфулин.
 Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
 ООО «Издательство УМЦ УПИ» 620078, Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2
 Подписано в печать 16.07.2026
 Дата выхода в свет 27.07.2026
 Формат 70x108/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 20,6
 Тираж 1100 экз. Заказ № 8473
 Цена договорная

Журнал «Урал» в Сети:

<http://uraljournal.ru/>
http://vk.com/zhurnal_ural

Электронная версия журнала «Урал» находится по адресу:
<http://magazines.russ.ru/ural/>

Николай Языков

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, —
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывет в небесной чистоте...

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно!.. И на жизнь гляжу печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой.

Журнал «Урал» вы можете приобрести
в екатеринбургских магазинах:
«Дом книги» (ул. Антона Валека, 12),
«Пиотровский» (ул. Бориса Ельцина, 3, Ельцин Центр, 2 этаж),
а также
в Музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5),
в Музее «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10)
и в Свердловском академическом театре драмы.

Подписывайтесь на журнал «Урал» с любого месяца.
Это делается так:
- на сайтах: <https://www.pressa-uf.ru/> или <https://www.akc.ru/>
(для юр. лица по желанию подписчика заключается договор
и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

а также в электронном каталоге «Почта России»;
в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ»;
направив заявку по электронной почте: zakaz@akc.ru
или позвонив по тел. (495) 680-99-71
(для юр. лица по желанию подписчика заключается договор
и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:
- в любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России».
Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Подписку на журнал «Урал» по-прежнему можно оформить
и в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город»
по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 130,
телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

Информационные спонсоры журнала «Урал»:

